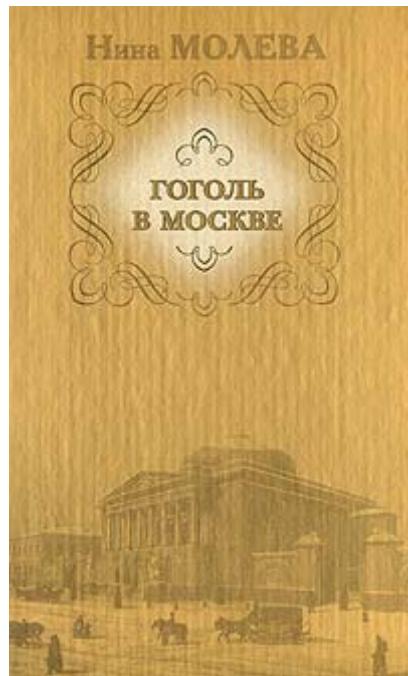


Нина МОЛЕВА

ГОГОЛЬ
В МОСКВЕ



Нина Молева Москва гоголевская



Аннотация

Гоголь дал зарок, что приедет в Москву только будучи знаменитым. Так и случилось. Эта странная, мистическая любовь писателя и города продолжалась до самой смерти Николая Васильевича. Но как мало мы знаем о Москве Гоголя, о людях, с которыми он здесь встречался, о местах, где любил прогуливаться... О том, как его богохвала московская публика, которая несла гроб с телом семь верст на своих плечах до университетской церкви, где его будут отпевать. И о единственной женщине, по-настоящему любившей Гоголя, о женщине, которая так и не смогла пережить смерть великого русского писателя.



Нина Молева

Москва гоголевская

Н.В. Гоголь. Рисунок Э.А. Дмитриева-Мамонова. 1838 г.

Вместо предисловия. Тени, которые не уходят.

Вождь и Учитель всех времен и народов сказал: нам нужны СВОИ гоголи и салтыковы-щедрины. Чиновники от идеологии поняли: именно СВОИ. Когда они появятся, будет соответствующим образом сообщено. Им, во всяком случае. А вот те, которые уже были, НЕ свои, и о них лучше забыть.

Результат? В России по сей день нет музеев незадачливых классиков (не считать же местную попытку представить Михаила Евграфовича в богом забытом Пошехонье!). В Москве тем более. Если о Гоголе еще время от времени возникает разговор, главным образом, в части концепционного истолкования последних лет его жизни и, хочешь не хочешь, стоят почти друг около друга два памятника, Салтыкова-Щедрина не существует даже на бумаге. Мемориальный музей, несмотря на любую отцензуренность и неусыпный контроль, всегда делает память овеществленной и существующей в современном измерении и соотношении с жизнью сегодняшнего дня.

Сорок пять лет назад, сотрясая стены Манежа бранью в адрес решивших не подчиняться чиновничьему ранжиру художников, Хрущев выкрикнул: да, с культом личности следует бороться, но принципам сталинского руководства любым видом творчества можно только подражать. Они гениальны и неоспоримы для каждого, кто рассчитывает обладать полнотой власти. Независимо от всяких там идеологических выкрутасов. НЕ СВОИ классики еще в позапрошлом веке в этом разобрались. Тень высочайшего предостережения продолжает лежать на них и сегодня. Остается попытаться ощутить великое существование Гоголя среди перекроенных на все лады улиц и домов, во многом и благодаря им. Да и к чему торопиться с музеем писателя, сказавшего с такой неизбывной горечью: «Нравственность, нравственность страждет – вот что главное...» О ком это? О каком времени?

О нем спорили всегда. Яростно. Непримиримо. Позднее – потомки, сначала – современники. Друзья. Знакомые. Очевидцы. И, если разобраться, предметом споров становились не только литературные вкусы и разнотолкования взглядов – жизненная позиция писателя.

«Этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим...» Горькое право для сказавшего прощальное слово Тургенева обернется ссылкой в Спасское-Лутовиново. Российская империя не допускала никакой правды. Разве не о ней Гоголь писал: «Сверху давит сила, а внутри нет духа». Иначе: смысла жизни, без которого, в его представлении, не могло быть человека.

Когда-то в лицейские годы желаний было три. Служить справедливости – «я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном – на юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего...» В этом выборе он готов признаться даже родным. Для них все привычно разворачивалось заманчивой перспективой чинов, отличий, торжественного восхождения к высотам «тайных», «действительных», «статских». Гоголь не уточнял – для него справедливость жила в неукоснительном соблюдении закона. Для превознесенных и неоцененных. Для чиновных и безвестных. «Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце...»

В свое время директор первой светской типографии, неуемный сочинитель реформ Михайла Аврамов мечтал об институте государственных адвокатов для защиты интересов тех, кто слишком «ничтожен», чтобы постоять за себя. Воспитанник Нежинской гимназии Николай Гоголь-Яновский верил в необходимость подобного института и не имел представления, что «государственная продержность» стоила любимцу Петра I пожизненного заключения. Впрочем, 18-летний гимназист ясно видит несовместимость своих целей с позиций обывателя. Спорить? «Не для того ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем, пустым человеком?» Делать, не тратя слов, любой ценой – убеждение на всю жизнь. Так станет с живописью – вторым юношеским желанием.

Увлечение пришло вместе с новым лицейским, только что окончившим Академию художеств учителем. Сегодня о Капитоне Павлове напоминает разве только найденная автором в псковском музее «Игра в шашки» – сценка с застывшими в подробно перечисленных деталях фигурами. Но К. Павлов сумел сделать главное для учителя – не воспринять академической косности взглядов, согласиться на неудовлетворенность учеников классическим приемом и в ходе поиска подсказать выразительные возможности изобразительных средств. Строки в «Арабесках»: «Как сравнить вас между собою, три прекрасные царицы мира? Чувственная, пленительная скульптура внушает наслаждение, живопись – тихий восторг и мечтание, музыка – страсть и смятение души...»

Подаренную лицейским учителем мечту среди близких не разделил никто: разве могла она иметь отношение к успехам будущего чиновника? Совсем недавно удалось узнать – Гоголь занимался в Академии художеств.

С театром все иначе. О нем можно говорить, но нечего и думать связывать с ним свою жизненную дорогу. Собственно, была Васильевка – сонное старосветское гнездо.

А местный театр – это отец, Василий Афанасьевич. Мелкопоместный. Никаких чинов

не выслуживший. Для окружающих до смешного честный. И влюбленный в сцену. Он может все: сочинить пьесу, поставить, сыграть любую роль, при надобности стать редким по живости и остроумию рассказчиком. Сколько его сюжетов рассыпалось в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», сколько осколков комедий сохранилось в эпиграфах к ним! Под стать ему супруга – Мария Ивановна, игравшая с успехом во всех постановках.



Д.П. Трощинский



М.И. Гоголь (в молодости)

У Гоголей в Кибинцах – на дворцовый манер устроенном поместье вельможи екатерининских времен Д.П. Трощинского – особый флигель, где можно расположиться с детьми, – хозяин не хочет слышать об их отъездах в Васильевку. «Вы пишете, что не можете за мною прислать. Ах, сделайте милость, пришлите за мною! Нужды нет, что живете в Кибинцах...» В 14 лет трудно примириться, что родителей очередная постановка занимает больше каникул сына. Здесь нет актеров-профессионалов, только хозяева и гости. Значит, нет снисходительно-уничижительной грани между зрительным залом и сценой. Как и в лицее, куда перенесет родительское увлечение. Гоголь-младший с первых же постановок – сочинитель, режиссер, художник, актер. И необычность того, что занимает лицеиста. Роли без слов, старухи (лучшая – Еремеевна в «Недоросле»!), старики, характеры, где старательно

разработанный внешний рисунок стоит монолога.

Однокашники не сомневались: он станет вторым Щепкиным. Проба на казенную сцену Петербурга и в самом деле опередит устройство на должность в департамент. Но до нее разговор с директором императорских театров: «Из какого звания?» – «Дворянин». – «Что же побуждает вас идти на сцену? Как дворянин, вы могли бы служить». – «Служба вряд ли может обеспечить меня, мне кажется, я не гожусь для нее...» И заключение инспектора труппы: «Оказался совершенно неспособным, не только в трагедии или в драме, но даже в комедии». Естественность тона будет воспринята невыразительностью бездарности. «Гениальный комик», – отзовется через несколько лет Щепкин.

Ни одно из юношеских желаний не осуществилось.

Публикацию «Ганца Кюхельгардена» трудно назвать данью проснувшемуся авторскому тщеславию, скорей попыткой сколько-нибудь упорядочить материальные дела. Но напечатанная на собственные средства поэма не привлечет читателей. Единственными покупателями окажутся два критика, не пощадивших неизвестного поэта. Гоголь потратит последние гроши, чтобы скупить и сжечь тираж.

Литературное призвание... П. А. Плетнев, рекомендая Гоголя вниманию Пушкина, напишет: «Он любит науки только для них самих и, как художник, готов для них подвергать себя всем лишениям». Гоголь и в самом деле увлечен историей и серьезно задумывается над 9-томным изложением событий Средневековья. Он охотно оставит департамент ради места учителя истории, впереди его ждет университетская аудитория. А между тем Гоголь пишет, не стесняясь материальными лишениями («Что за беда – посидеть какую-нибудь неделю без обеда?»), условиями и неудобствами.

«Странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить... Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню, одному, и запереться. Я, наоборот...» Даже близким друзьям невозможно поверить, что «Майская ночь, или Утопленница» написана среди суетни приживалок в доме Васильчиковых, где Гоголю пришлось быть домашним учителем у недоразвитого ребенка. Они же стали и первыми слушательницами строк: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!»

Верить в себя – овладеет ли он когда-нибудь этим искусством? В той мере, чтобы упорно добиваться задуманного, но не в той, чтобы испытывать довольство собой. «Вы, говоря о моих сочинениях, называете меня гением... Меня, доброго, простого человека, может быть, не совсем глупого, имеющего здравый смысл, называть гением! Я вас прошу, маменька, никогда не называйте меня таким образом, а тем более еще в разговоре с кем-нибудь».

Казалось, такой бесспорный успех «Вечеров на хуторе близ Диканьки», смех наборщиков («Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни»), восторги Пушкина, Жуковского – и непреодолимое желание проверить свой успех в незнакомой Москве.

Аксаковы. Щепкин. Патриарх русской поэзии И. И. Дмитриев с его неразлучным ручным журавлем. Москва наполнилась множеством друзей. И здесь становится очевидным: выбор надо делать. Гоголь признается: «Я помешался на комедии». Привязанность к театру ожила в новой форме.

«Женихи», «Женитьба». Наконец, «Ревизор». Его петербургская постановка – взрыв негодования и восторгов. Мнимая снисходительность Николая I не обещает ничего доброго. Он досадует на зрителей, которые не поняли до конца его замысла, и вдвойне на себя, что не сумел внятно выразить своей идеи. Поездка в Италию нужна, чтобы справиться с самим собой, своими обидами и ошибками. Тем более нездолго до столичной премьеры он писал, закрыв за собой двери университета: «В эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный круг моих прежних сведений, но высокие исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня». Его ждала его гениальная поэма «Мертвые души».

Как труден путь к осуществлению главного в жизни желания! В ноябре 1851 года состоится чтение автором «Ревизора» для труппы Малого театра. По окончании Гоголь попросил уезжавшего в Петербург Г. П. Данилевского передать его «должок» П. А. Плетневу. И только от Плетнева Данилевский узнает, что «должок» – деньги, которые Гоголь регулярно и безымянно присыпает неимущим студентам Петербургского университета. Немалые деньги. Через три месяца, пересматривая вещи покойного, хозяин последней его квартиры А. П. Толстой не найдет ни денег, ни верхнего платья. Гоголя положат в гроб в том единственном сюртуке, в котором он ходил каждый день.

Благоразумие друзей восставало: «Надо наконец устроиться. Дописать книгу. Расплатиться с долгами. Упорядочить быт». А он до конца живет под чужой крышей. Запоем работает по утрам. Украдкой выходит на Никитский бульвар, чтобы побродить по его аллеям. Отдает свободное время только тем, кто ему близок. И всегда молодым. «Нам давно следовало быть знакомыми», – обратится он к Тургеневу. Опоздав на чтение «Банкрота» Островского, до конца прослушает пьесу стоя. Написанные им строки автор до конца станет носить в ладанке как благословение.

…Благоразумие еще вступит в спор перед кончиной Гоголя. Во время последней болезни давние друзья забудут навещать – их заменят толпы студентов, тревожно ждавших известий на бульваре. После смерти под пустяковым предлогом друзья откажутся от участия в похоронах – студенты университета перенесут тело в университетскую церковь. Запруженные народом улицы и бульвары, семь верст пути гроба на плечах москвичей – Москва утверждала: справедливость Гоголя была справедливостью для каждого человека. «Нравственность, нравственность страждет – вот что главное…»

Дом без крыльца



Н.В. Гоголь

Из «Литературных воспоминаний» И. С. Тургенева «Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20 октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни; он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее – и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в

темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того дня я его видел в театре, на представлении „Ревизора“; он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери – и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною Ф. Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он вероятно заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол. Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 1841 года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Е-ной. В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно-проницательному выражению его лица.



М.С. Щепкин

Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми». Мы сели. Я – рядом с ним, на широком диване; Михаил Семенович – на креслах, возле него. Я попристальнее взгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость – именно веселость, а не насмешливость; но вообще, взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались – так, по крайней мере, мне показалось – темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское – что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и странное, и большое существо!» – невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... вся Москва была о нем такого мнения.



И.С. Тургенев. Рисунок Полины Виардо. 1850-е гг

Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении «Мертвых душ», об этой второй части, над которой он так долго и так упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертию, что он этого разговора не любит. О «Переписке с друзьями» я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о ней хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой беседе – а просто, жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание.



Фаянсовый чернильный прибор из дома Троцких, родственников и соседей Гоголя на Полтавщине, одна из немногих сохранившихся вещей, которые «встречались» с писателем, был передан Мемориальным комнатам художником Э.М. Белютиным

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив; на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово – что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на *о*; других, для русского слуха менее любезных особенностей малороссийского говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва произвел на меня, – исчезло. Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, самой, если можно так выразиться, физиологии сочинительства; и все это – языком образным, оригинальным – и, сколько я мог заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом бывает у «знаменитостей». Только когда он завел речь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее, как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей – только тогда – мне показалось, что он черпает из готового арсенала. Притом, доказывать таким образом

необходимость цензуры – не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и лукавство рабства? Я могу еще допустить стих итальянского поэта: «*Si, servi siam; ma servi ognor frementi*» [1] ; но самодовольное смижение и плутовство рабства... нет! лучше не говорить об этом. В подобных измышлениях и рассудительствах Гоголя слишком явно выказывалось влияние тех особ высшего полета, которым посвящена большая часть «Переписки»: оттуда шел этот затхлый и пресный дух. Вообще, я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя и моим – лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту – в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним.



Лампа

Гоголь, вероятно, знал мои отношения к Белинскому, к Искандеру; о первом из них, об его письме к нему – он не заикнулся: это имя обожгло бы ему губы. Но в то время только что появилась – в одном заграничном издании – статья Искандера, в которой он, по поводу пресловутой «Переписки», упрекал Гоголя в отступничестве от прежних убеждений. Гоголь сам заговорил об этой статье. Из его писем, напечатанных после его смерти (о! какую услугу оказал бы ему издатель, если б выкинул из них целые две трети, или, по крайней мере, все те, которые писаны к светским дамам... более противной смеси гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательского тона – в литературе не существует!), – из писем Гоголя мы знаем, какою неизлечимой раной залегло в его сердце полное фиаско его «Переписки» – это фиаско, в котором нельзя не приветствовать одно из немногих утешительных проявлений тогдашнего общественного мнения. И мы, с покойным М. С. Щепкиным, были свидетелями – в день нашего посещения – до какой степени эта рана наболела. Гоголь начал уверять нас – внезапно изменившимся, торопливым голосом, – что не может понять, почему в прежних его сочинениях некоторые люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, чему он изменил впоследствии; – что он всегда придерживался одних и тех же религиозных и охранительных начал – и, в доказательство того, готов нам указать на некоторые места в одной своей, уже давно напечатанной, книге... Промолвив эти слова, Гоголь с почти юношеской живостью вскочил с дивана и побежал в соседнюю комнату. Михаил Семенным только брови возвел горе – и указательный палец поднял... «Никогда таким его не видел», – шепнул он мне...



Книжный шкаф, конторка, крытая зеленым сукном, – рабочее место писателя

Гоголь вернулся с томом «Арабесок» в руках – и начал читать на выдержку некоторые места одной из тех детски-напыщенных и утомительно-пустых статей, которыми наполнен этот сборник. Помнится, речь шла о необходимости строгого порядка, безусловного повиновения властям и т. п. «Вот, видите, – твердил Гоголь, – я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь!... С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве... Меня?» – И это говорил автор «Ревизора», одной из самых отрицательных комедий, какие когда-либо являлись на сцене! Мы с Щепкиным молчали. Гоголь бросил, наконец, книгу на стол и снова заговорил об искусстве, о театре; объявил, что остался недоволен игрою актеров в «Ревизоре», что они «тон потеряли» и что он готов им прочесть всю пьесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать. Какая-то старая барыня приехала к Гоголю; она привезла ему просфору с вынутой частицей. Мы удалились». «Дом без крыльца» – он так и остался в памяти щепкинского семейства. Михайла Семенович иначе не называл последнюю квартиру Гоголя, не переставая удивляться особенностям старого особняка: пол вровень с землей – ни тебе ступенечки, ни порога. И это при московских дождях и снегах, слякоти, от которой не знал как спасаться!

Рассказывать «папаша Щепкин» умел и любил, в зависимости от обстоятельств возвращаясь к своим повествованиям с новыми и новыми деталями. А тут такое событие! Без малого двадцать лет он знал и любил Гоголя, почти два года Тургенева, вымечтанного и уже состоявшегося драматурга. Так и видел себя в его ролях. И вот, наконец, встреча...

А между тем погода стояла «премерзшейшая»: дождь со снегом, руки, не успеешь снять перчатки, как грабли, носы кругом синие. В сенях «Дома без крыльца» ходили «сквозные ветры», которых Михайла Семенович пуще всего опасался. Из глубины сеней вместе с уханьем невидимых дверей прохватывало холодом. Вздох и вперед сновали какие-то не обращавшие на пришедших внимания «личности». Никто не принял их одежды, так что пришлось скидывать ее на руки несgrabному хлопчику уже в хозяйской комнате. «Папаша Щепкин» и не обратил бы на все неудобства внимания, но уж очень не хотелось ударить в грязь лицом перед молодым и очень даже щеголеватым Иваном Сергеевичем.

Шурочка Щепкина – Александра Александровна, последняя из прославленного актерского рода, играющая в Малом театре, задерживается у входных дверей «Дома без крыльца» и как-то особенно бережно приводит одну за другой подробности, хранившиеся с незапамятных времен. Ей предстоит войти в ту же, что и прадед, приемную Гоголя и вместе с товарищами по труппе начать вечер из цикла «Шесть приездов Гоголя в Москву». Их и на

самом деле было только шесть.

Порядок в «Доме без крыльца» пытались восстановить по сохранившимся в семье деда рассказам и Шурочки – Александровна, и другая внучка – известный специалист по древним книгам, всю жизнь отдавшая Государственному Историческому музею, Марфа Вячеславовна Щепкина.

Чаще всего о визитах к Николаю Васильевичу договаривались заранее. Было похоже, что неожиданностей в своем обиходе не любил, от них чувствовал себя «сбитым с резону» и как бы растерянным. О его душевном состоянии дед заботился особенно. Входные двери были со двора и у них висела ручка звонка, отдававшегося звоном где-то очень глубоко в доме. Михайла Семенович вспоминал об этом обстоятельстве с неизменным смехом: уж очень заспанной, несмотря на утреннее или дневное время, выглядела физиономия старого швейцара. На замечание: «К господину Гоголю» – он, как-то хитро покачнувшись, поворачивался и, заснув на ходу, скрывался в темноте сеней. Тут уж надо было самим догадаться постучаться в первые по правой руке, всегда плотно притворенные двери и, по выражению актера, «приноровливаться к обстоятельствам»: то ли на пороге мгновенно оказывался веселый и оживленный хозяин, то ли стук приходилось повторять, то ли в приоткрывшейся щели показывался хлопчик с едва слышным вопросом: «До кого?» Вариантов было много, и Михайла Семенович с явным удовольствием включался в очередной задуманный хозяином розыгрыш.

Двери... О них говорилось не раз. Комната, куда входили гости, была достаточно просторной, но сумрачной. Всей обстановки – два дивана, пара кресел, стол и конторка. За конторкой скрывалась дверь в «личные покои», как выражался Михайла Семенович, признававшийся, что никогда там не был, как, впрочем, и на втором этаже «Дома с крыльцом» – на «барской половине». Да и Гоголь при нем ни разу туда не поднимался.

А вот дверь в «личные покои» всегда стояла закрытой. Хозяин, «похудевший до крайности», словно проскальзывал в нее и тут же запирался. Обычно выносил оттуда какие-то книги или письма... Особенno застеснялся Михайла Семенович, когда таким же привычным жестом хозяин скрылся за дверью при Тургеневе, оставив гостей на довольно ощущимое время одних. «Папаша Щепкин» в оправдание Николая Васильевича говорил, что, верно, хотел без их глаз найти нужные ему отрывки. Вот только вернувшись к гостям,

Николай Васильевич даже оглянулся, чтобы проверить, плотно ли прикрылась дверь. Его так и называли наседкой – старого актера, старавшегося обезопасить и приголубить своих подопечных. Гоголь явно его беспокоил.

В сенях парадная дверь была открыта чуть ли не настежь. Ливрейные лакеи и проснувшийся швейцар помогали войти двум разодетым дамам, которые с порога обменивались шумными приветствиями со стоявшей на площадке лестницы, по-видимому, хозяйкой. Экипажу Тургенева пришлось отъехать несколько в сторону, уступив место нарядной карете. Забираясь в него, Тургенев заметил, что Николай Васильевич был словно в ознобе, да и немудрено, когда так тянет полом, а он все-таки южанин.

Первый сценический рассказ о Гоголе в Москве как раз и должен был начинаться с тех далеких южных лет.



Диван и стол в кабинете писателя



Уголок приемной Н.В. Гоголя

Из «литературных воспоминаний» И.С. Тургенева: «Дня через два происходило чтение „Ревизора“ в одной из зал того дома, где проживал Гоголь. Я попросил позволение присутствовать на этом чтении. Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей и – если не ошибаюсь – Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в „Ревизоре“, явились на приглашение Гоголя: им показалось обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехала. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение... Известно, до какой степени он скучился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. В тот день он смотрел, точно, больным человеком. Он принял читать – и понемногу ожидался. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно... Я слушал его тогда в первый – и в последний раз. Диккенс также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его – драматическое, почти театральное: в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет – есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный – особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться – хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренно дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело – и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пьесы). „Пришли, понюхали и пошли прочь!“ – Он даже медленно оглянулся на нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить – обыкновенно разыгрывается на сцене „Ревизор“. Я сидел,

погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор – и, не сказав ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился, с размаху удариł рукой по звонку – и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: „Ведь я велел тебе никого не впускать?“ Молодой литератор слегка пошевелился на стуле – а впрочем, не смущился никак. Гоголь отпил немного воды – и снова принял читать: но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы – и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков завирается, Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать исполнявшему роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностью своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет, – и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга – это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого „подхватило“. „Просители в передней жужжат, 35 тысяч эстафетов скачут – а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!“ Вот какое впечатление производил в устах Гоголя Хлестаковский монолог. Но, вообще говоря, чтение „Ревизора“ в тот день было – как Гоголь сам выразился – не более, как намек, эскиз; и все по милости непрошенного литератора, который простер свою нецеремонность до того, что остался после всех у побледневшего, усталого Гоголя и втерся за ним в его кабинет.

В сенях я расстался с ним и уже никогда не увидал его больше; но его личности было еще суждено возыметь значительное влияние на мою жизнь».



C.B. Шумский

С того памятного чтения приглашенные не торопились расходиться. Каждый искал возможности что-то сказать автору, перекинуться с ним хотя бы словом. И только Щепкин словно поеживался и хотел положить конец затянувшемуся прощанию. Позже он признается, как неловко ему было и за нахального опоздавшего гостя, и за шум в сенях, где все время громко перекликалась прислуга, и за хозяев, которые не сочли нужным присутствовать на

таком историческом событии. Впрочем, вся Москва знала, как безразличны были Толстые к литературным талантам своего гостя. Но больше всего Михаил Семенович переживал поведение своей труппы: из ее числа пришло, дай Бог, несколько актеров, в том числе отсутствовали и некоторые исполнители, занятые в «Ревизоре». Никакие доказательства Прова Михайловича Садовского, что идет спектакль уже пятнадцать лет, что все исполнители «поустроились в ролях» и подумать не могут «сменять позицию», а уж об актрисах и говорить нечего, «папашу Щепкина» не успокаивали. И больше всего беспокоило его то, как это Николай Васильевич останется сейчас один-одинешенек и «некому будет его развеять от дурных мыслей».



М.С. Щепкин – городничий Рисунок Э.А. Дмитриева–Мамонова. 1840-е гг.

Со временем Владимир Николаевич Давыдов напишет в своем «Рассказе о прошлом»: «...Городничего Самарин играл по традиции Щепкина, следя всем деталям, которыми украшал великий артист роль Сквозника-Дмухановского. Впоследствии я спрашивал Ивана Васильевича, почему городничего он играет, считаясь с каноном Щепкина. – Очень просто, – отвечал Самарин. – Щепкин много раз слышал читку роли из уст самого Гоголя и усвоил все тончайшие нюансы роли, притом Гоголь сделал ему массу указаний, которыми Щепкин гениально воспользовался. Гоголь был совершенно удовлетворен типом, созданным Щепкиным. Мне тоже казалось, глядя на Щепкина, что ничего лучшего не сделать, что это замечательное создание. Когда роль городничего перешла ко мне, я никак не мог освободиться от влияния Щепкина... Кроме того, у Щепкина была восторженность от роли, горячая любовь к материалу... У меня этого не было».

Первый приезд

Он не имел в виду приезда в старую столицу – просто направлялся через Москву на родную Полтавщину. И – конечно, хотел полюбопытствовать о впечатлении от своих «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В Петербурге их встретил слишком спокойный для молодого авторского самолюбия прием. Но ведь разыскал же его приезжавший из Московского университета профессор Михаил Петрович Погодин, сумел раскрыть *M.P.* псевдоним «Пасечника Рудого Панька» и передать восторги московских читателей. Погодин и был в конце июня 1832 года тем единственным московским знакомцем, на внимание и поддержку которого он мог рассчитывать, к которому просто мог зайти.



Погодин. Литография. 1850-е гг.



И.С. Аксаков. Рисунок Э.А. Дмитриева-Мамонова

Слов нет, он не рассчитал времени. В обычное лето город давно был бы пуст. Но на этот раз погода с холодом, беспрерывными дождями смешала все планы. Москвичи не торопились оставлять насиженные гнезда. Повсюду нет-нет да начинал виться дымок из труб: дома продолжали подтапливаться. Товарищеский сезон продолжался. И первое впечатление после Петербурга, которым он поделится со Щепкиным: город складывается и так из одних поместий. Кругом, за всеми бесконечными заборами цвели сады, клонилась к земле пышнейшая сирень, чуть не по колено поднималась трава. Дом Погодина на Мясницкой (12) тянулся вдоль Златоустинского переулка. Огромный участок делился хозяйственными постройками на так называемый деловой двор (по переулку) и сад,

посередине которого, фасадом к улице, располагался большой дом с непременным московским мезонином, с террасой и тремя сходами по центру особняка, а в углу сада, у самой Мясницкой, располагалась еще и затейливая беседка.



M.N. Загоскин

Такое вольготное жилье в Петербурге не могли себе позволить все аристократы, здесь же был всего-навсего преподаватель университета, к тому же с далеко не простым «кондукитом». Сын крепостного управителя графов Строгановых, Погодин был отдан на одиннадцатом году на воспитание к типографщику А. Г. Решетникову, от которого перешел в 1-ю московскую гимназию. Успешно окончив затем Московский университет, Погодин защитил магистерскую диссертацию «О происхождении Руси», в которой выступил защитником норманийской теории в противовес теории хазарского происхождения русских князей. Горячо поддержаный Н. М. Карамзиным, он тем не менее не получил разрешения на заграничное путешествие. Комитет министров пришел к выводу, что нет «пользы посыпать сего магистра в чужие края для окончания курса наук по нынешним обстоятельствам, а удобнее в университете дать то образование, которое правительству удобнее будет». В результате с 1825 года Погодину было поручено читать не русскую, но всеобщую историю для студентов первого курса.



Красная площадь

На подобном решении могли оказаться многие подробности жизни молодого Погодина.

Здесь и тесная дружба в университетские годы с Ф. И. Тютчевым. Лето 1819 года друзья проводят в Теплых Станах под Москвой. Об их занятиях говорит запись погодинского дневника: «Ходил в деревню к Тютчеву, разговаривал с ним о немецкой, русской, французской литературе... О Лессинге, Шиллере, Паскале, Руссо». В дни восстания в Москве Семеновского полка Погодин записывает: «Говорил с Загряжским, Ждановским, Кандорским, Троицким о семеновцах; с Тютчевым о молодом Пушкине, об его оде „Вольность“. К этой увлекшей обоих друзей оде Тютчев обратил строки:

Огнем свободы пламенея И заглушая звук цепей, Проснулся в лире дух Алцея – И рабства пыль слетела с ней.

А на склоне своих лет Тютчев напишет Погодину:

Стихов моих вот список безобразный —
Не заглянув в него, дарю им вас,
Не мог склонить своей я лени праздной,
Чтобы она хоть вскользь им занялась,
В наш век стихи живут два-три мгновения,
Родились утром, к вечеру умрут...
Так что ж тут хлопотать? Рука забвенья
Исправит все через несколько минут.

И вот этот Михайло Петрович Погодин берется показать Гоголю Москву и непременно ввести его в круг литераторов. В намеченной им череде едва ли не первое место занимает С. Т. Аксаков, еще не писатель – его литературные произведения появятся много позже, – но театральный знаток, критик и, по случайному стечению обстоятельств, цензор. Совсем недавно, в 1827 году, С. Т. Аксаков получил место цензора во вновь учрежденном Московском цензурном комитете. Впрочем, о своей непригодности к этой должности Аксаков знал с самого начала. Еще при открытии Комитета он заявил его председательствующему: «Если буквально держаться нового устава и все толковать в дурную сторону, на что устав давал полное право цензору, то мы уничтожим литературу», но что сам он «намерен толковать все в хорошую сторону». 1832 год положил конец этому виду аксаковской деятельности. Он дал разрешение на выход журнала «Европеец» со статьей Ивана Киреевского «Девятнадцатый век». Шеф жандармов журнал закрыл, поскольку решил, что под словом «просвещение» подразумевается «свобода», под «деятельностью разума» – «революция», а под «искусно отысканной срединой» – ни много ни мало «конституция».

К тому же вскоре Аксаков разрешил публикацию шуточной баллады «Двенадцать спящих будошников», в которой было усмотрено непочтительное отношение к московской полиции. Личным распоряжением Николая I Сергей Тимофеевич лишился своего места «как чиновник, вовсе не имеющий нужных для звания сего способностей».

Еще не вступив в полосу своих будущих денежных затруднений, Сергей Тимофеевич снимал в Большом Афанасьевском переулке (12), у Арбата, квартиру.

Аксаковские субботы обычно собирали всю литературную и театральную Москву. Погодин явился с Гоголем без предупреждения, ошеломив собравшихся именем нежданного гостя. «Эффект, – вспоминал Аксаков, – был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций». По-видимому, ту же неловкость пережил и Гоголь, он очень скоро ушел, но взяв с хозяина слово отвести его к жившему поблизости М. Н. Загоскину в ближайшие же дни.

Визит к Загоскину действительно вскоре состоялся. Аксаков и Гоголь направились в Денежный переулок, где жил писатель, пешком, и здесь впервые Аксаков узнал, какое значение имел для молодого Гоголя театр. Всю дорогу он говорил только о сцене, и было видно, что самый интерес к Загоскину вызывался у него причастностью Михаила Николаевича к театру: считанные месяцы назад он был назначен директором московской казенной сцены.

Аксаков вспоминал, каким важным было это время для Загоскина. Переехав в 1820

году в Москву, Загоскин вынужден был жить в доме своего тестя Новосельцева, на побочной дочери которого был женат. По словам Сергея Тимофеевича, «Загоскин жил в доме своего тестя в мезонине... Комнатка, в которой он меня принял, была проходная... кругом разговаривали громко, нимало не стесняясь присутствием хозяина, принимающего у себя гостя... Я понял положение бедного Загоскина посреди избалованного, наглого лакейства, в доме господина, представлявшего в себе отражение старинного русского избалованного капризного барина екатерининских времен, по-видимому, не слишком уважавшего своего зятя».

Все переменилось с выходом из печати в 1829 году «Юрия Милославского», принесшего автору ошеломляющий успех. И Загоскин тут же потратил почти весь свой немалый гонорар на приобретение в Денежном переулке (№ 5) городской усадьбы П. А. Ефимовского, друга и родственника поэта И. М. Долгорукова. Большой, хотя и одноэтажный, деревянный барский дом располагался посередине сада. Его фланкировали два небольших флигеля. По краям участка располагались многочисленные хозяйствственные постройки. О размерах дома говорит то, что он был спроектирован покоем (в виде буквы «П») и имел по фасаду девять окон. Нельзя не вспомнить, что Ефимовские – графский род, связанный родственными узами с царствующим домом: за Михаилом Ефимовичем Ефимовским была замужем сестра Екатерины I – Анна Самойловна Скавронская. Из подмосковных именно Ефимовским принадлежало Одинцово.

К удивлению Аксакова, вполне дружеский по настроению визит Гоголя оказался тоже сравнительно коротким. Гоголь по преимуществу молчал, когда хозяин показывал ему редкие книги из своей библиотеки. Он как бы присматривался к хозяину, когда Загоскин начал распространяться и о своих якобы многочисленных путешествиях – москвичи давно привыкли к этому безобидному бахвальству, одной из слабостей словоохотливого писателя. По замечанию Аксакова, «Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, преувеличеными, по его мнению, нашими похвалами, но по добродушию своему и по самолюбию человеческому, ему было приятно, что превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать. Он принял его с отверстыми объятиями, с криком и похвалами, бил кулаком в спину, называл хомяком, сусликом и пр., и пр., одним словом, был вполне любезен по-своему. Загоскин говорил без умолку о себе: о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих археологических трудах, о пребывании в чужих краях (он не был далее Данцига), о том, что изъездил вдоль и поперек всю Русь и пр. и пр. Все знают, что это совершенный вздор и что ему искренно верил один Загоскин. Гоголь понял это сразу и говорил с хозяином как будто век с ним жил, совершенно в пору и в меру... Я сидел молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскутила довольно скоро: он вдруг вынул часы и сказал, что ему пора идти, обещал забежать еще как-нибудь и ушел».

Дружба двух писателей не сложилась, зато в «Ревизоре» появилось не только упоминание о романе «Юрий Милославский», но и блестательный образ Хлестакова. Кто знает, таким ли бы он сложился, если бы не визит в усадьбу в Денежном переулке.

Уже без чьей-либо поддержки Гоголь предпринимает поездку в Большой Спасский переулок к самому «папаше Щепкину». Этот переулок должен был бы стать мемориальным. Во время первого визита к Щепкину Гоголя в соседней усадьбе, бывшей Валуевых, на углу Садового кольца, живет со своей семьей И. С. Тургенев. Рядом, в полуподвальном этаже домика просвирни местной церкви, пройдет детство Марии Николаевны Ермоловой. Здесь перебывает весь цвет русской литературы и театра. Но – ни одного из этих домов больше не существует. Все они, исключительно в целях благоустройства и развития города, были снесены во второй половине XX века. В полном смысле слова, на наших глазах.

*Памятник... охраняется государством...
Из текста охранных досок*

Навал искореженного железа. Ржавые трубы. Осколки досок. Клочья ватных матрасов. Перепачканые погнутые бидоны. Сломанные деревья. Густой запах грязи и гнили... Свалка была самой обыкновенной. Хотя в чем-то и не совсем обыкновенной. На валявшихся осколках мраморной плиты с обрывками мемориального текста можно было прочесть подпись: «Всероссийское театральное общество», и свалка находилась в десяти минутах ходьбы от этого самого общества. И еще на таком же расстоянии от Малого театра и Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры – улица Ермоловой, 16. Правда, о номере можно было только догадываться. В мае 1985 года адрес стал условным. Только темный абрис на глухой стене соседнего строения напоминал о стоявшем здесь когда-то доме – памятнике национальной и мировой культуры, состоявшем на охране государства, воспроизведенном в сотнях изданий по истории русского театра, литературы, науки и самой Москвы. Ампирный особняк с мезонином в пышных зарослях цветов и деревьев – Щепкинское гнездо. Разве кто-нибудь представлял себе без него старую столицу!

Без малого два десятилетия «ломоносовская», по выражению А. И. Южина, натура великого Щепкина собирала здесь цвет культурной России. Профессора Московского университета, Гоголь, Белинский, Герцен, Огарев, Грановский, Аксаков, Загоскин, Станкевич, Кольцов, Тургенев, композиторы Варламов и Верстовский, плеяда живописцев во главе с Карлом Брюлловым, актеры казенной и провинциальной сцены... Сколько их было – гостей и завсегдатаев Щепкинского гнезда!

О Пушкине надо говорить отдельно. Он бывал в Большом Спасском переулке (старое название улицы) не раз, преисполненный живейшей симпатии к хозяину. Это Щепкин получил от него разрешение поставить в свой петербургский бенефис в июне 1832 года инсценировку «Цыган». И это любимому артисту принес поэт в его дом тетрадь для будущих «Записок актера», собственноручно вписал в нее первые слова. А каким уютным был дом!

Просторный двор в яркой зелени газона. Грядки пышнейших цветов. Черно-лиловая сирень, застившая в своем буйном цветении все окна. Пара ступенек скрипучего крыльца. Прихожая без прислуги. Широко распахнутые в залу двери. Стол на несколько десятков человек. Хозяева привечали и искали работу актеров, и тех из них, кто отжал на сцене свой век, и бесчисленных нуждавшихся в поддержке родственников. Отказа не бывало.

И вот на пороге незнакомец с пышно взбитым по последней моде хохолком, в клетчатых панталонах и сюртуке с металлическими пуговицами. Никаких вопросов. Одни приветливые любопытные лица. И навстречу им полуспетая, полу проговоренная нежданным гостем, шутливая украинская песня:

*Ходит гарбуз по городу,
Пытает своего роду:
Ой, чи живы, чи здоровы,
Вси родичи гарбузовы.*

Восторгу Щепкина, когда он узнал, что перед ним автор только что вышедших «Вечеров на хуторе близ Диканьки», не было конца. Сердечная дружба завязалась с первого взгляда.

Все было здесь просто и Гоголю по душе. Обеды – щи и гречневая каша с куском

отварной говядины. Жженка, которую будет варить сам Гоголь. А рассказы хозяина! Сколько историй он знал и как умел их преподавать! Комедия – родилась ли бы она у Гоголя без общения с великим актером и уж во всяком случае оказалась бы иной.

Вопрос о будущем Щепкинского гнезда представлялся очевидным – конечно, музей! 2 ноября 1976 года последовало решение Исполкома Моссовета за № 2346 о передаче дома Всероссийскому театральному обществу, и началось отселение жильцов. Все выглядело вполне благополучно – на бумаге, которую подпишет спустя 10 лет зампред ВТО М. А. Светлакова, будет изложено, что дом был необходимым образом законсервирован и взят под охрану. А в действительности?

Последний из его жильцов обрывал телефоны ВООПИК, Малого театра и Главного управления культуры Исполкома Моссовета: «Примите меры к охране: уеду – сожгут». К тому же с незапамятных времен в доме находилось около 20 предметов красного дерева: «Спасите мебель. Ведь она 1830– 1840-х годов – пригодится для будущего музея». Ни одна из названных организаций подобных забот на себя не приняла.

Через несколько недель после выезда последнего жильца вспыхнул пожар. Причина – неотключенная энергосеть. Пожары продолжались и в дальнейшем: близость Центрального рынка говорила сама за себя. Никакой охраны не существовало. Общественники своими силами пытались заколачивать постоянно вскрывавшиеся окна и двери. Особенно беспокойных успокаивали в районе и в ВТО заверениями, что идет работа над технической документацией, ждать осталось недолго.

Но только в 1981 году документация была выдана заказчику Спецпроектреставрацией, на 1982 год дом включили в план работ Моспроектреставрации. Оставалось строить, но...

Пройдет еще два года якобы в поисках древесины необходимого сечения, а в 1984 году ВТО обратится к Главному управлению культуры за разрешением вообще заменить дерево при реставрации кирпичом. Практически это означало уничтожить памятник и соорудить очередной новодел, которыми так стремительно стала заполняться для облегчения задач реставраторов Москва.

Борьба за сохранение памятника – не превращается ли она при этом условии в борьбу за его уничтожение? Возведенный заново дом Шаляпина на Новинском бульваре – улице Чайковского, не имеет отношения к великому певцу. В этих стенах Шаляпин не жил и не работал. Новый – именно новый! – дом всегда лишь музейное помещение для условной биографической экспозиции. Разница между яблоком и муляжом яблока – неужели не очевидна подобная несопоставимость, тем более если речь идет о человеческой памяти, эмоциях, обращении к прошлому?

И каждый раз очередная подделка оправдывается техническими трудностями подлинной реставрации: «Вот когда-нибудь, со временем, может быть, наши потомки сумеют...» Но потомки ничего не смогут суметь, какими бы ни были достигнутые ими вершины научных знаний и технического умения. Причина проста – мы не оставляем им материалов для анализа, для более глубокого и на новом научном уровне прочтения материалов, для исправления, наконец, наших ошибок, недоработок, простой некомпетентности. Скажем точнее, не оставляем следов прошлого.

Итак, в 1984 году ВТО получило желанное разрешение на «перевод дома» в кирпич и снова не приступило к работам ввиду необходимости коррекций к проекту, связанных с переменой материалов. Девять лет постепенной, у всех на глазах, гибели дома! Практически лишенного хозяина, практически представлявшего балласт для той организации, для которой должен был составлять самую большую, ни с чем не сравнимую ценность.

Должен был бы! Никакого наклонения, кроме сослагательного здесь не применить. Потому что каждое учреждение – это не только определенные функции и идеи, но это прежде всего люди. Люди, превращающие или нет эту идею в смысл своей профессиональной деятельности и, в идеальном варианте, своей личной жизни. Впрочем, почему в идеальном – в единственно возможном, когда человек становится профессионалом в подлинном смысле этого слова со всей мерой чувства ответственности и порядочности,

которую профессионализм предполагает.

В апреле 1985 года начальник жилищного отдела Свердловского района Москвы А. С. Гриднев дает указание в связи с подготовкой района к первомайским праздникам и в преддверии XXVII съезда партии дом Щепкина... снести. Нарушение закона? Слишком очевидное. Но на помощь поспешил зампред Свердловского райисполкома В. И. Лапонин. Дом, по его словам, все равно предполагалось сносить для «воспроизведения в кирпиче», а раз арендатор не сумел навести в нем порядка, то его нужно примерно наказать – сносом здания. Эдакий небольшой межведомственный инцидент, в конце концов устраивавший обе стороны.

Зампред вынужден зафиксировать в соответствующем документе незаконный и несогласованный снос памятника союзного значения, но одновременно обратиться в Совмин РСФСР с ходатайством снять дом Щепкина с государственной охраны и освободить ВТО от необходимости его восстановления. Никто не поднимет вопроса об уголовной или хотя бы административной ответственности за гибель памятника. Более того – на помощь придет Государственная инспекция по охране памятников. Ее методический совет примет поддержанное Центральным советом ВООПИК решение: просить об установлении мемориального статуса для территорий, на которой стоял дом, и поставить мемориальный знак о том, что здесь находился дом Щепкина. Абсурд? К сожалению, широко распространившаяся практика.

Патриаршие пруды

Еще одна вымечтанская Гоголем встреча – с «патриархом русской поэзии» И. И. Дмитриевым, одним из самых популярных поэтов рубежа XVIII-XIX столетий. Назначенный при Павле I обер-прокурором Синода, он отметит свою деятельность словами: «Отсюда начинается ученичество мое в науке законоведения, и знакомство с происками эгоизмом, надменностью и раболепством двум господствующим в наше время страстям: любостяжанию и честолюбию» Вырвавшись с государственной службы, Дмитриев построит на Спиридоновке, № 17, поражавший воображение москвичей дом по проекту А. Л. Витберга, которому предстояло строить храм-памятник участникам Отечественной войны 1812 года на Воробьевых горах (замененный впоследствии Храмом Христа Спасителя). Дом был собран из поставленных стоймия и скованных железными обручами бревен. Сад поражал многообразием растений, разыскиваемых хозяином во всех краях. Последние слова Дмитриева перед смертью были о кусте роз у крыльца, который он не успел пересадить.



И.И. Дмитриев

Богатство дома составляли огромная библиотека и радущие хозяина, особенно в отношении начинающих литераторов. Гоголь таким и запомнит его – в ореоле серебряных волос и с неразлучным Журкой – ручным журавлем, с которым прохаживался у Патриарших прудов и не расставался даже в экипаже. Это к Дмитриеву обратит Гоголь строки, написанные по выезде из Москвы: «Вы радушно протянули руку еще безызвестному и не доверяющему себе автору. С того времени мне показалось, что я подрос, по крайней мере, на вершок. Минувши заставу и оглянувшись на исчезающую Москву, я почувствовал грусть. Мысль, что все прекрасное и радостное мгновенно, не оставляла меня до тех пор, пока не присоединилась к ней другая, что через три или четыре месяца я снова увижу вас с вами». Ни одного из этих адресов сегодня не существует. Они исчезали один за другим, у нас на глазах. Единственная победа москвичей – Патриаршие пруды, где предстояло появиться не Ивану Ивановичу Дмитриеву с его Журкой в окружении Гоголя, Пушкина, Грибоедова, Державина, Баратынского, а действующим лицам «Мастера и Маргариты» вместе со знаменитым четырехэтажным примусом. И невольный вопрос: а знали ли сочинители обновленного ансамбля о всех тех, кто сделал пруды заветной жемчужиной для последующих поколений? Может быть, идеи ЕГЭ зародились гораздо раньше их законодательного оформления?



В.Л. Пушкин

Предположение Гоголя о скорой встрече с Москвой оказалось верным. В октябре того же года он снова в старой столице. В его жизнь входит новый важный адрес – Первая Мещанская (проспект Мира), № 28, квартира директора Ботанического сада, профессора естественной истории Московского университета М. А. Максимовича, одного из известных собирателей народных песен. Гоголь очень гордился, что сам сумел записать около 200 песен. «Я не могу жить без песен», – признается он в письме профессору.



П.А. Вяземский

Около ста лет назад историк П. Бартенев писал об этих ее местах, что живут здесь «по преимуществу люди, принадлежавшие к достаточному и образованному сословию, где тишина и нет суевийской торговли». Еще веком раньше, сразу по окончании Отечественной

войны 1812 года, именно сюда приехал замечательный наш баснописец Иван Иванович Дмитриев свой век «доживать на берегу Патриарших прудов, беседовать с внутренней стражей отечественного Парнаса и гулять сам друг с домашним своим журавлем».



E.A. Баратынский

В тишине и покое Патриарших прудов И. И. Дмитриев проведет 25 года, будет принимать у себя Карамзина, Вяземского, историка Погодина, Жуковского, Пушкина-дядю, Василия Львовича, и Пушкина-племянника, Александра Сергеевича, Гоголя и Баратынского. Впрочем, Баратынский станет его соседом, и вместе назовут они Патриаршие пруды «приют, сияньем муз согретый». Со времен Бориса Годунова была эта земля отдана патриархам московским, называлась Козьей слободой и имела три пруда, наполнявшихся считавшейся удивительно вкусной и целебной грунтовой водой. Отсюда сохранившееся до наших дней название Трехпрудного переулка.

Но потребности застройки привели к тому, что два пруда были засыпаны. К 1831 году местность вокруг оставшегося пруда была распланирована и засажена деревьями в расчете, что «место сие сделается приятным для окрестных жителей гулянием», как писал «Путеводитель по Москве». Сложилась здесь и своеобразная традиция – гуляний «семейственных», непременно родителей с детьми, в стороне от «московских торжищ». Именно для детей стали заливать каток, который в конце XIX века перешел в ведение первого Русского гимнастического общества «Сокол». По субботам и воскресеньям для тех же маленьких москвичей с родителями приглашался каждый раз иной духовой полковой оркестр. Известно, что самым большим успехом пользовались духовики Самогитского полка, которых ждали с нетерпением из-за их «слаженности» и прекрасного репертуара. Стоит вспомнить, что на Патриаршие пруды привозил своих дочерей кататься на коньках Л. Н. Толстой. Для взрослых существовал превосходно оборудованный каток в Зоопарке, описанный в «Анне Карениной».

Летом и весной славились Патриаршие пруды соловьиным пением. В тишине их аллей разливались птицы, которых довелось слушать постоянно приходившему на прогулку Алексею Николаевичу Толстому.

Именно в этих местах, приобретших в прошлом веке название московского Латинского квартала, проводит свою единственную московскую зиму Александр Блок. Здесь первая московская квартира юного Маяковского (Спиридоньевский переулок, 12 – во дворе), его гимназия и квартира друга – сына знаменитого московского архитектора Ф. О. Шехтеля –

Льва Жегина-Шехтеля. Вместе с художником-сверстником Василием Чекрыгиным они «колдуют на прудах» над первой самодельной книжкой стихов Маяковского «Пощечина общественному вкусу». И как бы кто ни относился к ранней поэзии поэта – она ярчайшая страница московской культурной жизни.

А. Н. Толстой не случайно говорил о магнетизме «патриаршего уголка», его удивительной притягательной силе. Достаточно назвать семейное гнездо знаменитых наших актеров Садовских. Их дом стоял в начале Мамоновского переулка, и жили в нем три поколения, трогательно тянувшиеся к уголку, который великая старуха (по ее сценическому амплуа) Ольга Осиповна считала своим садом. Погожими днями, возвращаясь после спектакля, она облезжала пруды, «чтобы отдохнуть душой в тишине и покое». А ее сын, народный артист СССР художественный руководитель Малого театра Пров Михайлович и внук Пров Провович до конца своих дней жили в Спиридоньевском переулке – «поближе к соловьям»...

С 1897 года здесь можно было видеть Л. В. Собинова, а с 1902 года – реформатора русского классического балета А. А. Горского, назначенного балетмейстером императорских театров. Тогда же живет в Патриаршем переулке Гликерия Николаевна Федотова. И есть еще одно не потерявшее с годами своего очарования имя – киногероя первых немых лент И. И. Мозжухина – он постоянный гость у родных, которым принадлежал дом по Малой Бронной, 28, – Мозжухиным Прасковье Андреевне и Михаилу Андреевичу с Марией Васильевной.

Никогда не имевший собственной мастерской В.И. Суриков осенью 1890 года устраивает ее себе в Б. Палашевском переулке – это время его работы над этюдами к «Взятию снежного городка», как вскоре и В. Д. Поленов в конце Спиридовки.

И не менее важно, что связаны наши Патриаршие пруды с четырьмя большими московскими зодчими: Ф. О. Шехтелем, И. В. Жолтовским, Львом Рудневым и Леонидом Павловым. Шехтель строит здесь нынешнее аргентинское посольство, один из интереснейших памятников московского модерна – Дом приемов МИДа на Спиридовке и дом для своей семьи (Б. Садовая, 4), Жолтовский – бывший дом Тарасова (Спиридовка, 30) и Дом Московского архитектурного общества (Ермолаевский пер., 17), где, может быть, когда-нибудь появится мемориальная квартира Лидии Андреевны Руслановой, народной певицы и собирательницы русской живописи. Творческая мастерская Льва Владимировича Руднева, автора проекта МГУ на Воробьевых горах, Военной академии им. Фрунзе, многих других московских зданий, находилась в им же самим выстроенном доме по Садовой-Кудринской (28-30), с окнами на пруды. Леонид Николаевич Павлов, автор зданий Вычислительного центра на Мясницкой (45), корпуса Госплана в Георгиевском переулке, жилых домов на Б. Калужской (2 и 39), в 1960-1970-х годах занимался живописью в мастерской Э. М. Белютина, расположенной здесь же. Москва не научилась уважать память своих зодчих, но неужели Патриаршие пруды не дают повода для установления новой традиции?

Всех связанных с прудами имен просто перечислить нет возможности, и все-таки как не назвать великого ученого И. М. Сеченова с его женой – первой русской женщиной-окулистом, живших в Патриаршем переулке, оставивших воспоминания о здешних местах и ставших прообразами героев Н. Г. Чернышевского в его романе «Что делать?» – Кирсанова и Веры Павловны. Или содержателя цыганского хора Илью Соколова, постоянными гостями которого были композиторы А. Е. Варламов и А. Н. Верстовский. Это Варламов привез к Соколову Ференца Листа, увлекшегося с тех пор цыганскими мотивами.

Но один уголок прудов заслуживает совершенно особого внимания.

Это маленький квартал от «Дома маршалов», где жил Роскоссовский, до Малой Бронной и по М. Бронной до Садовой (дом 31/13 по Ермолаевскому пер. и № 3 по Садовой-Кудринской), принадлежавший одному из самых древних и знатных грузинских родов – князьям Сидамон-Эристовым-Арагвским. Их предок, эристав (удельный князь) Тоникий служил со славой в византийских войсках, основал на Афонской горе Иверско-Афонскую обитель и принял в ней иночество. Стоящие сегодня дома принадлежали князю Дмитрию

Алексеевичу и его сыновьям. Сам Дмитрий Алексеевич окончил курс в Царскосельском лицее, занимался историей, стал одним из участников «Военно-энциклопедического лексикона», а в 1842 году издал «Словарь исторический о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых», за что был удостоен Демидовской премии. Особняк под № 3 снесен в 2005 году.

* * *

Этот просторный, не застроенный и не засаженный двор в Брюсовом переулке (21) в Москве знали многие. Практикующий врач Устин Евдокимович Дятьковский отличался добросовестностью и удачливостью в лечении своих пациентов, в том числе нуждающихся, которым он никогда не отказывал в бесплатной помощи. Москва только что пережила вспышку холеры, и именно после нее военный врач Дятьковский получил ординарного профессора (штатного) Московской медико-хирургической академии и был назначен директором клиники Московского университета. Гоголь понадеялся на земляческие связи с профессором и отсюда на более внимательное отношение к своим жалобам, которыми пренебрегали даже его родные. По-видимому, визит удовлетворил пациента, поскольку знакомство с врачом сохранилось. И, может быть, не таким уж преувеличением, как кажется литературоведам, было объяснение задержки в старой столице. Гоголь писал матери о своих недомоганиях, историки считали их предлогом для того, чтобы затянуть свое пребывание в Москве. Верно и то, что сердцем Гоголь остается в старой столице, мечтает о скорейшем возвращении. Досадует на задержки в пути. Выехав 7 июля, он уже в Подольске вынужден заночевать из-за мнимого отсутствия лошадей. Собственно, получить их у смотрителя можно, но за «пятерные прогоны», «потому что ежели на пути попадется мне еще десять таких благодетелей человеческого рода, то нечем будет доехать до пристанища», – пишет он Погодину.



Дом профессора У.Е. Дятьковского

И все-таки 18 октября знакомство с Москвой удалось продолжить на обратном пути из Васильевки. Очередная недельная задержка, и в жизнь Гоголя входят новые друзья. На территории нынешнего Ботанического сада, занимавшего в то время значительно большую

площадь, Гоголь находит квартиру Михаила Александровича Максимовича, еще только начинавшего свою академическую карьеру. Он имел должность адъюнкта при Московском университете, который недавно окончил, защитив магистерскую диссертацию «О системах растительного царства» по естественному факультету. В 1832 году его отправят в командировку на Кавказ, откуда Максимович привезет богатейшие коллекции и в 1833 году будет избран профессором ботаники. Но именно ботаникой заниматься ему не удалось. Решением министра просвещения он направляется в Киевский университет в качестве его ректора с обязательством руководить кафедрой русской словесности. В 1835 году Максимович слагает с себя звание ректора, а в 1841-м и звание профессора. Чтение лекций становится для него невозможным по состоянию здоровья. Он и знакомится с Гоголем в Москве в состоянии «душевной подавленности», из которой его выводило только увлечение собиранием народных песен. Гоголю был хорошо знаком изданный Максимовичем в 1827 году сборник «Малороссийские песни». Максимович наносит Гоголю визит в его гостинице – на этот раз писатель не скрывает своего местопребывания, хотя адреса гостиницы исследователям установить не удалось. В сборнике «Украинские народные песни», который выйдет в 1834 году, свыше полутораста записей будет принадлежать Гоголю.

То же увлечение приводит Гоголя к другому собирателю народных песен – Петру Васильевичу Киреевскому, жившему вместе с матерью, А. П. Елагиной, «у Красных ворот, в республике, привольной науке, сердцу и уму», по выражению поэта Н. М. Языкова (Хоромный тупик, 4). Прямой родственник Василия Андреевича Жуковского, воспитанный во многом под его влиянием, Петр Киреевский уклонялся от службы и какой бы то ни было общественной деятельности. Человек малообщительный, замкнутый, он всю жизнь отдает собиранию песен, которые так и не успевает до своей кончины издать. Но именно через него Гоголь втягивается в живую атмосферу «республики у Красных ворот», которая становится ему особенно дорога.

«До весны надеюсь быть у вас в Москве», – пишет Гоголь Погодину в последних числах ноября 1832 года. Но сбыться этому желанию удалось только через три года. «Эх, зачем я не в Москве!» – раз за разом звучит в его переписке с москвичами.

А если с историей покончить?

…Конец Второй мировой войны. Руины Варшавы. Большинство архитекторов, да и администраторов, высказывались за то, чтобы на сплошном пепелище выстроить новый город. Казалось, как же иначе. Но окончательное слово принадлежало народу. И это польский народ на едином дыхании принял решение: Варшаву восстановить! По фотографиям, обмерам, остаткам чертежей. Используя каждый сохранившийся камень и обводя его раствором так, чтобы каждый обращал внимание на его возраст. И подлинность.

Жили в развалинах. В насконо слепленных землянках. Работали на основной работе весь день, чтобы в конце него полуголодными прийти на разборку развалин. Ежедневно. Не зная выходных и праздничных дней. Площадки освобождались строителям. За каждым действием строителей ревниво следили, чтобы по возможности каждый камень возвращался на свое место. А потом строителям согласились отдать жилье в восстановленных в Старом городе домах. Они и сегодня живут там, старики, вместе со своим потомством. «Наши чародеи», – говорят в Варшаве.

Да, это был иной социальный строй. Иное соотношение между всесильными «советскими» властями и народом. И все же когда речь шла о символах истории, ее овеществленных следах, власти отдавали себе отчет, что речь идет о единстве народа и о национальном самосознании. Полякам надо отдать должное и еще в одном: к

восстановлению были привлечены самые крупные и ответственные учёные. Выигравший конкурс на восстановление Королевского замка в Варшаве профессор Ян Богуславский (в Москве по его проекту выстроен комплекс польского посольства у Тишинской площади) смеялся, что проштудировал фолианты по истории, истории культуры, архитектуры, прежде чем решился создавать свой проект.

Впрочем, подобную систему уже создают парижане. В 1968 году, через 23 года после окончания войны, Париж еще не был полностью восстановлен. Бомбёжки, оккупационный режим, острая нехватка средств привели к тому, что слишком многие дома обветшали, если не превратились во внутренней своей части в руины, другие нуждались в капитальном ремонте, произвести который город не мог. И снова идея разрушить все старье, расчистить «наш Париж», как писали многие газеты, от хлама и поднять на его месте новые современные корпуса. Так казалось логичней и, несомненно, дешевле. Но Парижу повезло. Мэр тех лет категорически передал решение вопроса на усмотрение парижан. В конечном счете – всей Франции. Парижанам и французам предстояло высказаться, какой они хотят видеть свою столицу, а уж властям – только выполнить их волю. Ответ не был единогласным, но все же подавляющее большинство высказалось за то, чтобы пусть медленнее, пусть не сразу, но сохранять и восстанавливать каждый старый дом. «Иначе мы потеряем Париж», – писали газеты. И тогда возникла знаменитая и поныне действующая идея «Фестиваля Маре».

Программа предусматривала, что ежегодно в определенных, подлежащих научному (!) восстановлению зданиях проводились выступления актеров, музыкантов, певцов – самых знаменитых, самых любимых публикой; плата за вход – денежный взнос на восстановление постройки. И чем сложнее была обстановка выступлений, тем щедрее оказывалась публика. А рядом выставлялись проекты, рабочие чертежи, публика получала возможность подробно узнать историю постройки и перспективу восстановления. Сегодня мы ходим по Парижу, ожившему и сохраненному во многом «именно в результате „Фестиваля Маре“».

Но это Варшава, Париж... А Москва, которую мы теряем так стремительно, что спустя месяц-другой не узнаем ее самых заветных уголков, с детства знакомых улиц? Уже нет и никогда не будет старого московского Арбата, тесноватого, но какого же спокойного, уютного во всех своих закоулках и таящего столько легенд и правдивых историй. Громадный монстр задвинул его начало, превратив обычную московскую улицу в щель без света и воздуха, каких не найдешь в худших районах Нью-Йорка. Это место досталось Альфа-банку, а будущее здание, как утверждают городские слухи, – тюменской нефти. Таким же монстрам предназначено втиснуться в последующие арбатские кварталы. В среде архитекторов идут разговоры о том, что на уровень, который определят новое здание Альфа-банка и высотка Министерства иностранных дел, будут подтянуты все остальные арбатские постройки. Ничего удивительного, идея заповедных зон отвергнута давно. Статус памятника перестал защищать московские памятники.

Что ж, надо смотреть правде в глаза. Со времени введения в школах единственного в своем роде курса «Москововедения» от Москвы, которую надо «ведать», остается все меньше и меньше.

И вот еще один проект уничтожения самой центральной и памятной каждой части города – Брюсова переулка. Начнем с документов.

Письмо депутата городской Думы М. И. Москвина-Тарханова мэру города: «После прочтения статьи в издании „Газета“ и интервью З. Церетели радиостанции „Эхо Москвы“ по вопросу создания „музыкального квартала“ в Брюсовом переулке я запросил необходимые материалы и, изучив их, считаю, что данный проект не должен быть принят к реализации. Территория Брюсова переулка и его окрестностей является одной из старинных частей города: здесь расположены 36 (!) памятников истории и культуры с их охранными зонами и участками, представляющие собой археологическую ценность... Более трудной территории для реализации какого-либо радикального проекта в городе найти будет нелегко. Реализация же фантазийного и иррационального проекта „музыкального квартала“

непременно „захлебнется“ в волнах протестов общественности и судебных тяжбах.

Полагаю целесообразным не рассматривать в органах власти проект создания «музыкального квартала», а изучить возможность включения этого квартала в зону «золотого кольца» Москвы для его сбалансированного развития и комплексного благоустройства. Прошу обратить ваше внимание на эту проблему».

Все верно. Депутат Гордумы, занимающийся вопросами культуры, случайно узнал о грандиозном проекте – благодаря, скажем так, утечке информации. Москвичей и вовсе никто не собирался ставить в известность. Кому принадлежала идея перестройки – сказать не так-то просто. 3 сентября 2001 года председатель комиссии Московской городской Думы и Московской городской администрации по нормативной базе земельных и имущественных правоотношений И. Ю. Новицкий в письме мэру за № 33-20-212/1 сообщает, что «высказанная Вами идея Музыкального квартала... начала приобретать реальные черты (что лишний раз доказывает энергетическую силу хорошей идеи)» и далее: «...группа молодых архитекторов, представляющих Академию художеств РФ под руководством своего президента и наставника З. К. Церетели, уже приступила – в первом приближении – к осуществлению этого большого проекта».

Едва ли не самым главным стало сообщение, что «инициативной группой с участием Церетели З. К., Чайковского А. В. и депутата Московской городской думы Новицкого И. Ю. создан культурный фонд „Музыкальный квартал“, а в Попечительский совет Фонда вошли выдающиеся музыканты всех семи федеральных округов РФ». В том числе от I Приволжского округа главный дирижер симфонического оркестра Республики Татарстан, главный дирижер симфонического оркестра Сибири, художественный руководитель Филармонии джаза (от Северо-Западного округа), ректор Свердловской консерватории, художественный руководитель Волгоградской филармонии, главный дирижер Дальневосточного симфонического оркестра. При этом «идея прошла экспертизу профильных комитетов – по культуре и в Москомархитектуре».

«Энергетическая сила хорошей идеи» начала набирать обороты. 1 октября последовало письмо мэра И. Ю. Новицкому о том, что «дано поручение Москомархитектуре подготовить соответствующий распорядительный документ» (№ 4-19-12561/1). 5 декабря председатель Москомархитектуры А. В. Кузьмин отрапортовал о работе своего звена со сроком окончания во II квартале 2002 года.

Всего нескольких месяцев оказывается достаточно, чтобы разобраться и приговорить к сносу старейшую часть города. И, пожалуй, полная историческая, да и просто литературная неграмотность поражает в исходном документе, по которому кипит работа. В документе, носящем название «Как обустроить „Музыкальный квартал“? (Путеводитель из прошлого в будущее)» и снабженном эпиграфом: «От автора. Всего одна улица, пусть даже небольшая, подобно одному человеку, может в немалой степени способствовать славе родного Отечества». Итак, посылка первая: «Вот уже несколько столетий Брюсов обживали – и продолжают обживать – музыканты: они селились здесь, возводя учебные заведения, залы, позже – студии грамзаписи, салоны и даже целые дома, что позволило нам, учитывая значение и роль его жителей в истории музыкальной культуры, предложить основать в Брюсовом Музыкальный квартал».

Но, как свидетельствует история Москвы, никакие музыканты здешних земель не «обживали». Музыкантские слободы находились в Китай-городе и на Арбате. Впервые связь с музыкальной жизнью столицы появилась у Большой Никитской в 1901 году, в связи с окончанием перестройки под консерваторию архитектором В. П. Загорским усадьбы Е. Р. Дашковой-Воронцовой. Что касается жилого дома для артистов Большого театра (№ 7) и музыкантов, при котором был образован Дом композиторов (ранее располагавшийся в районе Миусской площади), то первый был закончен в 1935 году, а второй и вовсе в 1956-м. Иными словами, оба являются детищами советской власти, как и факт превращения основанной еще в 1830-х годах англиканской церкви Св. Андрея в Студию звукозаписи фирмы «Мелодия», факт, сам по себе достаточно позорный.

И уж совсем не к лицу автору «культурного проекта» «называть англиканскую церковь – „кирхой“», что в русской речи означает храм лютеранский.

Зато история Москвы свидетельствует о совсем ином. Со времени открытия Московского университета «музыкальный квартал» был постоянным местом жительства университетской профессуры, а еще литературными мостками старой столицы. Брюсов переулок – это царство Николая Михайловича Карамзина. Живя здесь, он пишет «Бедную Лизу», издает «Московский журнал», альманахи «Аглая» и «Аониды». Здесь «собираются его товарищи по перу и убеждениям. Такими же литературными гнездами становятся в соседнем Вознесенском переулке усадьбы Сумароковых – Баратынских – Станкевичей и П. А. Вяземского, где живет в свой приезд в Москву в 1830 году Пушкин. В доме № 6 А. П. Сумароков провел свои детские годы. Здесь же поселился после свадьбы Е. А. Баратынского, провел около десяти лет, и в гостях у поэта постоянно бывали Денис Давыдов, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский. Наконец, с 1920-х годов и вплоть до своей кончины в доме жил и работал наш замечательный зодчий И. В. Жолтовский, бережно сохранявший его интерьеры и гризайльную роспись потолков, уничтоженную только в 1959 году, когда кабинет Баратынского – Станкевича – Жолтовского было решено срочно превратить в читальный зал архива города.

К созвездию этих имен надо прибавить драматурга А. В. Сухово-Кобылина, жившего в Брюсовом переулке до конца 1840-х годов, Сергея Есенина, работавшего в доме № 2-а над несколькими своими поэмами, выбравших для жизни соседний Вознесенский переулок – автора «В лесах» и «На горах» П. И. Мельникова-Печерского, А. А. Блока периода постановки МХАТом его драмы «Роза и крест».

Среди «обживавших» намеченный «музыкальный квартал» нельзя не упомянуть блестящего преподавателя, участника Отечественной войны 1812 года Устина Евдокимовича Дятьковского, у которого постоянно бывали в гостях Н. В. Гоголь, Денис Давыдов,

В. Г. Белинский, П. Я. Чаадаев, М. С. Щепкин. Здесь жил последние годы своей жизни гордость русской науки В. Ф. Лугинин, организатор, кстати сказать, первой в России термохимической лаборатории, занявшей первое место среди лабораторий Европы, учитель В. И. Вернадского и И. А. Каблукова. Знакомец Льва Толстого по обороне Севастополя, Герцена и Огарева по пребыванию в Лондоне, Лутинин стал прообразом героя романа Н. Г. Чернышевского «Пролог», в котором писатель вывел его под именем Нивельзина.

Кто дал нам право отмахнуться с пренебрежением от имен таких светил родной науки, как хирург, терапевт и невропатолог Ф. И. Иноземцев, первый директор Хирургической клиники Московского университета. Иноземцев дружит с генералом А. П. Ермоловым, Н. В. Гоголем, поэтом Н. М. Языковым, декабристом М. И. Муравьевым-Аpostолом. Это он добивается издания «Московской медицинской газеты», участвует в создании Общества русских врачей и становится первым его председателем. И может быть, прежде чем размахиваться на немедленную организацию квартир-музеев всех руководителей хоров радио и телевидения, стоит обратиться благодарной памятью к тем, кто создал великую Россию в мире науки, знаний, литературы?

Мы обязаны вспомнить великого орнитолога М. А. Мензбира, руководителя кафедры зоологии университета, создателя фундаментнейших монографий о птицах России, первого выборного ректора Московского университета. Тем более В. В. Марковникова, создателя новой химической лаборатории МГУ, двери которой впервые открылись для женщин. Это Марковникову Россия обязана изучением кавказской нефти, соляных озер юга, кавказских минеральных вод. И установкой на самую тесную связь науки с промышленностью. Постоянным гостем дома Марковникова был Климент Аркадьевич Тимирязев.

Или Дмитрий Николаевич Анучин, подлинный энциклопедист, создатель и первый руководитель кафедры географии в МГУ, руководитель археологических изысканий на Урале и Антропологической выставки 1879 года в Манеже, положившей начало Антропологическому музею МГУ. По его инициативе членом Общества любителей

естествознания, антропологии и географии был избран А. П. Чехов. Друзьями его дома долгие годы оставались Лев Толстой и Д. Н. Мамин-Сибиряк. И кому как не московскому правительству следует с предельным уважением вспомнить посвященные Москве труды ученого: «Геологическое прошлое и географическое настоящее Москвы», «Москва 60-70-х годов XIX века», «Наводнение в Москве в апреле 1908 года и вопрос изучения наводнений в России».

Из других «обживателей» злосчастного квартала нельзя не перечислить появившихся за десять лет до артистов Большого театра и за двадцать до музыкантов – актеров: Качалова, Москвина, Леонида, наконец, Мейерхольда, чей музей-квартиру с такими сложностями и финансовыми нехватками удалось все-таки открыть в Брюсовом переулке, после многолетнего и непробиваемого пребывания в ней секретарши и личного шоferа Берии.

Впрочем, у автора проекта «музыкального квартала» представление о прошлом и культурных наших традициях совсем иное: «За Брюсовом переулком скрываются немалые пространства. В них либо хаос и трущобы, либо кем-то реставрируемые и строящиеся здания, либо весьма странные заведения – от арендующего полуподпольное помещение ресторана с громким названием „Посольский“ до представительства Калужской области. Архитектурной логики или просто элементарного порядка там нет. Учитывая тот факт, что все эти места напоминают дворы, представляется интересным в рамках квартала открыть ряд дворов (дворов-ресторанов) с расположеннымными неподалеку VIP-домами. Двор джаза (РИВ), где вместе с превосходной игрой джазменов вас угостят пивом всех стран мира. Двор FOLK, или Народный двор, обставленный на манер Сорочинской ярмарки, с овощами и фруктами, а также сортами доморощенной водки. Здесь будут исполняться песни и сценки из творчества народов России. Двор ROCK-N-ROLL, UNDERGRAUND, здесь в качестве „фирменных блюд“ – все виды сигар и напитков и даже действующее казино. Великосветский двор, „Тусовка“ вместе с эстрадными кумирами – экзотические блюда, дорогие вина и „тропинка звезд“ – тех, кто посещал „тусовку“. Все эти дворы вместе с элитарными домами, построенными для представителей нового класса, могут заинтересовать не только юридических, но и физических лиц». Стоит привести и заголовок раздела: «Оборотная сторона, которая, впрочем, не является изнанкой». Автор представляет себе свой проект во всех деталях. Здесь и создание Консерваторской площади, ради которой следует,ничтоже сумняшися, «убрать на противоположной стороне несколько ненужных домов» (речь идет о домах допожарной застройки), окружить памятник Чайковскому местами для оркестрантов, а «у самого входа в Брюсов переулок поставить зрительские VIP-ряды... Первые этажи зданий вплоть до кирхи нужно отдать сувенирным магазинам, которые предстанут в виде выступающих из фасадов театральных лож».

Кульминацией же проекта должна была послужить аллегорическая скульптура «Пошлость и рутина», причем не в единственном экземпляре, а растиражированная во все уменьшающихся размерах (победа – вполне наглядная! – Добра над Злом): «Скульптура эта и ее двойники будут помещены на обочине Квартала, в дальнейшем они появятся вновь, становясь всякий раз все меньше и меньше, пока не превратятся в малоприметную точку. Это линия „Побежденного Зла“. Она, кстати, пройдет через все части квартала».

Короче говоря, очередной накат махровой попсы на древнейший центр нашей культуры. Очередной жевательно-развлекательный Диснейленд на месте памятников нашей истории. Комментарии излишни. Если бы уже не были определены границы обреченного участка: от Тверской улицы, Вознесенский, Малый, Средний и Большой Кисловские переулки, Газетный переулок при общей площади 18,0 га...

В заключение – рвущиеся из сердца слова создателя идеи: «И последнее. Благодарение отечественной культуре за то, что такой проект смог легко сложиться при помощи только одной русской музыки. Автор». Любопытно, какие изменения претерпит этот текст в связи с реализацией будущих задуманных проектов, которыми поделится на радиостанции «Эхо Москвы» Зураб Церетели, – «квартала поэзии» и «квартала художников».

Прав депутат городской Думы М. И. Москвин-Тарханов: дело за теми, о которых в

творческом экстазе просто забыли, – за москвичами. Которые из поколения в поколение здесь жили, работали, защищали город и сегодня изо дня в день борются за совсем нелегкую жизнь. В своей Москве.

Загадка «Невского проспекта»

...Это был художник. Не правда ли, странное явление?
Петербургский художник.
Н. В. Гоголь

Окно

Все началось с окна. Окна в моей комнате. И еще других, по ту сторону бульвара, за широкой горловиной путепровода.

В окне нет настоящей улицы – небо, крыши, косые паруса арбатских новостроек. Но если подойти совсем близко к стеклу, грузные силуэты раздвинутся в провале сада: десяток деревьев, тоненькая строчка ограды, арки ворот между двумя домами. Дома одинаковые, двухэтажные, боком притиснувшиеся к улице. Кажется, два флигеля исчезнувшего особняка.

Но особняка никогда не было. Я знаю историю обоих близнецов. Да они и не близнецы. Тот, что ближе к Арбату, выстроен недавно. Он был первой в Москве постройкой из блоков – новинка начала века, послужившая только тому, чтобы повторить ушедшие в прошлое формы: колонны, квадры камней, счет узких окон.

Второй много старше. Он тот самый, в котором умер Гоголь. Комната писателя выходила на бульвар – те самые прижавшиеся к земле два окна, которые смотрят в мою сторону. Они почему-то совсем заброшены в мутной радуге старых стекол, с завалью пустых банок и пожелтевших газет между рам. Сколько лет я здесь живу, никто их не открывал, не появлялся в них. А теперь и вовсе над домом не стало крыши – говорят, здесь будет музей, – и в синеватом свете уличных мачт жестко поблескивает снег под голым остовом стропил.

В этом есть что-то от полустершегося детского воспоминания, от повести, которая собиралась много рассказать и не рассказала ничего: оборвалась на первых строках. В детстве упрямо верилось, что где-то есть продолжение, но во всех изданиях Гоголя стояло одно и то же: заглавие «Отрывок из повести „Страшная рука“ из книги под названием „Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове в 16 линии“ – и все те же три строки.

Теперь Гоголь входит в мою жизнь сложнее и понятнее. Понятнее, потому что он писатель, а моя область – история искусств. Писатель и художники – такой мостик перебрасывается редко, скорее ради юбилеев. Когда дело доходит до «круглой» даты, о чем только не приходится вспоминать: портреты, иллюстрации к произведениям, друзья. А так разве мало знать, что восхищался Гоголь «Последним днем Помпеи» Карла Брюллова и был близок с Александром Ивановым?

Я помню письма обоих и думаю о том, что московский Гоголь, больной, измученный мыслями, не мог начинать таинственной истории про лунный свет и страшную руку. Он был уже другой, а тот, ранний, петербургский, вероятно, не имел дела с художниками. Вероятно

– потому что иначе кто-нибудь из исследователей что-нибудь об этом бы сказал. Молчание и в науке можно принимать за утверждение.

…По вечерам окна зажигаются. Пустые квадраты в арбатских корпусах. Их все еще чертят острые лучи повисших на шнурках лампочек – неожитой быт новоселов. Привычные пятна, красные, желтые, полосатые, – в «Арктике», мудреном длинном доме с памятью о Северном полюсе, Отто Шмидте, папанинцах. Оживают и те два окна. Всегда темные, они перехватывают огоньки тормозящих автобусов, а в порывах ветра – жидкий отблеск соседнего фонаря.

Очень точно сказано у Гоголя: «Фонарь умирал». Этот, напротив его окон, умирает тоже – каждый раз ровно в одиннадцать. В стальной раковине вздрагивает и бледнеет мертвенная слепящая синева. Стынет темнота в переплетах старых рам… Как все-таки странно, что та, несостоявшаяся, повесть оборвалась на первых строках.

Рождение Пискарева

В примечаниях дата – 1831 и ничего кроме. Остальное надо представить, угадать. Второй год Гоголя в Петербурге – после детства на Украине, после Нежинского лицея. Нелегкое время.

Гоголь привыкал к городу и, наверное, учился его любить. Первые впечатления не давали радости. Не давали потому, что до них была мечта. Сколько лет Гоголь думает о Петербурге – «во сне и наяву мне грезится Петербург», – только там ему все светится надеждой и обещанием: «Уже ставлю себя мысленно в Петербурге, в той веселой комнатке окнами на Неву, так как я всегда думал найти себе такое место. Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли я точно живать в таком райском месте…»



Аничков мост. Литография Ж. Жакотте. 1850-е гг.

Предположения сбылись и не сбылись. В первых днях 1829 года Гоголь в столице. Только «райское место» обернулась замызганной комнатенкой четвертого этажа, вид на Неву – колодцем кипящего мастеровым людом двора. Не хватает средств на самую скромную,

расчетливую жизнь. Самые «верные» рекомендательные письма не пробили брони равнодушия петербургских патронов. Напечатанная за собственный счет поэма «Ганс Кюхельгарден» остается лежать в книжных лавках. Гоголь тратит последние деньги, чтобы скупить ее и сжечь. Попытка «поступить в актеры» на императорскую сцену оказывается бесплодной. Гоголевские письма, восторженные, многословные на родине, в Петербурге становятся нечастыми и «проходными» – обо всем, кроме самого себя. Таким Гоголь останется на всю жизнь. К концу первого года он готов согласиться на любое место, лишь бы не возврат в провинциальное захолустье, лишь бы не признание собственного поражения. Оказавшись писцом в Департаменте Государственного хозяйства и публичных зданий, Гоголь почти счастлив: пусть 30 рублей в месяц – зато начало сделано! Должность учителя истории в Женском Патриотическом институте, выхлопотанная новыми петербургскими друзьями в 1831 году, была и вовсе освобождением.

Мозаика встреч, впечатлений, случайных знакомств и вымечтанных (сам Пушкин!), завязывающихся и рвущихся отношений. И все время Петербург – то увлекательный, то враждебный, то чужой, то в чем-то становящийся понятным.

Строки письма: «Каждая столица характеризуется своим народом, набрасывающим на нее печать национальности, на Петербурге же нет никакого характера; иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе непохожи на иностранцев, а русские в свою очередь обыностранились и сделались ни тем, ни другим. Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе, все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается их жизнь».

Не потому ли, что Гоголь уже так по-своему начинает видеть, осмысливать город, «Страшная рука» прерывается на первых строках? Ей явно предстояло обратиться в «роман ужасов», которыми, с легкой руки Теодора Амадея Гофмана, увлекалась Европа, а Гоголю в этих рамках уже тесно, слишком тесно.

И все-таки «Страшная рука» чем-то привлекала. Гоголь не отбросил ее, как многое другое. Наоборот. Оказывается, почти сразу появляется новый вариант – без замысловатого названия, но со старыми атрибутами: ночь, глухая улица, деревянные домишкы, фонарь. И завязка – бедный студент из Дерпта, подсмотревший в окне замечательную красавицу в призрачном водопаде тканей и драгоценностей. «Мечта и существенность» – как было принято говорить в те годы.

Но и этот вариант отпал. Гоголь начинает еще раз. Снова город. Снова ночь. Но вместо глухой окраины – модная улица, вместо угрюмых затаившихся обывательских домов – пестрая шумливая разнохарактерная толпа, и в ней, в городской толпе, новая красавица – «Перуджинова Бианка», за которой воображение повлекло не случайного прохожего и не бедного студента – художника Пискарева. Иначе говоря, таинственное чердачное окно привело к... «Невскому проспекту».

Только почему именно художник? Конечно, это могло быть случайностью, простым авторским расчетом: необычная профессия легче оправдывала невероятные события, игру воображения. Но были в этом последнем варианте «чердачного окна» и такие подробности, которые невольно возбуждали мой «рабочий», чисто искусствоведческий интерес. Просто раньше на них как-то не задержалось внимание.

Профессия Пискарева – многое ли она определила в поступках, характере гоголевского героя? Не сравнить с Чертковым из «Портрета», где все построено на профессии: надежды, расчеты, жизненные ошибки. Кстати, в начальном варианте «Портрет» писался вместе с «Невским проспектом» (две самые первые петербургские повести Гоголя – два его единственных рассказа о художниках). Иное – само выражение «Перуджинова Бианка». Имя мастера раннего итальянского Возрождения Перуджино никогда не было общеупотребительным, общепонятным. Это личный вкус Гоголя, выдающий близкое знакомство с живописью. Тем более ссылка на «Бианку», хотя бы по одному тому, что такой в истории искусства не существует. В 1504 году Перуджино пишет для одной из итальянских

церквей – dei Bianchi фреску «Поклонение» волхвов». Под «Бианкой» (созвучие названию церкви) Гоголь подразумевает изображенную на ней мадонну. Но к такому сокращению прибегали только профессионалы.

Да еще к тому же страница о петербургских художниках – портрет живой, выразительный и не менее наблюденный, чем портрет самого Невского проспекта.

«Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. Это исключительное сословие очень необыкновенно в том городе, где все или чиновники, или купцы, или мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник петербургский? Художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно!

Эти художники вовсе непохожи на художников итальянских: гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив того, это большою частию добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе не брекущий об излишнем. Он вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть, чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувственную мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякий художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькают бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках. У них всегда почти на всем серенький мутный колорит – неизгладимая печать Севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работою. Они часто питаются в себе истинный талант. И, если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, наверное, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят, наконец, из комнаты на чистый воздух».

Первые строки «Странной руки» были написаны в 1831 году, «Невский проспект» вышел в 1835-м. На этом временном отрезке что-то изменилось во взглядах и интересах Гоголя, что-то породнило его с живописью. Именно породнило – он не просто увлекается искусством, художниками, но сам обретает черты профессионала. Откуда и почему – это и был мой «рабочий» вопрос.

«Статские» и «действительные»

Чтобы увидеть свет в начале 1835 года, «Невский проспект» должен был быть закончен раньше – даты под повестью не стоит. Действительно, осенью Гоголь посыпает рукопись Пушкину для советов по части цензуры и тем самым признает ее законченной. Так же воспринимает «Невский проспект» и Пушкин. «Прочел с удовольствием, – пишет он в недатированной записке. – Кажется, все может быть пропущено. Секцию жаль выпустить; она мне кажется необходима для эффекта вечерней мазурки. Авось бог вынесет. С богом».

Еще один шаг к уточнению времени окончания повести – письмо Гоголя М. А. Максимовичу: «Я тружусь, как лошадь, чувствуя, что это последний год, но только не над казенною работою, то есть не над лекциями, которое у меня еще не начинались, но над собственными моими вещами». Эти строки помечены 23 августа 1834 года, и в том же месяце составляется перечень содержания сборника «Арабески», куда входит «Невский проспект». Где-то здесь конец, начало же работы над последним, опубликованным вариантом рисовалось гораздо более туманно. Известные вехи подсказывал лишь сам текст.

Прежде всего стоящая церковь – единственная конкретная деталь в описании Невского. Ею могла быть только лютеранская кирха Петра и Павла, заложенная в мае 1833 года по проекту Александра Брюллова, брата «великого Карла». Но судить об ее архитектуре, на самом деле необычной (приход эклектики – первое псевдороманское сооружение Петербурга), представлялось возможным по крайней мере годом позже, когда начал хотя бы в общих чертах вырисовываться облик строения. Интерес к ней Гоголя имел особые причины.

Александр Брюллов был не только архитектором, но и блестящим акварелистом, к тому времени уже прославленным, уже получившим признание в Европе. Легкими, чуть суховатыми его набросками особенно увлекались петербургские издатели. Один из набросков, дошедший до наших дней в виде гравюры, – лишнее свидетельство личных контактов Гоголя с архитектором. А. Брюллов рисовал собрание петербургских литераторов по случаю новоселья известной книжной лавки А. Ф. Смирдина в феврале 1832 года. Среди присутствующих был, как добросовестно пояснял журнал «Северная пчела», и «господин Гоголь-Яновский (автор „Вечеров на хуторе“)».

Временные границы явно сходились на первой половине 1834 года, но это для окончательного варианта. А первая мысль о герое-художнике? Почти бесспорно она родилась в предыдущий год, тот самый, о котором Гоголь с таким отчаянием пишет: «Какой ужасный для меня этот 1833-й год! Боже, сколько кризисов! Настанет ли для меня благодетельная реставрация после этих разрушительных революций? – Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собою».

В специальных исследованиях очень подробно говорится, что Гоголь попадает под влияние французской литературной школы «неистовых». Как раз перед его обращением к черновому варианту «Невского проспекта» появляется 15-томный сборник «Париж, или Книга ста одного», своеобразная анатомия жизни большого города, открытие «необычайного в действительном». Такова литературоведческая посылка, а собственно жизнь – не давала ли она каких-нибудь дополнительных объяснений? Иначе все равно оставалось непонятным, почему именно тогда дерптский студент уступил место петербургскому художнику.

Письма молчат, молчат и воспоминания, если не считать мимоходом брошенного указания. П. В. Анненков, сблизившийся с Гоголем в позднейшие годы, пишет, возвращаясь памятью к пережитому: «С 1830 по 1836 год, то есть вплоть до отъезда за границу, Гоголь был занят исключительно одной мыслью – отбыть себе дорогу в этом свете, который, по злоупотреблению эпитетов, называется большим и пространным; но в сущности он всегда и везде тесен для начинающего. Гоголь перепробовал множество родов деятельности – служебную, актерскую, художническую, писательскую...»

Три рода этой деятельности общеизвестны, но вот вопрос об изобразительном искусстве – он возник на этот раз не как вывод из особенностей литературного произведения, результат анализа, а как утверждение имевших место в жизни фактов. Ведь речь шла не об интересе к искусству – о профессиональных занятиях им. И здесь нельзя было не вспомнить о рисунках к последней – «немой» сцене «Ревизора».

Традиция упорно связывала их с именем Гоголя, но для исследователей подобное авторство оставалось проблематичным. Смущала редкая мастеровитость набросков: откуда бы ей взяться у литератора? Слова Анненкова предполагали существование у Гоголя профессионализма, иначе молодому писателю не пришло бы в голову видеть в искусстве один из возможных родов своей деятельности... Это было важно, но не решало моего вопроса – «откуда и почему», разве только давало уверенность, что такой ответ существовал.

Но раз так, имело смысл вернуться назад, к моменту приезда Гоголя в Петербург. Снова письма. Снова калейдоскоп имен. И, как нарочно, ни одного художника, ни одного упоминания о произведениях искусства. Тем неожиданнее письмо к матери от июля 1830 года.

Все в нем прозаично и обыденно. Жалобы на лето в городе – трудно без привычки,

тоска по родным местам – как у вас-то сейчас хорошо! – и однообразный ритм жизни департаментского писца, хотя и успевшего подняться ступенькой выше – стать помощником столоначальника.

«В 9 часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пробываю там до 3 часов, в половине 4 я обедаю, после обеда в 5 часов отправляюсь я в класс, в академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить – тем более, что здесь есть все средства совершенствоваться в ней, и все они кроме труда и старания ничего не требуют. По знакомству своему с художниками, и со многими даже знаменитыми, я имею возможность пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными, не говоря уже об их таланте, я не могу не восхищаться их характером и обращением; что это за люди! Узнавши их, нельзя отказаться от них навеки, какая скромность при величайшем таланте! Об чинах и в помине нет, хотя некоторые из них действительные и статские советники. В классе, который я посещаю три раза в неделю, просиживаю три часа...»

Чего только в этой находке не было! Свидетельство хорошей «профессиональной» подготовленности Гоголя (иначе его не допустили бы к занятиям в академических классах), и его несомненной одаренности (чем иным привлечешь внимание «знаменитых»?), и увлечения (продолжающегося!) живописью, которое одно позволяло преодолевать усталость целого рабочего дня. А разве не говорит о том, насколько старая и прочная привязанность – живопись, такая любопытная деталь.

Чуждый и тени чинопочтания Гоголь рассуждает о чинах академических профессоров. И это не только снисхождение к слабости матери: втайне она мечтала для сына о самых высоких служебных рангах. Гоголь старается оправдать в ее глазах свои занятия живописью. Раз они позволяют достичь столь высоких ступеней служилой лестницы, значит, работа в академических классах не могла быть никчемной тряской времени.

Но для историка «статские» и «действительные» имели еще и другое значение – как ориентир для поисков гоголевских учителей. И ведь все это только самые первые, очевидные выводы из письма.

Зато с окончательными выводами спешить никак не хотелось. Хотелось просто до конца разобраться в письме. Это была находка из числа тех, где к прочтенному надо прибавить множество других сведений, чтобы полностью осмыслить, что перед тобой открылось. Иначе прошедший через десятки рук документ мог продолжать по-прежнему скрывать свой смысл – мало ли подобных примеров!

Вот и здесь – часы занятий: всего три раза в неделю, всего по три часа и обязательно вечером. Много ли это? Да, очень. Потому что за этим расписанием стоял натурный класс, самый сложный и завершающий в академической программе. Поэтому преподавателями назначались здесь только крупнейшие художники. Вместе с рисунком они начинали учить и созданию картины.

Гоголь говорит о «знатных». Они действительно были знамениты, поочередно ведшие натурный класс в 1830 году Алексей Егорович Егоров – русский «Рафаэль», по единодушному отзыву современников, или Василий Козьмич Шебуев, признававшийся замечательнейшим историческим живописцем. Понадобятся годы и годы, чтобы с ними начал соперничать Карл Брюллов. К тому же именно они и были теми «статскими» и «действительными», которым предстояло поразить воображение матери Гоголя.

Есть в строках письма и еще одно уточнение – живопись. Гоголь упоминает о занятиях именно ею, а это и вовсе последняя часть программы натурного класса. Как много мог он продвинуться в мастерстве? Все зависело от того, сколько лет Гоголь оставался в классе. Простая продолжительность занятий может послужить достаточно точным показателем профессионализма и уж во всяком случае серьезности отношения к «художнической деятельности». Только как было ее установить?

Письма – пересмотренные на этот раз одно за одним, за все петербургские годы – не давали ответа. Академия художеств, живопись будто нарочно исчезли из них. И если бы не то единственное письмо к матери, Гоголя и вовсе нельзя было заподозрить в интересе к

изобразительному искусству. Разве можно считать хоть каким-то свидетельством мимоходом брошенное им в 1830 году замечание о городской хронике Петербурга: «С 23-го сентября Академия художеств открыла выставку из произведений своих за прошедшие три года. Это для жителей столицы другое гулянье: около тридцати огромных зал наполнены были каждый день до 27-го числа толкающимися взад и вперед мужчинами и дамами, и здесь встречались такие, которые года по два не видались между собою. С 27-го числа выставка открыта для простого народа». Но больше-то вообще ничего не было. Оставалось любым путем заглянуть в личную жизнь Гоголя.

Фонд № 789

Из всех хранений, связанных с историей русского искусства, 789-й фонд Центрального государственного исторического архива в Петербурге отличается наибольшей полнотой, «многолюдством» и сложностью. Середина XVIII столетия – годы Октябрьской революции: на этом огромном временном полотне трудно найти художника, который так или иначе не попал бы в поле зрения Академии художеств. Вот только зачастую бывает не менее трудно обнаружить эти следы.

Гоголю помогли годы. Именно в 1830 году академические классы стали доступными для вольноприходящих – отсюда восторженное изумление его письма перед открывшимися возможностями занятий! Первые такие учащиеся были в новинку, о них заботились, ими специально занимались. Сохранились следы и Гоголя-Яновского, как называл он себя в Академии: в течение трех лет – 1830-1833 – Гоголь получал билеты на посещение академических классов.

Три года! Многие оставались в Академии дольше, но многие за такой срок и заканчивали ее. А главное – знакомства, личные контакты, влияния, сколько их могло завязаться, что только не успело произойти.

Академическая выставка, та самая, упомянутая между прочим, положила конец тридцатилетней работе в Академии отца Александра Иванова, профессора исторической живописи Андрея Иванова. Лично взявшийся за перестройку искусства в духе выдвинутых им официальных формул, Николай I не простил художнику ни его убеждений, ни давних связей с исполненным радищевских настроений Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств. Эта связь лишила несколькими годами раньше Александра Иванова заграничной поездки за счет Академии, теперь она перечеркнула судьбу отца.

В том же году другой профессор, Василий Шебуев, предлагает в качестве темы для конкурсных ученических работ встречу Александра Македонского с Диогеном – торжество чувства собственного достоинства над царской властью. Александр находит Диогена «лежащим на земле, греющегося противу солнца, и удивляясь тому, что муж, снискавший толику славу, живет в крайней нищете, вопросил его, не имеет ли в чем нужды? „В том единственно, – ответствовал Диоген, – чтобы ты не закрывал мне солнце“.

Тема, само собой, разумеется, не была принята, оставшись тщательно погребенной в академических анналах личным выступлением Шебуева. Впрочем, что мы знаем о характере этого профессора, формально не вызывавшего императорского недовольства?

Мог же Шебуев отказать всесильному фавориту Аракчееву в своей картине, чтобы бесплатно передать ее в первую русскую провинциальную школу в глухом, богом забытом Арзамасе. «У меня просил граф Аракчеев, – заметит он между прочим руководителю школы, – но я не отдал ее: она лучше пригодится тебе». И не случайно Николай I, под предлогом перевода на должность ректора, с 1832 года навсегда отстранит Шебуева от преподавания.

Будут ошибаться по поводу Шебуева потомки – мало ли фактов и обстоятельств ускользает от подчас недостаточно внимательных, подчас предубежденных глаз историков! – но не заподозришь в ошибке Гоголя. А ведь идеальный старец-художник в «Портрете» наделен именно шебуевскими чертами, почти дословно его высказываниями и даже единственной в своем роде особенностью – отвращением к заказным портретам, которыми ради хлеба насущного приходилось заниматься почти всем живописцам.

Мелочи, разрозненные, на первый взгляд почти неприметные, но в сопоставлении с тем, что в свое время удалось узнать в архивах об отдельных преподававших в Академии художниках, они заставляют по-новому осмыслить гоголевские строки. В том же «Портрете» Гоголь перечисляет великих живописцев прошлого, и это не случайный набор обязательных имен. За ними стоит вкус и выбор профессора Егорова. Он мог интересоваться Рембрандтом и признавать его достоинства, но действительно великим для «русского Рафаэля» представляется только подлинный Рафаэль. Егоров первым вводит культ его учителя – Перуджино. Именно Егоров привозит из своей пенсионерской поездки великолепные копии с Перуджино, захватывает своим увлечением учеников, и в результате выходит на страницы гоголевской повести «Перуджинова Бианка» – иначе мадонну «дней Бьянчи» в среде учеников Академии художеств не называли.

События и встречи растягивались на годы, где-то между ними терялся переход от бедного дерптского студента к петербургскому художнику Пискареву. В современных жизненных обстоятельствах Гоголя он становился вполне закономерен, как и страничка «Невского проспекта» о петербургских художниках. Недаром упомянутая Гоголем «перспективы» – мастерская с окном на Неву – рисовалась так убедительно, что ее оригинал, казалось, совсем просто разыскать среди сотен других картин. И вместе с тем неизбежно возникал вопрос: кем были эти описанные Гоголем художники? Просто петербургскими живописцами тех лет, иначе – типом, или определенными, лично знакомыми писателю людьми?

Среди догадок

Немудреный обиход, полупустая комнатенка – тут тебе и мастерская, тут тебе и жилье, и множество свободного времени. Неторопливые дружеские чаепития. День, потраченный на этот случайной старухи-нищенки. Несколько, а может, и много дней, отданных перспективе собственной комнаты. Гоголь ни словом не упоминает о заказной работе, церковных образах или портретах, без которых не удавалось в те годы просуществовать ни одному профессиональному. На «перспективу» и тем более на «старуху» найти охотников было почти невозможно. Слова современной «Художественной газеты» не оставляют на этот счет никаких сомнений:

«Художники работают по заказам, большую частью делаемым от правительства (публика довольствуется преимущественно одними портретами). Художники исторические, кроме образов, другого дела не имеют. Другие роды живописи существуют потому только, что попечительное правительство не перестает о них заботиться». Если критик и преувеличивал, то только в отношении попечений правительства. Они не шли дальше редких, очень редких приобретений отдельных картин или поощрений художников подарками.

В тихих и непрятательных героях Гоголя можно скорее видеть учащихся, но и это не представлялось возможным. В тексте не содержалось ни малейшего намека ни на занятия, ни на Академию (где же еще можно было учиться в тогдашнем Петербурге?). К тому же академическая практика не знала и не поощряла описанных Гоголем картин – народный тип,

изображения интерьеров. В них жила новая для русского искусства струя, и не отклик ли на нее вызвал появление в «Невском проспекте» нового героя?

Но эта догадка, как и всякая догадка, нуждалась в подтверждении фактами. Среди адресатов Гоголя за те же три «академических» года находилось только одно имя, связанное с искусством, правда, опять-таки с Академией художеств, — имя ее ученого секретаря и преподавателя истории искусств В. И. Григоровича. Но что могло сказать единственное направленное к нему письмо, да еще к тому же новогоднее поздравление:

«Милостивый государь Василий Иванович. От всей души и сердца поздравляю Вас с новым годом и днем Вашего ангела и чрезмерно сожалею, что мое незддоровье не позволяет Вам этого сказать лично. С нелицемерным почтением и преданностью честь имею быть Ваш покорнейший слуга Николай Гоголь».

Правда, письмо написано в не совсем обычном для Гоголя подчеркнуто официальном и уважительном тоне. Правда, по времени письмо предваряет тот самый тяжело пережитый Гоголем 1833 год, когда впервые появился и художник Пискарев. И все же этого было бы недостаточно, если бы не другое письмо тому же адресату, написанное семью годами позже, во время пребывания Гоголя в Риме.

«Обращаюсь с убедительнейшою просьбою к Вам: передать Обществу мою искреннейшую благодарность за внимание, мне оказанное, а вместе с тем и сожаление, видя невозможность участвовать в его похвальных занятиях по трем важным причинам. Во-первых, по причине, что предмет занятий для меня чужд и вовсе посторонен, во-вторых, по причине совершенного расстройства моего здоровья и неимения времени и, в-третьих, по причине моего отъезда из Рима — обстоятельство, разрушающее само собою значение корреспондента. И потому прошу Вас изгладить мое имя, попавшее незаконно в число поченных поощрителей».

Речь шла об Обществе поощрения художников, частной организации, возникшей в Петербурге в 1819 году. И вот — почетное звание, формальное признание, которое, не требуя никаких трудов со стороны Гоголя, вместе с тем свидетельствовало об уважении к нему, и откровенно досадливые, нетерпеливые слова отказа. Гоголь громоздит причину за причиной, чтобы только не допустить никакой связи между собой и избравшими его людьми.

Что стояло за этим? Живая память о недавних литературных неудачах (что значили восторженные отзывы товарищей литераторов по сравнению с безразличием читателя!), о провале «Ревизора», которые все вместе привели к поспешному отъезду, почти бегству за границу? Подозрение, что подобным образом скрывалось желание друзей смягчить пережитые им разочарования? Одна мысль о подобном сочувствии была ему невыносима. Ведь писал же Гогольическими годами раньше друзьям в связи с их сообщением, что «Ревизор» продолжает держаться на сцене:

«Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры „Ревизора“, а с ним „Арабески“, „Вечера“ и прочую чепуху, и обо мне в течение долгого времени ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова — я благодарил бы судьбу...»

Правда, и в том, и в другом случае оставалось необъяснимым раздражение, высказанное именно Григоровичу. В сопоставлении с почтительными строками 1833 года оно заставляло думать, что изменения в отношениях с этим конкретным человеком у Гоголя были связаны каким-то образом с Обществом поощрения художников. Но тогда невольно возникало и следующее предположение: не Общество ли послужило почвой для первоначального знакомства Гоголя с Григоровичем? Григорович долгие годы оставался его деятельным участником и к тому же ученым секретарем. А связь с Обществом говорила о многом — об определенном круге деятелей искусства, об определенных устремлениях и установках в живописи, об эстетических позициях и едва ли не о главном — об отношении Гоголя к официальному искусству.

«Поощрители»

Об Обществе поощрения не издано книг, не написано исследований – это дело будущего. Много лет назад возникла идея публикации его архивов, сохранившихся в них писем десятков русских художников, списков их работ, обстоятельств биографий. Но дальше предварительной подготовки материалов дело не пошло. А пока все, что удалось узнать об Обществе, приходилось выискивать в архивных фондах, соединять воедино из отдельных фактов, документов, обращаться к собственным, годами накапливавшимся выпискам.

«Всеми возможными средствами помогать художникам, оказывающим дарование, и способствовать распространению всех художеств» – что особенного заключали в себе слова, записанные в уставе Общества в момент его создания? Неопределенные цели художественной благотворительности, такие же неопределенные возможности – все зависело от настроения и щедрости отдельных любителей. Членство предполагало внесение высокой и немногим доступной суммы в 2000 рублей, которую могли заменить не менее значительные ежегодные взносы. Тем самым круг членов ограничивался очень состоятельными и в основном близкими к царскому двору лицами и, казалось бы, их вкусами и представлениями об искусстве.

Но живое время и живые люди сказали свое слово. Время – годы расцвета декабристского движения, дух освобождения и перемен, охвативший Россию перед событиями на Сенатской площади. Люди – по-своему близкие к декабристам, разделявшие их стремление к развитию человека вне и независимо от официальных догм.

Сенатор И. А. Гагарин, флигель-адъютант императора Л. И. Киль, министр внутренних дел В. П. Кочубей, статс-секретарь императора по приему прошений П. А. Кикин – их трудно заподозрить в далеко идущем свободомыслии, тем меньше в понимании путей развития родного искусства. Но у них не отнять заслуги, что они передают возможности Общества в руки тех, кто этим пониманием обладал, – художникам, которые, будучи освобождены от официальной опеки, могли осуществлять смелые и без средств Общества нереальные планы.

А ведь этими художниками были знакомый Гоголю по академическим классам Александр Варнек, руководитель пейзажного класса Максим Воробьев, наконец, один из членов декабристского «Союза благоденствия» Ф. П. Толстой, автор известного трактата «О состоянии России в отношении внутреннего быта», доказывавшего необходимость уничтожения крепостного права. В первое десятилетие своего существования Общество зависело от их взглядов и стремлений. И прав был один из любимцев Николая I, который в 1830-х годах писал: «Общество для поощрения художников есть оппозиция Академии».

Лишается права на заграничную пенсионерскую поездку Карл Брюллов – жестокое наказание за то, что не пожелал подчиниться распоряжению академического начальства, и Общество поощрения тут же предоставляет ему и его брату Александру возможность работать в Италии. Сталкивается с подобными осложнениями Александр Иванов, и его отправляют за границу «поощрители», как называл их Гоголь. Или первые пенсионеры Общества в академических стенах, Григорий и Никанор Чернецовы?

Из захолустья Костромской губернии, заштатного городка Лух, приезжает Григорий Чернецов в Петербург, чтобы начать учиться в Академии. Но возраст, недостаточное общее образование становятся непреодолимым препятствием для включения в число казенных – на полном содержании – учеников, а отсутствие средств не позволяет учиться вольноприходящим. И это было бы крушением всех надежд, если бы не вмешательство одного из самых беспокойных деятелей Общества – П. П. Свиньина.

«Податель сего из несчастных жертв президента Академии, – пишет Свинин с

обычным своим жаром П. А. Кикину. – Мальчик пылает страстью к живописи, получает обещание (письменное) пользоваться всеми академическими пособиями. Он приехал сюда из Костромы, бедный отец дает ему последний кусок на содержание, и что ж вышло? Ему позволено два часа рисовать в гипсовом классе! – Мальчик чувствует, что понапрасну теряет дорогое время молодости, с слезами просит ему пользоваться и другими обещанными пособиями, но ему начисто отказано. Попробуйте его, почтеннейший Петр Андреевич, и если найдете достойным, по-правильному бы тогда дали ему руку помощи: сделаем между собою подпиську и поместим его пенсионером». Рекомендация была принята. Григорий, а за ним и его младший брат Никанор получили возможность стать живописцами.

И уж целиком зависели от Общества судьбы крепостных художников, для которых Академия была нагло закрыта. Ее привилегии могли распространяться пусть на беднейших, но только свободных лиц – Николай I не допускал никаких исключений. Он был принципиальным противником всего, что могло облегчить положение крепостных, тем более выкупов на волю, создававших «снобистические» прецеденты.

Освобождение каждого крепостного требовало больших средств – правом помещика было называть любую сумму – и обязательного императорского согласия, а с ним оказывалось труднее всего. Деньги, связи, влиятельные ходатаи – такой путь был под силу только Обществу поощрения. Отдельные истории становились предметом обсуждения и волнений всего Петербурга, да и не только Петербурга.

Кто в те годы не знал имени крепостного живописца Александра Полякова, отданного в обучение модному портретисту Дау? Дау заполнил своими портретами всю Галерею 1812 года в Зимнем дворце. Ученик во многом сравнялся с учителем, часто полностью его заменял, и Дау со спокойной совестью подписывал своим именем его работы. Попытки Полякова восстановить справедливость, приобрести заслуженное имя и благодаря ему вырваться на свободу были заранее обречены на неудачу, если бы не вмешательство Общества поощрения. Оно долго боролось за художника и в конце концов освободило его. Пережил эту историю и Гоголь.

Постепенно из пенсионеров Общества начал складываться своеобразный институт. Для них снималось специальное жилье, заводились классы и мастерские, приглашались специальные педагоги. Это была жизнь артельная, без особых удобств, но и без крайней нужды. Свой мир, не слишком широкий, зато куда более свободный, чем мир академических классов. Здесь все могло быть переделано и доделано, исходя из советов и опыта каждого деятеля Общества, будь то Григорович, Федор Толстой или Свинин.

Григорович и Свинин – два имени, связанных с Обществом поощрения, два имени, вошедшие в петербургские годы Гоголя. Было ли это простой случайностью или прямым доказательством связи Гоголя с Обществом поощрения? Впрочем, последовательность имен следовало изменить: первым шел Свинин. Это у него оказывается Гоголь раньше, чем у других петербургских литераторов, через несколько месяцев по приезде в Петербург.

Но в таком случае не через Сванина ли пролегла дорога Гоголя и к Обществу поощрения и – почем знать! – ко всей художественной жизни столицы? Возможность тем более любопытная, что существуют два истолкования роли Сванина, его места в истории русской культуры – предложенное литературоведами и утвердившееся среди историков искусства. Спор, в котором, как и во всяком споре, могла существовать только однастина.

Только ли гипотеза?

Факты выглядели так.

Осенью 1829 года Гоголь возвращается из своей первой неудавшейся заграничной

поездки, ищет работу и, между прочим, оказывается у Свиринина, издателя «Отечественных записок». Гоголь показывает свой рассказ «Ночь накануне Ивана Купала», Свиринин тут же выражает желание его издать. Рассказ публикуется в номере журнала за февраль – март 1830 года.

Правда, рассказ получил новое и никак не устраивавшее автора название. Правда, он подвергся жестокой и искажившей стиль Гоголя редактуре. Правда и то, что имя Гоголя вообще не было упомянуто. Формально посылок было более чем достаточно, чтобы вызвать недовольство Гоголя и его последующий разрыв со Свирининым. Такова точка зрения литературоведов, которые в качестве еще одной из причин несостоявшейся дружбы приводили и консервативно-националистический характер взглядов издателя «Отечественных записок».

Свиринин делал ошибки в своих работах о памятниках русской старины – об этом не преминет сказать ни один из исследователей. Но кто их не делал в это время, когда факт с точки зрения науки воспринимался наравне с личным впечатлением, а слух не уступал в достоверности факту. Доверие к увиденному, услышенному и прочитанному вне зависимости от их источников превосходило даже доверие к документу. Проблема научного доказательства еще не стояла в исторической науке, тем более в едва зарождавшейся истории искусств.

Значение Свиринина – и здесь позиция искусствоведов существенно отличается от точки зрения литературоведов – в том, что он вообще обращается к теме изучения национального искусства, русской старины, и если его увлечения перекликались с посылками николаевской триады («православие, самодержавие, народность»), это было формальное сходство. Эпиграф «Отечественных записок» – «Любить отчество велит природа, бог, А знать его – вот честь, достоинство и долг» – был наполнен для современников живым содержанием, не имевшим ничего общего с официальной формулой.

Не только поездки Свиринина в поисках памятников национальной культуры и старины, но и его участие в судьбах многих художников делали его фигурой значительной в художественной жизни России 1820-1830-х годов, что же говорить о созданном им первом русском частном музее! Конечно, была в нем смесь самых разнообразных вещей, от произведений искусства до простых раритетов – в этом Свиринин наследовал практике чуть ли не петровской Кунсткамеры. Зато состав живописи в «Музеуме» был очень примечателен. Полотна исторических живописцев конца XVIII века, картины В. А. Тропинина «Швея» и «Кружевница», работы венециановских учеников и братьев Чернецових – это была русская школа в наиболее живых и современных ее проявлениях. Интерес собирателя явно сосредоточивался на том направлении, которое исподволь начинало определяться среди питомцев Общества поощрения художников.

Что могло толкнуть Гоголя на появление у Свиринина? Сам факт, что тот являлся издателем журнала? Но журналов в Петербурге уже стало достаточно много, а литературные симпатии Гоголя были на стороне других имен. Интерес Свиринина к народному быту, собственно к Малороссии? Это представляется более вероятным, хотя, ошеломленный столицей, еще не определивший своего места в ней, Гоголь вряд ли был в состоянии так явственно отдавать себе отчет в тенденциях того или иного литератора. Скорее здесь имела место чья-то рекомендация. Впрочем, если сопоставить все постепенно всплывавшие имена, в существовании подобной подсказки не было ничего невероятного.

Ближайшим соседом Гоголя по имени, владельцем воспетой писателем Диканьки, был В. П. Кочубей, тот самый, который принимал участие в создании Общества поощрения. Гоголь постоянно бывал в его петербургском доме, и Кочубею ничего не стоило свести молодого писателя со Свирининым.

Но вот знакомство состоялось, и непосредственно после него – достаточно сверить даты – Гоголь начинает посещать классы Академии художеств. И снова вопрос – совпадение или совет того же Свиринина, его хлопоты еще об одном начинающем художнике? Если без советов Свиринина не обошлось, нетрудно объяснить и все те связи со «статскими» и

«действительными», о которых с восторгом пишет матери Гоголь. Контакты между профессорами и учащимися, которые в условиях академических классов требовали долгого времени, в среде, связанной с Обществом поощрения, устанавливались проще, быстрее.

Как бы то ни было, в отношениях Гоголя и Свирина со всей определенностью вырисовывался достаточно продолжительный «дружеский» период, за время которого Свирин вполне мог познакомить писателя и с Обществом поощрения, и со средой опекаемых им художников. Вот когда открывался прямой ход к картинам из «Невского проспекта»! Если бы к тому же их удалось обнаружить «живьем» среди сохранившихся до наших дней работ пенсионеров Общества.

От архива до музея

Но искать по описанию картины прошлого века, даже если примерно известен круг художников, даже если описание принадлежит самому Гоголю, всегда остается делом сложным, часто и вовсе безнадежным. Так ли много полотен сохранилось или, во всяком случае, оказалось атрибутировано в музеях, государственных хранениях? Сколько у нас еще есть холстов безымянных, не связываемых с именами забывших или почему-либо не пожелавших их подписать авторов. И если проверка по музеям сама по себе проблема – во все города не поедешь, всех зал и запасников не пересмотришь, а фоновые, то есть исчерпывающие, каталоги по-прежнему редкость, – то еще большая проблема получить снимок с заинтересовавшей тебя (пока только по названию!) вещи. Могут пройти месяцы и годы, пока музей выполнит просьбу – если выполнит.

…В пустоватом, подернутом непреходящим сумраком зале Областного исторического архива Ленинградской области громоздятся на столе – который раз! – папки дел Общества поощрения. Сначала надо попытаться найти описание подобных «Невскому проспекту» картин. Тем самым появится имя художника, и только тогда имеет смысл обращаться к музеиному фонду. Но как раз для Общества поощрения такой путь вполне вероятен.

Каждая работа его пенсионеров учитывалась, служа отчетом в потраченных на молодого художника средствах. Значит, нужны документы, связанные с отдельными учащимися, годовые отчеты, списки вещей, поступавших на постоянную выставку, разыгрывавшихся в лотереях. И для полноты картины – современная печать, не пренебрегавшая обстоятельными рассказами о произведениях живописи. Где-то на скрещении всех этих сведений можно рассчитывать получить нужные следы. Именно нужные, потому что сходных следов сразу же оказывалось множество.

Интерьеры были повсюду. Обыкновенные. Жилые. Ничем не примечательные. Вот только подробности пока не совпадали. Там был упомянутый Гоголем сломанный станок – мольберт, но не было ставших кофейными от пыли гипсов. Там оказывались и станок, и гипсы, но не сидел игравший на гитаре художник или же гитаристов было слишком много – целых трое. Совсем как в игре «холодно – горячо»!

И наконец, описание как будто бы сходное: мастерская с одним гитаристом и открытым на реку окном на заднем плане – «Мастерская художников Чернецовых», написанная Алексеем Тырановым в 1828 году. Посмотреть на эту картину явно стоило, к тому же она хранилась во вполне доступных фондах Русского музея.

Как часто, читая рассказы о поисках историков культуры, литературоведов, читатель поддается иллюзии легкости такого поиска: узнал, где искать, тут же примчался в другой город, из другого в третий, в район, в поселок, из архива в музей, из музея в отдел рукописей библиотеки – и так в непрерывном кинематографическом ряду приключенческого фильма, пока не будет достигнута заветная цель.

Но ведь так выглядит все только на бумаге. На самом деле «кинематографический ряд» научного поиска если и напоминает кинематограф, то только в замедленной, самой замедленной съемке. У исследователя существуют основная работа, служебные обязанности, просто жизнь со всеми ее нелегкими и перепутанными обстоятельствами. Каждый раз нужно дожидаться отпуска, свободных дней, в идеальном варианте командировки и всегда рассчитывать каждую минуту не ради эффектной концовки – ради максимальной пользы дела, которое остается с тобой и на твоем рабочем столе долгие годы. Крупицы собираются в песчинки, песчинки – в камушки, и так без конца. И не в этой ли долготерпеливой целеустремленности – не могу не помнить, не могу не работать – подлинная ценность и смысл исследовательской работы? А сколько при этом остается «недоисканного», «недонайденного» – только потому, что не сложились условия продолжить поиск.

Маленькая – 29 ? 23 сантиметра – картинка отличалась предельной простотой и непрятательностью. Пустоватые, давно потерявшие свежесть стены, дощатые полы, полка с запыленными гипсами... Кстати, документы Общества говорили, что гипсовые отливки ценились недешево и по особому ходатайству Венецианова были подарены в те годы только трем художникам: как раз братьям Чернецовым и самому Тыранову. Другое дело – известные и признанные живописцы: у них появлялись целые галереи гипсовых отливок-статуй.

Тыранов тщательно перечислял все подробности обстановки. Прислоненный к стене остаток мольберта. Брошенная палитра с кистями. Присевший на край стула гитарист. Его единственный слушатель – в углу дивана. За окном дымчатая пелена северного неба, синева Невы и алые рубахи рыбаков на перекрытой побуревшим парусом лодчонке. Все соответствовало гоголевскому описанию, как и удивительное настроение картины, успокоенное, тихое, – простой быт простых людей.

Но за первой находкой последовала вторая, тем более неожиданная, что в этом случае Гоголь ограничивался и вовсе одним намеком. Брошенная им фраза о художнике, «пьющем чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате», могла с таким же успехом относиться к живой жизни – не изображению, и тем не менее.

На академической выставке 1830 года критики не прошли мимо картины художника, оставшегося в истории русского искусства под одной фамилией – Васильев. Его имя не удалось, возможно, и никогда не удастся узнать – так быстро промелькнул и исчез он на горизонте живописи. Не исключено, что принадлежность к дворянскому сословию помогла ему найти другое занятие.

Среди других работ Васильев показывал на выставке внутренний вид комнаты. По описанию газеты «Русский инвалид», из распахнутого окна ее открывался вид на Неву и Смольный монастырь, а за столом у самовара сидели трое. Критики хвалили убедительность далекого пейзажа, эффекты освещения, ругали небрежный рисунок фигур и при всем том – это было главным! – высказывали мнение, что комната представляла ту же мастерскую Чернецових, которую уже писал Тыранов. Исследователи не обратили на подобную подробность внимания. Не мудрено – какой смысл заниматься анализом исчезнувшего полотна в сущности неизвестного художника.

Итак, все сходилось на Чернецовых. Но любопытно, что именно к Чернезовым охотно обращаются многие художники круга Общества поощрения. Еще до отъезда Гоголя за границу живописец Е. Ф. Крендовский пишет домашнюю сцену у Чернецовых – хлопочущего у самовара Никанора (братья до конца остались холостяками), читающего вслух книгу Свиньина, оживленно рассуждающего младшего товарища Пушкина по Царскосельскому лицею Валериана Лангера, Григория Чернецова в его неизменном черном бархатном берете.

Сейчас уже трудно сказать, что определило необычайную популярность этой картины – симпатии к Чернезовым, известность литографий и рисунков Лангера или деятельность издателя «Отечественных записок». Во всяком случае, картина много раз копировалась, была литографирована, и это помогло ей дойти до наших дней – оригинал пропал давно и,

кажется, бесследно.

Чаепитие у Чернецовых напишет тогда же И. А. Клюквин. Его скромная картинка «У приятеля за самоваром», попавшая теперь в Тверскую художественную галерею, смотрится прямой и какой же точной иллюстрацией к «Невскому проспекту». Гоголь не ошибся, увидев в Чернецовых самый типичный пример складывавшегося «странных сословий», его своеобразных вождей.

Парад на Марсовом поле

Итак, все сходилось на Чернецовых – в «Невском проспекте» речь шла именно о них. Почти наверняка о них. Почти – потому что оставалась еще одна неясность.

В том, что в переписке Гоголя не встречаются имена братьев-художников, нет ничего удивительного. О скольких близких писателю людях ни словом не обмолвились его дошедшие до нас письма. Сомневаться же в самом факте знакомства Гоголя с Чернецовыми не приходилось. Среди множества свидетельств разве недостаточно одного того, что известный карандашный портрет Дениса Давыдова был сделан Григорием Чернецовым в доме В. А. Жуковского во время первого чтения «Ревизора», о чем говорит собственноручная надпись художника.

Действительно непонятным представлялось другое. Почему в огромном – 300 лиц! – групповом портрете, вошедшем в картину «Парад на Марсовом поле», которую пишет в эти годы художник, среди целой толпы современных писателей, и в том числе друзей Гоголя, автора уже вышедших «Вечеров на хуторе близ Диканьки» не было.

Что крылось за этим пропуском? Пресловутая нелюбовь Гоголя к собственным изображениям? Но в ранние петербургские годы она никак не давала о себе знать. Наоборот: начиная с 1833-1834 годов Гоголя начинают часто и охотно изображать художники круга Общества поощрения.

В 1834 году делает карандашный портрет писателя А. Г. Венецианов – набросок, как принято считать, очень не понравившийся Гоголю. Годом позже группа венециановских учеников пишет сцену приема А. В. Кольцова петербургскими литераторами, среди которых находится и Гоголь. Очень нецельная, местами ученически слабая, эта картина тем не менее долго занимала группу близких писателю лиц и, наконец, оказалась в имении Вяземских – Осташьеве.

Вскоре после нее художник Горюнов делает и вовсе неожиданный портрет Гоголя – денди в моднейшем костюме на набережной Невы, напротив Петропавловской крепости. К 1836 году относится портретный набросок писателя во время репетиции «Ревизора» А. Каратыгина. Нет, нежелание Гоголя видеть себя на картине явно не может приниматься в расчет. Другое дело – действительные обстоятельства написания «Парада».

Картины военных парадов – они как нельзя больше отвечали казарменному духу николаевского времени. Безуокоризненный строй безликих шеренг, блестящая россыпь форм и мундиров – символ идеальной империи и великолепная рама для появления самого императора. Николай I увлекается подобного рода полотнами немецких мастеров, поощряет их выполнение собственными художниками. Ему же лично принадлежала идея «Парада на Марсовом поле», написать которую он поручает в 1831 году Григорию Чернецову.

Трудно найти художника тех лет, которому бы до такой степени была чужда эта задача. Написанные Григорием до этого времени пейзажи подробно и тщательно рисовали уголки родной природы, портреты отличались сходством и полным отсутствием внешних эффектов. Верный себе, Чернецов переиначивает и царскую задачу. Парад отодвигается в сторону и на задний план, военное начало уступает место встрече Николаем кареты императрицы. Зато на

первый план выступает большая толпа людей, которых Чернецов пишет так же непрятательно и достоверно, как делал и раньше.

«Тут нет вымыслов, которыми пленяют нас Поэзия и Изящные искусства в высшем мире, – замечает об эскизе картины современник, – но зато истина и отделка такого достоинства, что едва ли кто сравнится с ним в этом виде рисования». Оценка, мало чем отличающаяся от оценки Гоголем «странных сословий»! Ну а выбор изображенных – зависел ли он и в какой мере от художника? Как в этом разобраться, когда материал по истории картины ограничен отдельными короткими и разрозненными упоминаниями?

С одной стороны, в любом касающемся Григория Чернецова очерке – монографий о братьях нет – говорится, что подбор изображенных лиц полностью принадлежал живописцу, отражая его собственные симпатии и вкусы. Недаром написал он в «Параде» и собственного отца, мещанина-иконописца из города Лух, и крестьянина-мастерового Петра Телушкина, умудрившегося без лесов водрузить на шпиль Петропавловского собора крест и фигуру ангела, и старуху «из народа с натуры». Кто и когда дал бы ему официальный заказ на их портреты!

Но ведь это касалось всего нескольких человек. В остальном подбор слишком явно не поддавался подобному объяснению.

Пришедшая в голову мысль носила своего рода бухгалтерский характер. Чернецов был заинтересован не только в том, чтобы написать с натуры всех без исключения участников парада, но и дать возможность зрителям их находить. Для этого картину сопровождала подробная нумерация и перечисление изображенных, кстати сказать, специально приведенные в «Художественной газете» в 1836 году в связи с первым показом картины публике. А что если, не ограничиваясь наиболее известными именами, расписать всех по профессиям, которые так же тщательно оговаривались в перечислении? Как рисовались они в общем сопоставлении?

Начать с музыкантов. Их совсем немного. Рядом с гитаристом Андреем Сихой изображены концертмейстер, капельмейстер и первый музыкант придворного оперного театра – и только. Отнести к их числу композитора и исполнителя М. Ю. Виельгорского трудно не только потому, что он оставался в глазах окружающих любителем, но и лицом, близким к придворным кругам. Неожиданностью представлялась и такая поправка: нарисованный с натуры второй музыкант-гитарист Аксенов не вошел в картину. Трудно предполагать, чтобы это было сделано из композиционных соображений – слишком много участников изобразил художник.

Актеры – они рисовались целой толпой. Вся семья Каратагиных, Самойловых, В. Н. Асенкова, О. А. Петров, К. А. Телешева и полный состав актеров «первого положения» императорской сцены. Рядом с теми, кто пользовался успехом у обыкновенных зрителей, находились и царские фавориты: Н. О. Дюр, проваливший, по свидетельству современников, роль Хлестакова в первой петербургской постановке «Ревизора», и столь же неудачный Городничий – И. Сосницкий. Или М. Ф. Шелехова, которая дебютирует на императорской сцене только в 1833 году. Не мог же художник рассматривать картину как род витрины, куда должны были попадать все новинки. Наконец, воспитанники театрального училища, выбирать которых, тем более Чернецову, и вовсе не представлялось возможным.

Эти соображения получали тем большее подтверждение относительно группы литераторов. Такая профессия была представлена двадцатью с лишним именами. Здесь оказываются Пушкин, Денис Давыдов, Крылов, Жуковский, Загоскин, Нестор Кукольник и... полный состав николаевских цензоров. Как мог художник ошибаться в их профессии, почему вообще счел нужным изображать?

Чернецову ставилось в заслугу, что он пишет поэта-самоучку Ф. Н. Слепушкина, но как мог он предпочесть Слепушкина Кольцову, так высоко оцененному поэтами пушкинского круга? Слепушкин к этому времени купается в лучах официальной славы, получает в подарок от Николая I символический кафтан. В качестве литератора представлен еще только начинавший заниматься в эти годы издательским делом, но зато лично опекаемый

императором ввиду заслуг отца, который получил чин генерал-лейтенанта за подавление выступления на Сенатской площади, А. П. Бешуцкий. Тем же именем литератора отмечены и все учителя великих князей. Именно в этом качестве получил здесь место и друг Пушкина П. А. Плетнев. Зато как велик список современных издателей и писателей, которые не попали в картину!

И чем серьезнее вникал в подробности биографий и тех и других, тем очевиднее становилась связь с царскими милостями и царским недовольством. Где искать более выразительного примера, чем любимейший профессор Чернецова Егоров, который перед самым окончанием «Парада» был выгнан Николаем из Академии и оказался вне картины?

Но тем самым не оставалось сомнений: раз состав изображенных на картине лиц был пропущен через густейшее сито царских симпатий и антипатий, отсутствие Гоголя можно связать только с последними. По всей вероятности, именно «Ревизор» не прошел писателю даром.

Восстановим события. 18 января 1836 года, как свидетельствует письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу, состоялось чтение пьесы у Жуковского. 13 марта последовало цензурное разрешение на нее. 19 апреля состоялось первое представление «Ревизора» в Петербурге. 25 мая следует премьера с участием М. С. Щепкина в Москве, на которой писатель категорически отказался присутствовать. 6 июня того же года Гоголь выезжает из России. А в сентябре открывается академическая выставка, на которой представлен «Парад на Марсовом поле» без портрета писателя – еще одно – и какое! – наглядное свидетельство недовольства императора Гоголем.

Как же велико должно было быть разочарование, чтобы спустя год Гоголь писал М. П. Погодину, настаивавшему на его возвращении: «Ты приглашаешь меня ехать к вам? Для чего? не для того ли, чтобы повторить вечную участь поэтов на родине?»

Риторическое удивление в тексте юношеской повести – «Не правда ли, странное явление? Петербургский художник?» – обернулось горьким пророчеством для зрелых лет самого писателя и его герояв.

*Но страннее всего происшествия,
случающееся на Невском проспекте.
О, не верьте этому Невскому проспекту!
Н. В. Гоголь*

Уже на пороге апрель, а все еще идет снег. Тихий. Струящийся. Грустноватый. Неуверенно, словно колеблясь, затирает очертания домов. Туманит огни. Грузно оседает на разлатых ветках лип.

Сегодня окна в доме напротив в первый раз зажглись. Нет, там не будет музея. Тесный строй крашеных стеллажей. Резкий свет открытых ламп. Книжное хранение городской библиотеки. И еще – одна мемориальная комната. Та, где последние четыре года жил, работал, умер Гоголь.

Дорожка к подъезду ширится, чернеет. И чуть в стороне рисуется среди пышно взбитых сугробов одинокая фигура, зябко завернувшаяся в длинную николаевскую шинель. Усталая спина. Упавшие на колени руки. Тонкий профиль под прозрачной прядкой прямых волос. Гоголь чудесного скульптора Николая Андреева.

Ему пришлось уступить старое место на Арбатской площади – оно понадобилось монументу, носящему то же имя. Но там – Гоголь для улиц, для выступлений, для показа. Здесь – просто человек, в чем-то беспомощный, чем-то сильный, очень искренний, страдающий, мыслящий. Гоголь, переживший известные и неизвестные нам человеческие судьбы своих героев.

Началась его Москва с Арбата

По природе своей «папаша Щепкин» был не столько суеверен, сколько чувствителен, в оживленном рассказе его глаза частенько влажнели, особенно когда дело касалось близких ему людей. После кончины Гоголя он словно ненароком лишний раз проезжал по Никитскому бульвару и тяжело вздыхал, видя, как меняется облик знакомых окон. Ездил к «могилке» и без счета заходил в университетскую церковь просто постоять, а на Николу весеннего, если удавалось, так и отслужить литию, благо путь от театра был недальний. От него пошло в семье выражение, что ведь как судьба свои пути-дорожки прокладывает: начал Николай Васильевич знакомиться с Москвой с того самого места, где и конец ему пришел. «Все Арбат да Арбат – надо же так!»

Обстоятельство это объяснялось тем, что единственным знакомым впервые приехавшего в Москву Гоголя был Михайла Петрович Погодин, работавший в то время над исторической драмой из Смутного времени «Василий Шуйский», главное действие которого протекало у Арбатских ворот. Человек увлекающийся, Погодин и гостю начал показывать старую столицу с тех же мест, к тому же там многое можно было рассказать и показать из живо интересовавшей Гоголя театральной жизни. Впрочем, Николая Васильевича всегда интересовали и все исторические подробности местности, в которой он оказывался.



Арбатская площадь

Никитский бульвар – он пролег между двумя важнейшими для Москвы дорогами – на Смоленск и Новгород Великий. В XI-XII веках путь на Волоколамск и Новгород шел в направлении будущих улиц Знаменки и Поварской. В XIV веке через Воздвиженку и Арбат пролегла дорога на Смоленск, тогда как путь на Новгород – через Большую Никитскую. В начале этой последней ставится в XV веке часовня Федора Студита, подле которой при Иване III, во время строительства кремлевских соборов, закладывается женский Смоленский монастырь.



Церковь Николы Явленного

В XVI в. большой посад Москвы – Загородье обносится земляными стенами с бревенчатыми воротами у дорог. В 1586-1593 годах были возведены каменные стены Белого города. Этот третий после Кремля и Китай-города оборонительный рубеж Москвы при общей протяженности около 10 км имел 27 башен, из них 10 проездных, названия которых продолжают сохраняться в московском обиходе под именем «ворота». Одни из них назывались Никитскими – по улице и находившемуся на ней Никитскому монастырю, основанному в XVI в. Никитой Романовичем Юрьевым. У Никитских (более давнее название – Смоленских) ворот произошла, встреча царя Михаила Романова с возвращавшимся из польского плена патриархом Филаретом. В честь этого события в 1626 г. была дана царская жалованная грамота на превращение Смоленского монастыря в мужской с больницей на 20 человек, а на месте часовни закладывается Смоленская церковь с приделом Федора Студита – старейший из дошедших до наших дней памятников бульвара. Монастырь, получивший народное название Федоровского больничного, был объявлен домовым патриаршим и стал любимым местопребыванием Филарета. В 1709 г. указом Петра I он был закрыт, церковь же превращена в приходскую. На протяжении XVIII в. к приходу Федора Студита принадлежали дворы Волконских, К. Разумовского, Толстых, Суворовых. Со стороны Арбата Никитский бульвар замыкает другой памятник архитектуры XVII века. В 1676 г. по повелению царя Федора Алексеевича «на Дехтереве огороде за Арбатскими вороты» строится церковь Введения с приделом Симеона Столпника (угол Нового Арбата и Поварской). В приходе ее находились загородные боярские дворы Нарышкиных, Молчановых, Салтыковых, Хитрово, Несвицких, а также многочисленных мастеровых Оружейной палаты. Впоследствии в этой церкви венчался С. Т. Аксаков, ее посещал Н. В. Гоголь.

За два века своего существования стены Белого города пришли в ветхость. В 1760-х годах последовало высочайшее разрешение использовать эти стены в качестве материала для строительства казенных зданий. В 1775 г. был утвержден проект сноса стен и разбивки Бульварного кольца. Москва повторила градостроительный прием европейских средневековых городов, где крепостные укрепления уступали место зеленым насаждениям (французское «boulevard»). В 1783-1785 гг. производится разбивка первой части будущего Бульварного кольца – от Никитских до Петровских ворот. Участок от Никитских до Арбатских ворот оказывается одним из последних. В 1796 г. здесь высаживаются два ряда деревьев, и указом Павла I в начале и конце бульвара строятся две гостиницы. По внешнему проезду бульвара был сохранен протекавший там ручей Черторый. В архитектурном отношении только что образовавшийся бульвар имел непривлекательный вид: все дворы выходили на него хозяйственными постройками. Существование стены Белого города определило, что дворы его ориентировались на Калашный переулок, а Земляного города – на

Момстрюкову улицу (былое название Мерзляковского переулка), откуда и были сделаны въезды. При этом застройка в Земляном городе отличалась разнохарактерностью, тогда как в Белом еще со времен Петра I регулировалась специальными предписаниями, поощрявшими строительство каменных, по меньшей мере полутораэтажных, зданий.

Для дворов Белого города характерна история участка Голицыных (№ 6, 8, 8-а, 10). На рубеже XVIII-XIX вв. им владел С. Ф. Голицын, известный актер-любитель, женатый на В. В. Энгельгардт, одной из племянниц князя Г. А. Потемкина-Таврического. Воспитая Г. Р. Державиным под именем Плениры, В. В. Голицына-Энгельгардт пробует свои силы в литературных переводах с французского. Она поддерживает К. Ф. Рылеева и И. А. Крылова в их литературных начинаниях. Последний состоял домашним учителем ее десятерых сыновей. После пожара 1812 года голицынские постройки остаются невосстановленными, а со смертью владелицы наследники их продали. Первой нашла покупателя средняя часть участка с двухэтажным домом, украшенным восьмиколонным портиком со стороны бульвара (№ 8, 8-а), где, собственно, и жила голицынская семья вместе с Крыловым. Купчая оформлялась в Пензенской гражданской палате на имя коллежского асессора И. П. Фролова в 1816 г., но уже спустя три года дом перекупила Н. П. Головкина, внучка В. Ф. Салтыкова. Она занималась литературой и вошла в семью, причастную к одному из интересных памятников мемуарной литературы XVIII века. Ее муж Ф. Г. Головкин, состоявший на дипломатической службе, был автором известных «Записок». В конце 1820-х годов во флигеле головкинского дома (№ 8-а) жил друг А. С. Пушкина полковник С. Д. Киселев. Существует предположение, что именно здесь поэт впервые читал свою поэму «Полтава».

Отстроив дом и надворные постройки, Головкина расстается с владением, которое переходит в 1838 г. в семью морских офицеров Моллеров. Здесь бывал известный портретист Н. В. Гоголя живописец Ф. А. Моллер. В 1858 г. владелицей дома становится правнучка Разумовских М. П. Галаган. Ей наследует дочь Екатерина, жена графа К. Н. Ламздорфа. 1870-е годы оказались тем рубежом, когда происходит очередная перемена владельцев дома на бульваре. Дворянские фамилии одна за другой уступают место купеческим, а те перестраивают усадьбы, превращая их в доходные дома. Е. П. Ламздорф продала владение купцу второй гильдии А. Н. Прибылову, жившему «собственным домом в Рогожской слободе»; он в 1877 г. расширил и надстроил дом № 8-а, а в 1889 г. и дом № 8, квартиры которых имели новейшие удобства и даже зимние сады на каждом этаже. В 1930-е годы в доме № 8 было возведено еще два этажа. В 1941 году его частично разрушила фашистская бомба, и при его восстановлении был достроен еще один этаж. Дом № 8-а стал в 1920 году Домом печати. Здесь выступали с чтением своих произведений А. А. Блок, В. В. Маяковский, С. А. Есенин. В Мраморном зале происходили встречи с М. И. Калининым, А. В. Луначарским. В марте 1936 года Дом печати был преобразован в Дом журналиста. В 1942-1948 годах здесь находился Краснопресненский РК КПСС, а затем снова открылся Дом журналиста.

Следующим из голицынских земель был продан в 1824 г. участок, соседствовавший с Арбатской площадью и имевший построенный еще в XVIII в. дом с полукруглым внутренним двором (№ 6). Его владельцем стал Ф. Ф. Кокошкин, известный театральный деятель, директор московской казенной сцены. Он переехал сюда из своего дома, находившегося на противоположной стороне. Это было вызвано семейными обстоятельствами. Первым браком Кокошкин был женат на представительнице родовитой семьи Архаровых Варваре Ивановне, на чью смерть в 1811 г. написал стихи К. Н. Батюшков. Второй его женой стала актриса И. С. Потанчикова, против которой выступила вся семья. В ряде справочников ошибочно указывается, что в бывшем голицынском доме помещалась театральная типография, печатавшая программы и афиши. В действительности эта типография была оборудована в старом кокошкинском доме и там же продолжала функционировать. По сравнению с главным голицынским домом дом № 6 значительно раньше перешел в купеческие руки. С 1846 г. его владельцем становится московский купец Ф. В. Фрейман, с 1875 года – «московской второй гильдии купец рижский гражданин А. К.

Ф. Шмит», в начале XX в.– жена генерал-майора Е. А. Фабрициус. Но и здесь основные перестройки пришлись на 1870-е годы, когда дом надстраивали, а его подвальные помещения оборудовали под архив Контрольной палаты – учреждения, осуществлявшего надзор за поступлением государственных доходов и производством расходов. Архив этот находился здесь с 1878 по 1898 год. В конце 90-х годов XIX в. первый этаж занимают под магазины, подвалы сдаются под жилье.

Последняя часть голицынского владения (д. 10) нашла покупателя в 1832 году. До этого времени выгоревший дом оставался недостроенным. С расходами по строительству с трудом справились и его новые владельцы – семья генерал-майора Ивана Нагеля. В документах за 1836 год отмечается, что во всем владении «к житью приспособлены» немногим более 18 покоев, из числа которых 15 еще не готовы. От Нагелей домовладение перешло к А. П. Щепотьеву, представителю одной из старейших московских семей, которой в XVIII в. принадлежал целый участок нынешней Б. Никитской – от Хлыновского тупика до Леонтьевского переулка. Но начиная с 1870-х годов дом № 10 составляет собственность той категории купцов, а затем рядовых мещан, которые, не модернизируя домов, превращали их в скопище мелких и дешевых доходных квартир. Для этой цели переоборудовались под жилье обширные подвалы, делались многочисленные изолированные входы и въезд со стороны бульвара. В остальном дом и застройка участка сохраняли планировку и вид начала XIX века.

Участок внутреннего проезда бульвара от голицынских земель до Никитских ворот на рубеже XIX в. принадлежал Лобановым-Ростовским (№ 14), Луниным (№ 12-а) и Хованским (№ 12). Один из выдающихся памятников московской архитектуры, ансамбль лунинского дома (1818-1821 гг., архитектор Д. И. Жилярди), принадлежал П. М. Лунину, родному дяде декабриста М. С. Лунина. Сразу по окончании строительства он был продан Коммерческому банку. В дальнейшем банк купил и участок Хованских, на котором в 1914 г. началось строительство многоэтажных жилых корпусов для банковских служащих, завершившееся уже в 1920-е годы. Участок Лобановых-Ростовских представлял собой родовое гнездо. Во второй половине XVIII в. им владел Я. И. Лобанов-Ростовский, обер-камергер, член Государственного совета. С лобановским дворцом – двухэтажным, украшенным восьмиколонным портиком, связано и имя его сына, известного историка и собирателя Александра Яковлевича. Составленная А. Я. Лобановым-Ростовским редчайшая коллекция старинных карт поступила в Главный штаб, его собрание портретов Петра I – в Государственную Публичную библиотеку имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Особенную ценность представляли разысканные и опубликованные им в течение 1830-1840-х годов в Париже и Лондоне документы, связанные с Марией Стюарт.

От Лобановых-Ростовских дом перешел к другому историку – Д. Н. Бантыш-Каменскому, а в 1826 г.– к семье Огаревых. В его стенах прошла юность Н. П. Огарева, здесь проходили собрания огаревского кружка, встречи с А. И. Герценом. Памяти Огарева посвящена установленная на доме мемориальная доска. После отправки Огарева в ссылку домом владела его сестра, а в 1860-е годы – А. А. Голицын, почетный попечитель Смоленской гимназии, увлекшийся католицизмом и идеями миссионерства. Два его брата кончили свои дни католическими фанатиками в Париже, сестра – в Луизиане (США), куда уехала в качестве миссионера. С 1868 г. все домовладение перешло к штаб-ротмистру А. М. Миклашевскому, который переделал его в доходное. В связи с поддержанной Абрамцевским кружком модой на кустарные изделия надстроенный дом был оборудован под Кустарный музей (с 1883 г.). В 1905 г. в этом здании находилась главная контора легальной газеты московских большевиков «Борьба». В 1913 г. на втором этаже был открыт кинематограф «Унион» (с 1936 г. кинотеатр повторного фильма), часть же дома заняли Высшие женские курсы А. И. Полторацкой. В октябрьские дни 1917 г. дом на короткое время стал опорным пунктом белогвардейцев. Красногвардейцы теснили их со стороны Страстной площади. Победу принес жестокий штыковой бой у Никитских ворот. В память этих событий на доме установлена мемориальная доска.

Подобно голицынским землям, участки внешнего проезда Никитского бульвара от салтыковского двора в сторону Никитских ворот подверглись после пожара 1812 г. реконструкции, сменились их владельцы. Соседний с салтыковским двором Волынских перешел в 1817 г. к камергеру А. С. Власову, известному коллекционеру, чье собрание живописи, гравюр и редких книг, начиная с изданий XV в., упоминалось в путеводителях Москвы как достопримечательность города. В 1846 г. часть этого участка приобрел полковник Н. Г. Головин, от него в 1859 г. – купеческая семья Манухиных, а с 1884 г. владельцем стал «городской учитель Дашкевич», который многочисленными, рассчитанными на маленькие квартиры пристройками превратил все владение в некое подобие старой барской усадьбы (дом № 11). Остальные дома внешнего проезда отражают различные этапы жилищного строительства города. В течение 1910-1913 гг. сооружаются многоэтажные доходные дома – № 5 (архитектор Л. В. Стеженский), № 13 (архитектор К. К. Кейзер), предназначавшийся для «Общества распространения практических знаний между образованными женщинами» и ныне занятый фармацевтическим факультетом Московской Медицинской академии имени И. М. Сеченова, № 15 (архитектор А. С. Гребенщикова), одна из квартир которого описана в комедии М. А. Булгакова «Зойкина квартира». Одним из первых образцов советского жилищного строительства становится угловой дом № 25 (1928). В 1936 г. под № 9-11 возводится многоэтажный жилой дом работников Главсевморпути, на котором установлены мемориальные доски памяти пионеров освоения Арктики – М. П. Белоусова, Г. А. Ушакова. В 1971 г. под № 17-23 выстроен многоквартирный дом современного образца (архитектор Э. С. Акопов). Название Суворовский бульвар получил в 1950 г. в связи со 150-летием со дня смерти А. В. Суворова, жившего в свое время в районе Никитских ворот.

* * *

Резиденция самого Бантыш-Каменского!

Двор был последним у городских ворот, на улице, которая называлась Новгородской, иначе Волоцкой, – по начинавшейся отсюда древней дороге и по переселенцам-новгородцам, основавшим здесь вместе с устюжанами целую слободу. Памятью о них осталась маленькая, буйно заросшая липами и сиренью церковка – Малое, или Старое, Вознесенье – в немыслимой путанице усиленно достраивавших ее веков: главный куб конца XVI столетия, колокольня XVII, появившийся над кубом четверик – последних лет правления Анны Иоанновны. Почек веков не стирался, и все же непостижимым образом все созданное слилось в одну удивительную живую и ясную композицию. Главка окунувшегося до шейки барабана в зелень кустов придела напоминала и о вовсе незнакомом Москве местном святому – Прокопию Устюжскому.

Когда Старое Вознесенье начинало строиться, двор принадлежал служилым московским дворянам Молчановым.

Иван Федоров Молчан – полулегендарный предок семьи, родоначальник фамилии из конца XV века. Молчанов Михаил – загадочная фигура рубежа XVI-XVII столетий: приближенный Бориса Годунова, его доверенное лицо, один из убийц царевича Федора. Его не обойдет в своей драме Пушкин.

«К с е н и я Братец, братец, кажется, к нам бояре идут.

Ф е од о р

Это Голицын, Мосальский. Другие мне незнакомы.

К с е н и я

Ах, братец, сердце замирает.

Голицын, Мосальский, Молчанов и Шереметев. За ними – трое стрельцов.

Н а р о д

Расступитесь, расступитесь. Бояре идут.

Они входят в дом.»

Дальше – обращение Мосальского к народу: он объявляет о самоубийстве Марии Годуновой и царевича и призывает приветствовать царя Димитрия. И знаменитая авторская ремарка: «Народ безмолвствует».

Впрочем, и последующие события Смутного времени отчетливо говорили о склонности дворянина к авантюрным похождениям. Битый при Лжедмитрии кнутом «за чернокнижество», Молчанов за то же самое свое умение оказался приближенным к Самозванцу, снова приобрел положение при дворе, а в день убийства самозваного царя бежал к литовской границе, усиленно распуская слух о чудесном спасении сомнительного венценосца. Мы вряд ли узнаем, какую цель при этом преследовал московский дворянин. Шаховской предложил ему самому предстать в роли Дмитрия – Молчанов от подобного риска отказался; однако он немало помог в выдвижении Ивана Болотникова, одновременно разыскивая нового претендента в Самозванцы. Только необходимого кандидата к сроку не найдется, и деятельный московский дворянин исчезает в последних перипетиях польско-шведской интервенции. Останется лишь молчановский двор – родовые земли у городских ворот.

Земель у семьи никто не отобрал. Романовы не искали ссор с московским дворянством, да и кто бы их стал считать – боярские измени Смутного времени? Предателям от Михаила Федоровича выпало больше наград, чем возглавлявшему народное ополчение Дмитрию Пожарскому.

Молчановские земли неподалеку от Абрамкова – Абрамцева, и если один из Молчановых решает присоединить к ним это сельцо – с 1790 года оно продавалось, – то не сыграли ли здесь своей роли абрамцевский барский дом и террасный сад, напоминавшие о былом привольном житье у Никитских ворот?

Ставший владельцем Абрамцева прямой потомок Семена Евтропиевича – Петр Молчанов оказался литератором, да еще из тех, кто вызывает неудовольствие властей. Почти подростком он начинает сотрудничать в последнем журнале Н. И. Новикова «Покоящийся трудолюбец». Не притупившаяся, несмотря ни на какие царственные окрики, острота сатиры предрешила журнальную и всю издательскую деятельность просветителя. Над Новиковым сгущаются тучи. Вскоре он оказывается в заключении. Екатерина считала издателя худшим врагом и бунтовщиком, чем А. Н. Радищев. С закрытием новиковского журнала Петр Молчанов пробует свои силы в переводах и оригинальных сочинениях, которые печатаются в «Зеркале света». Издание Ипполита Богдановича и Федора Туманского, создавшего себе известность публикацией исторических материалов о Петре I, носило куда более спокойный характер. Появится имя Молчанова и в сборнике «Распускающийся цветок», составленном из трудов воспитанников Благородного пансиона при Московском университете. И все же едва ли не самыми примечательными стали молчановские переводы повести «Венецианский арап» и поэмы «Неистовый Роланд» Ариосто. Эти переводы открыли для русского читателя конца 80-х – начала 90-х годов XVIII века великие произведения мировой литературы.

Литературные увлечения Молчанова привлекут к нему внимание будущего Александра I в просвещенной екатерининской эпохе. Зато, став статс-секретарем нового императора, он расчетливо отойдет и от литературы, и тем более от «сомнительных» знакомств своей юности – непременное условие остаться рядом с откровенно отбрасывающим все либеральные декорации «венценосцем». Но как бы там ни было в дальнейшем, Молчанову обязана первоначальным своим рождением литературная традиция Абрамцева, повидавшего в своих стенах не одного литератора рубежа XVIII-XIX столетий.

Молчановых в Москве конца XVIII века немало. Гвардии поручик Степан – на Арбате, «от армии полковник и государственной Ревизион-коллегии член» Иван Андреевич – на «Большой Столженской», надворный советник и герольдмейстер Алексей Григорьевич – в

Староконюшенной, вдова надворного советника Марья – в Новослободской. Тем не менее дом у Никитских ворот перешел в чужие руки. Сын Семена Евтропиевича, надворный советник и прокурор, жил в соседнем Гнездниковском переулке. Среди новых хозяев былого молчановского дома сменяют друг друга корнет Славин, Милославский, наконец, Я. И. Лобанов-Ростовский, чье имя надолго сохранится за домовладением.

Яков Иванович Лобанов-Ростовский – это Тильзит, Тильзитский мирный договор, заключенный в 1807 году правительством России. Ему поручает Александр I организацию своей встречи с Наполеоном, того знаменитого часового разговора на плоту, который вели без свидетелей два императора и в котором возник проект брачного союза между их домами. Наполеон имел в виду женитьбу на одной из сестер Александра – идея, охотно принятая предполагаемой невестой и категорически отвергнутая ее матерью. Любой претендент был хорош, с точки зрения вдовы Павла I, лишь бы не корсиканский разбойник, вчерашний консул первой в Европе республики.

Тильзит очень по-разному оценивался в России, у многих вызывая возмущение уступками, сделанными Франции; но имя Лобанова было у всех на устах. Что значили по сравнению с этой его ролью все остальные службы князя: должность генерал-губернатора Малороссии, члена Государственного совета, высший придворный чин обер-камергера. «Князь Яков Иванович Лобанов, – пишет одна из современниц в январе 1814 года, – вчера только приехавший из провинции, был просто изумлен; он ожидал увидеть Москву в руинах. Меня весь вечер смешала его удивительная фигура». Автор письма связана с окружением А. С. Грибоедова. Имя комедиографа не могло не возникнуть и в связи с лобановской семьей.

Благородный пансион при Московском университете – среди его 215 студентов 25 будущих декабристов и немало людей, близких к ним. Это колыбель П. Я. Чаадаева, Грибоедова, но и занимавшихся одновременно с ними сыновей Лобанова-Ростовского Алексея и Александра. Оба они хорошо знакомы с Грибоедовым, и можно предположить, что будущему комедиографу доводилось бывать в лобановском доме. Кстати, мимо него Грибоедов проезжал ежедневно по пути из Новинского на угол Тверской и Газетного переулка, где на месте нынешнего Центрального телеграфа стояло здание пансиона.

К тому же Александра Лобанова-Ростовского с ранних лет отличали любовь к истории и серьезные занятия ею. Со временем он станет известным специалистом по эпохе Марии Стюарт, первым ученым, опубликовавшим и прокомментировавшим многие связанные с нею документы. В 1839 году письма королевы были изданы им в Париже, в 1844-1845 годах семитомное собрание писем, указов и воспоминаний А. Я. Лобанов-Ростовский выпустил в Лондоне. Начало этому собирательству было положено еще в доме у Никитских ворот.

Лобановский дом был причастен к событиям начала наполеоновских войн, он оказывается причастным и к их окончанию – к Парижскому мирному договору и Венскому конгрессу. В 1821 году он переходит от окончательно перебравшихся в Петербург Лобановых-Ростовских к выдающемуся русскому историку Л. Н. Бантыш-Каменскому.

Один год в жизни Бантыш-Каменского – всего лишь, казалось бы, эпизод, и тем не менее заслуживающий своей мемориальной доски. Внук Антиоха Кантемира, сын известного историка, Дмитрий Николаевич воспитывался в доме одного из образованнейших людей своего времени А. Г. Теплова. Французский, немецкий, английский, итальянский языки и латынь, которыми он владеет так легко, что за неделю может перевести несколько глав большого романа. Превосходный русский литературный язык и унаследованное от ведавшего Архивом Министерства иностранных дел отца умение и желание работать с историческими документами. Все эти качества позволяют Дмитрию Николаевичу в 25 лет стать автором фундаментального труда «Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование Петра I». Но история еще не станет тогда его основным занятием.

Незаурядные дипломатические способности определяют то, что Д. Н. Бантыш-Каменский направляется в 1814 году в Париж с ратификацией мирного договора и участвует в Венском конгрессе. С 1816 года он работает на Украине в качестве начальника канцелярии

генерал-губернатора Малороссии Н. Г. Репнина. Здесь он получает возможность поднять огромные архивные материалы. К тому же времени относится участие историка в судьбе открытого им крепостного актера М.С. Щепкина: во многом именно благодаря ему Щепкин был освобожден от крепостной зависимости. В 1821 году Д. Н. Бантыш-Каменский возвращается в Москву в надежде обосноваться в старой столице и заняться главным образом архивами. Живя в доме у Никитских ворот, он издает еще одну свою классическую работу – четырехтомную «Историю Малой России, от присоединения ее к Российскому государству до отмены гетманства» (М., 1822).

Что побудило Д. Н. Бантыш-Каменского так скоро расстаться с домом? Вероятнее всего, материальные затруднения – историк жил с семьей на одно жалованье и после смерти оставил лишь долги, милостиво – «в память долголетней беспрочной службы» – оплаченные Николаем I. В Петербурге он действительно скоро получает назначение тобольским губернатором – служба тем более неудачная, что попытки Л. Н. Бантыш-Каменского упорядочить правовое положение ссыльных и осужденных приводят к возбуждению против него дела. «Шемякин суд в XIX столетии» – назовет историк составленное им описание своих злоключений.

Кстати, одним из выдвинутых против него обвинений было вскрытие в 1827 году могилы А. А. Меншикова в Березове, откуда Бантыш-Каменский изъял нательный крест «Алексашки», бантик из лент, почему-то лежавший у него на груди, волосы из его бровей и небольшой кусок от кедрового гроба. Все это ждало историка впереди, а пока, полный надежд и планов, он продает свое московское жилище П. Б. Огареву, перебиравшемуся в старую столицу из своего пензенского имения Старое Акшено, чтобы дать образование детям.

Дружба с А. И. Герценом, клятва на Воробьевых горах, университетский кружок, собиравшийся в огаревском доме, – так привычно рисуется юность поэта Н. П. Огарева. Однако жизнь в доме у Никитских ворот имела множество иных нюансов. «Тяжеловесная скуча», внешняя бесконфликтность и внутренний бунт; сухой, склонный к бесконечным назиданиям отец, здесь же – и неприметная на первый взгляд гувернантка Горсеттер, познакомившая воспитанника и с поэзией Шиллера, и с «Войнаровским» К. Ф. Рылеева. Была холодная анфилада парадных, зал – и была уютная, в красных с золотой полоской обоях комнаты, где Огарев с друзьями мог до полуночи засиживаться, ведя бесконечные разговоры о декабристах, Французской революции, республике. Можно даже достаточно точно представить себе, где эта комната была, раз в полуденное время ее заливали солнечные лучи, – со стороны бульвара, или даже точнее – в той самой двухэтажной пристройке, где сегодня расположился «Театр у Никитских ворот». Здесь Огарев переживет свое первое романтическое увлечение юной Сушкиной, будущей известной поэтессой Евдокией Ростопчиной; и здесь же его арестуют в 1832 году. Хозяйкой дома у Никитских ворот станет его сестра Анна – полковница Плаутина, как назовут ее документы.

Полузабытая и во всяком случае далеко не популярная сегодня даже среди историков фамилия – каким ореолом была она отмечена в годы замужества А. П. Огаревой! Николай Федорович Плаутин, воспитанник все того же Благородного пансиона Московского университета, однокашник и Грибоедова, и братцев Лобановых-Ростовских. Шестнадцати лет вступает он в полк Костромского ополчения – поместья Плаутиных находились на Костромщине, вблизи маленького города Луха, – участвует во многих сражениях, принимает участие в осаде Дрездена. Его храбрость рождает легенды и во время Турецкой кампании 1828-1829 годов. Служивший в лейб-гвардии гусарском полку, Н. Ф. Плаутин станет в 1839 году его командиром. Заметный след оставит и последующая деятельность былого воина – в Государственной думе, в обсуждении земской реформы 1863 года. Из его младших братьев Михаил дослужится до чина генерал-майора, женившийся на А. Г. Огаревой Сергей – до чина полковника.

Четвертая профессия

Как ни странны вам покажутся слова мои, – продолжал он, видя устремившееся на себя общее внимание, – но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их.

Н.В. Гоголь. «Портрет»

Был рисунок, о котором велись давние споры. И была мечта о живописи, не сумевшая привлечь внимания исследователей.

Рисунок «немой» сцены «Ревизора» в представлении большинства современников принадлежал Гоголю. Сомнения пришли к историкам: других набросков писателя – для сравнения – не существовало. Отсюда гораздо более вероятным становится авторство А. А. Каратыгина. Актер много и постоянно рисовал, близко знал Гоголя и разбирался в его постановочных замыслах. Известным доказательством в его пользу становился и гротесковый характер сцены: П. А. Каратыгина отличала острые ироничность. Единственная посылка оставалась забытой – искусствоведческий анализ. Каратыгинские наброски говорили о не лишенном способности и наблюдательности дилетанте, «немая» сцена являла собой образец профессионального мастерства. Даже среди известных художников так могли рисовать далеко не многие.

Мечта родилась в лицейские годы. В пятнадцать лет ее можно принять за детское увлечение: «Дражайший папенька, Вы, я думаю, не допустите погибнуть столь себя прославившим рисункам». Речь идет о присылке сравнительно дорого стоивших рам со стеклами.

Гоголь работает в достаточно сложной и требующей определенных навыков технике пастели, и он слишком дорожит тем, чего удается достигнуть: «Хотел бы вам послать несколько картинок, рисованных на картонах и сухими колерами, но некоторые из них еще не докончены, а другие, боюсь, чтоб не потерялись дорогою, потому что рисовка их весьма нежна». Спустя тринадцать лет автор «Ревизора» будет сетовать в письме В. А. Жуковскому из Рима: «...Будь я живописец, хоть даже плохой, я бы был обеспечен. Здесь в Риме около 15 человек наших художников, которые недавно высланы из Академии, из которых иные рисуют хуже моего; они все получают по три тысячи в год. – Поди я в актеры – я был бы обеспечен: актеры получают по 1000 и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. – Но я писатель – и потому должен умереть с голода».

Память о живописи, сцене – не пустые слова. П. В. Анненков, перечисляя те виды деятельности, к которым обращался Гоголь перед первым отъездом за границу, называет чиновничью, писательскую, актерскую и художническую. У Гоголя редкая беспристрастность в определении любых своих возможностей и безусловное отвращение к дилетантизму. В лицейские годы он делился с дядей мыслями о служении закону. Пусть лицеист меньше всего представлял себе, в каких формах это служение может воплощаться, но, в конце концов, с момента устройства в департамент он достаточно быстро начинает подниматься по ступенькам служебной лестницы. После первых оставшихся незамеченными, но и малозначительных публикаций «Вечера на хуторе близ Диканьки» приносят настоящий успех. Что касается «Ганса Кюхельгардтена», то он с самого начала вызывал сомнения у автора, и самый суровый приговор Гоголь способен вынести себе сам. Характерная подробность. Из своих куда каких скромных средств он потратится на то, чтобы снять номер и в его печи, втайне ото всех, сжечь весь тираж поэмы, который принесет сюда вместе со службой. (Судьба дома – в той же гостинице «Неаполь» на Вознесенском проспекте

Петербурга, в таком же скромнейшем номере жил в декабрьские дни 1825 года и был арестован П. Г. Каховский.)

Гоголя не разубеждает и его несостоявшаяся попытка поступить на казенную сцену. Одно дело – неприятие его манеры руководившим русской труппой А. И. Храповицким, другой – безусловная убежденность в том, что будущее за «натуральной школой». В то время как ищущий заработка «дворянин Николай Гоголь-Яновский», как он отрекомендовался князю Гагарину, непонятно просто и буднично читает самые трескучие монологи из классицистических трагедий, на московской сцене уже восходит звезда Михаила Щепкина. И случайно присутствовавшие на прослушивании актеры, в том числе П. А. Каратыгин, запомнят несомненную оригинальность неудачливого соискателя. Гоголь не придет за ответом о результатах испытания – ему, действительно, решено было предложить, и то из милости, работу на выходах, – но не разуверится в собственных возможностях.

С живописью все складывается иначе. Первые же петербургские знакомства сближают Гоголя с кругом покровителей, преподавателей и пенсионеров Общества поощрения художеств. Возникшее незадолго до событий на Сенатской площади, Общество не имело сколько-нибудь проявленной политической программы, преследовало неопределенные художественно-благотворительные цели и вместе с тем за первые десять лет своего существования сумело стать антиподом официального искусства. Предоставление возможности работать в Италии вступившим в конфликт с Академией художеств Карлу Брюллову и Александру Иванову, неизменная поддержка, а во многих случаях и выкуп на волю крепостных художников, которым волей Николая I был закрыт доступ в Академию, забота о развитии жанровой живописи, а вместе с нею и школы А. Г. Венецианова и первой русской провинциальной школы А. В. Ступина в Арзамасе, материальная поддержка не находивших признания мастеров – все шло вразрез с установками императора в искусстве. Один из наиболее консервативных и близких ему академических профессоров баталист А. И. Зауервейд имел полное основание писать: «Общество для поощрения художников есть оппозиции Академии художеств или, может быть, только одному президенту, о чем я бы более узнать мог, если бы не знали, что я враг этих ложных Дмитриев, которые желают сделать подрыв Академии художеств, а себя всесильными».

Дорога к Обществу поощрения лежала для Гоголя и благодаря участию В. П. Кочубея, ближайшего соседа по Васильевке и владельца знаменитой Диканьки, в чей дом он получает доступ. И тем более через П. П. Свиньина, к которому сначала попадает по издательским делам. Пусть публикация «Ночи накануне Ивана Купалы» оказалась во всех отношениях неудачной для автора – и по искажившей авторский стиль редактуре, и по придуманному издателем названию, и по отсутвию, наконец, имени Гоголя, она скорее всего не сказалась на доверии П. П. Свинину в отношении его совета продолжить занятия живописью. Свидетельство фактов однозначно: непосредственно после знакомства со Свининым Гоголь начинает посещать академические классы.

На первый взгляд, все выглядело простым и очевидным: появилось, а вернее, не исчезало желание – начать заниматься. Но на практике Академия была недоступна каждому желающему. До конца 1830 года, а письмо написано летом того же года, она знала лишь две категории учащихся: казенных и своекоштных, иначе говоря, оплачивающих стоимость своего обучения. Попасть в число последних также не представлялось простым: существовали численные ограничения. Известными возможностями в этом отношении обладало только Общество поощрения художеств, располагавшее известным числом мест, которое оно предоставляло своим подопечным. Без его содействия попасть в классы, тем более бесплатно, Гоголь не мог, и скорее всего это было содействие лично П. П. Свинину, известного своим деятельным заступничеством за молодых художников. Правда, и здесь все ограничивалось одним рисовальным классом. О нем же говорило и приводимое Гоголем расписание – оно соответствовало работе натурного рисовального класса.

Положение принципиально меняется с введением реформы 19 декабря 1830 года. Отныне к казенным и своекоштным присоединяется новая категория учащихся –

вольноприходящие, обладавшие правом бесплатного посещения всех академических классов. Соответственно они получали возможность «представлять на суд Академического Совета не только рисунки фигур с натуры, но и художественные произведения, как-то: чертежи, эскизы, композиции и оконченные их работы», которые отмечались на экзаменах специально установленными медалями всех достоинств. Будучи награжден за программу золотой медалью, посторонний ученик даже мог быть оставлен по окончании основного курса в числе совершенствующихся, а затем быть посланным в пенсионерскую поездку. Если достичь подобных вершин удалось слишком немногим, то все же главное – реальная перспектива существовала.

Но при всем своем внешнем демократизме реформа создавала для будущих художников новые и зачастую непреодолимые трудности. Казенные и своеокоштные, число которых строго регламентировалось, должны были обладать определенным образовательным цензом примерно в объеме уездного училища, а все учащиеся без исключения – достаточно высокой профессиональной подготовкой. Когда Академия художеств вынуждена была отложить прием 1830 года на целых три года, это мотивировалось необходимостью, чтобы «родители могли приготовить детей своих в познаниях, прибавлением к установлениям Академии предписанных», прежде всего в рисунке. Академический Совет прямо указывал, что «искусству рисования нигде в училищах не обучают надлежащим образом». Тем не менее Гоголь без затруднений получает билет в классы: его подготовка по рисунку и живописи не вызывала никаких претензий.

Лицейские письма говорили об увлечении изобразительным искусством, уважительно упоминали наставника – «моего профессора», как называл его лицеист-Гоголь, и тем не менее имя человека, сыгравшего немаловажную роль в жизни писателя, до сих пор не вошло в научный обиход. Капитон Степанович Павлов был непосредственно связан с Гоголем с мая 1821-го до июня 1828 года. Увлеченный способностями питомца, он не ограничивается классными занятиями, помогает ему бесплатными уроками и даже необходимыми материалами. Думая о тех денежных ограничениях, которые несла с собой смерть отца. Гоголь торопится опередить возможные возражения матери по поводу его занятий живописью: «Я говорил с профессором живописи о моем предприятии. Он берется на себя доставить некоторые вещи, как-то: кисти и часть красок, остальное могу подкупить здесь».

Капитон Павлов – это Академия художеств времен высокого расцвета. Он поступает в нее, как и многие в те годы, десяти лет и кончает курс двадцати четырех. Успехи по рисунку, за которые Павлов получает в 1812 году единственную академическую награду, 2-ю серебряную медаль, позволяют ему при выборе художественной специальности попасть в наиболее высоко ценимый класс исторической живописи. Его преподаватели – В. К. Шебуев и А. Е. Егоров, благовейное отношение к которым сохранит и Гоголь. Соученики – будущий автор проекта храма-памятника 1812 году на Воробьевых горах А. Л. Витберг, основоположник Московского художественного класса (преобразованного впоследствии в Московское училище живописи, ваяния и зодчества) Алексей Добровольский, старший брат «великого Карла» – Федор Брюллов, исторические живописцы Дмитрий Антоиелли и Василий Сazonov. Под наблюдением В. К. Шебуева Капитон Павлов выполняет для третных экзаменов композиции «Иосиф, тоскующий сын в темнице» (1811) и «Поход под Казань Ивана Грозного. Грозный отдает найденную воду изнемогавшему от жажды воину». Жанровое начало – око явно было ближе художнику, чем сложные и наделенные патетикой исторические сюжеты. Сегодня о художнике говорит едва ли не единственная хранящаяся в государственных музеях – в Псковской художественной галерее – картина «Игра в шашки». Отмеченная наблюдательностью, любовью к бытовым подробностям, но и известной скованностью действующих лиц.

Тем не менее Капитон Павлов делает заранее обреченные на неудачу попытки получения золотой медали вместе со всеми связанными с нею преимуществами. В 1812 г. он пишет программу «Призыв Минина», голом позже – «Великодушие русских воинов, уступающих кашицу голодным французам». Медаль действительно оказывается для него

недоступной, и Капитон Павлов выходит из Академии в 1815 году с аттестатом 2-й степени и шпагой. Спустя пять лет, убедившись в невозможности существовать на частные заказы и по-прежнему отдавая предпочтение скромным жанровым картинкам, он поступает учителем рисования во вновь открытый Нежинский лицей, где остается на всю жизнь. Не стало Капитона Павлова в 1842 году, когда ему едва исполнилось 50 лет.

Полученная у Павлова подготовка безусловно отвечала академическим требованиям. У Гоголя не возникает в этом отношении никаких трудностей. Более того – она позволяет ему понять достоинства былых учителей своего неожиданного наставника.

В письме матери от сентября 1830 года Гоголь вспоминает об открытой в Академии художеств трехгодичной выставке, заполнившей около тридцати огромных залов. Именно эта выставка положила конец тридцатилетней работе в Академии отца Александра Иванова, профессора живописи исторической Андрея Иванова. Николай I не простила художнику ни его убеждений, ни давних связей с исполненным радищевских настроений Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств. Эта связь перечеркнула судьбу отца. Гоголь переживает трагедию старого педагога вместе с окружавшими его художниками.

В. К. Шебуев и А. Е. Егоров поочередно дежурят в натурном классе, где работает Гоголь. Кстати, они и только они подходят под понятие тех, «статских» и «действительных», о чьей скромности и снисходительности к нему с таким восторгом пишет матери Гоголь. Но небольшое уточнение. Та близость, или точнее – прямое знакомство, о которых говорится в письме, могли возникнуть только в среде питомцев Общества поощрения художеств, для которых общение с педагогом носило более короткий характер. В этой среде и в эти годы формируется замысел двух единственных связанных в творчестве Гоголя с художниками произведений: «Невского проспекта» и «Портрета». Первая повесть была связана преимущественно с пенсионерами Общества поощрения художеств – героями одной из ее страниц становятся братья Григорий и Никанор Чернецовы. Вторая служит отражением несколько иной, в большей степени связанной с Академией художеств среды.

Оценка В. Г. Белинским «Портрета» отличалась двойственностью. Его приговор: «Первой части повести невозможно читать без увлечения. Но вторая ее часть решительно ничего не стоит! В ней совсем не видно г. Гоголя. Это явная приделка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого участия». Тем не менее резкость отзыва «неистового Виссариона» не оттолкнула писателя от казавшегося неудачным детища. Когда в 1842 году П. А. Плетнев обращается к нему с просьбой написать для «Современника» статью, Гоголь с неожиданным упорством возвращается к раскритикованной повести: «Посылаю вам повесть мою „Портрет“. Она была напечатана в „Арабесках“; но вы этого не пугайтесь. Прочитайте ее. Вы увидите, что осталась одна только канва прежней повести, что все вышито по ней вновь». К канве относилась жизнь Черткова-Чарткова (в имени героя изменится всего лишь одна буква) до и после встречи с таинственным портретом и снова случай на аукционе как вторая ее часть. Новой была фигура рассказчика: блестящего офицера с романтическим именем Леон сменил известный в столице красавец-художник. По-новому проявились обстоятельства жизни его отца – теперь художника-самоучки, подробное описание работ, которые он выполнял, наконец, история с учеником, у которого старик в приступе зависти отнял заказ на картину, но и сам справиться с заказом не сумел. Но впервые раскрытые обстоятельства занятий Гоголя живописью, его связи в художественной среде дают основание соотнести, казалось бы, придуманные с назидательной целью ситуации с реальной действительностью.

«Однако, мсье Поль... ах, как он пишет! какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выражения в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсье Поля?» – восторженный дифирамб первой же появившейся на новой квартире Чарткова заказчицы. Имя не было придумано Гоголем – так называли в художнической среде английского сверхмодного портретиста Джорджа Дау. И собственно вся жизнь заезжей знаменитости могла бы с успехом послужить канвой повести.

Для Д. Дау существует единственная цель – успех, которого он готов добиваться всеми

возможными способами. Сын скромного английского художника, он начинает как гравер, репродуцирующий наиболее известные произведения. Если Дау и не талантлив в этой области, он, во всяком случае, достаточно ловок, чтобы нравиться публике, и достаточно предусмотрителен, чтобы не ограничиваться этим трудоемким и не слишком высоко оплачивающимся видом искусства. В девятнадцать лет он пробует свои силы в исторической живописи, представляя на академических выставках очень разные полотна в духе классицизма или наоборот – романтизма. Сюжеты из античной мифологии или древней истории всегда находили своих поклонников.

Однако двенадцать лет работы в этой области не дают ожидаемого результата. Художник становится постоянным участником тех же академических экспозиций, слишком постоянным, чтобы обращать на себя внимание. Переломным годом становится в жизни Д. Дау 1813-й – светские зрители очарованы его портретом актрисы Элизы О'Нил в виде коленопреклоненной Джульетты. Ему удается получить первые заказы от титулованных особ и удержать их расположение. Список его работ начинает пестреть самыми высокопоставленными именами: принцессы Шарлотта Августа Уэльская, принц Леопольд Саксен-Кобургский, дочь прусского короля Фридриха Вильгельма, русская великая княгиня и супруга будущего Николая I Александра Федоровна. В ходе Венского конгресса Д. Дау пишет всех его участников и получает от Александра I приглашение приехать в Россию. Он воспользуется им в 1819 году, побывав предварительно в Веймаре.

Девять лет, прожитых в России, – это высший взлет известности художника. Он успевает написать около четырехсот портретов придворных и всю «Военную галерею 1812 года» в Зимнем дворце. Постоянное повторение композиций, приема изображения аксессуаров, однообразия живописи, никак не связанной с характером изображенной модели, условная гамма, нарочитость романтической приподнятости – кажется, ничто не способно уменьшить его славы и наплыва заказчиков. Известным диссонансом становится только история с Александром Поляковым, крепостным художником, отанным своим помещиком Корниловым Д. Дау в обучение. Вмешательство Общества поощрения художеств позволяет установить, на каких кабальных условиях работает в модной мастерской безвестный живописец, чью живопись оказывается невозможно отличить от оригиналов англичанина. Невозможным – потому что при сторублевом жаловании в год Александр Поляков обязан писать в день по портрету, на которых затем ставит свою подпись Д. Дау.

Скорее всего подобное вмешательство было бы попросту немыслимым при Александре I – для императорских любимцев не существовало законов. Но на престоле другой император – Николай I, который не нуждается в фаворитах предыдущего правления. Не только не нуждается – ищет предлога от них освободиться. Д. Дау слишком известен при дворах Европы, чтобы с ним просто было расстаться. Третьего февраля 1828 года в Обществе поощрения художеств рассматривается копия А. В. Полякова с портрета Мордвинова кисти Д. Дау. Сходство настолько разительно, что принимается решение не только способствовать Полякову выйти из крепостного состояния, но и начать расследование дела Д. Дау. Седьмого марта Николай I дает согласие на выкуп художника и запрашивает точные сведения об учениках, а точнее – исполнителях в мастерской англичанина. К тому времени Общество поощрения принимает еще одно решение – предать гласности действия Д. Дау при содействии А. Г. Венецианова и Гейтмана.

Знал ли об этой неблаговидной истории Пушкин? Скорее всего еще нет. Девятого мая он вместе с Д. Дау совершает поездку в Кронштадт и посвящает английскому художнику строки: «Зачем твой дивный карандаш Рисует мой арапский профиль?» Портретный набросок, о котором идет в них речь, не сохранился. Новая встреча скорее всего не состоялась. Летом Д. Дау уехал из России на родину. Сказалась ли на этом отъезде история с Поляковым? Несомненно. К этому времени Общество поощрения художеств решает поместить освободившегося от крепостной зависимости художника вместе с остальными своими питомцами на специально для этой цели арендаемой квартире. В августе 1828 года А. В. Поляков уже фигурирует среди пенсионеров Общества.

Между тем, побывав в Лондоне и Берлине, Д. Дау предпримет попытку вернуться в Россию. Зимой он оказывается в Петербурге, но почти сразу уезжает в составе свиты Николая I в Варшаву, где пишет последнюю свою русскую работу – портрет старшего брата царя, великого князя Константина Павловича. Судьба «мсье Поля» была предрешена. На родине он прожил недолго. Осенью того же 1829 года его не стало, и английская академия отметила могилу своего члена роскошным надгробием в лондонском соборе св. Павла. Недолгой была жизнь и А. В. Полякова. Он занимается в рисовальных классах Академии художеств одновременно с Гоголем, заслуживает особую похвалу за портреты с натуры, а в декабре 1833 года получает звание свободного художника. В членской лотерее Общества поощрения художеств в то же время разыгрывается его картина «Старик-нищий». Все это происходит на глазах у Гоголя. Но уже в январе 1835 года помощника Д. Дау не стало от тяжелой чахотки. Прозвище английского портретиста, ставшее фамилией одного из действующих лиц «Портрета», было наполнено для автора особым смыслом. В тексте же повести остается и вовсе открытое предостережение профессора Чарткову: «Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец... смотри, как раз попадешь на английский род».

Заимствуя из жизни образ «мсье Поля», Гоголь обращается к окружающей его жизни и в отношении других подробностей повести. Таинственный образ ростовщика с восточным обликом встает в воспоминаниях П. А. Каратыгина. К нему неоднократно приходилось обращаться актерам, и при их незначительных заработках богатство одиноко жившего за крепчайшим забором отшельника представлялось особенно большим, почти неисчислимым. Ростовщик – одна из своеобразных достопримечательностей Коломны, которую так хорошо знал и по-своему любил Гоголь. Заимствованной из круживших вокруг него разговоров была и история старого художника, возревновавшего собственного ученика к славе и попытавшегося превзойти его в мастерстве. Сама по себе ситуация не представляла в истории искусства ничего исключительного, если бы не ссылка на новую богатую церковь, для которой выполнялся заказ. Воображение петербургских художников действительно занимала история алтарного образа вновь построенного Казанского собора. И хотя она имела место почти двадцатью годами раньше приезда Гоголя в Петербург, писатель не мог о ней не узнать. Речь шла о Степане Артемьевиче Бессонове, преподавателе рисования в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте. С. А. Бессонов был не только в добрых отношениях со своим питомцем по пансиону М. И. Глинкой, но его сын Михаил, тоже художник, входил в кружки, которые посещал Гоголь. Один из них группировался вокруг Нестора Кукольника, другой – вокруг вернувшегося в 1836 году в Петербург Карла Брюллова. В свое время С. А. Бессонов действительно получил очень важный для него, как совсем молодого живописца, заказ на «Тайную вечерю» для Казанского собора, но, не успев взяться за работу, его лишился, а затем при достаточно странных обстоятельствах получил вновь. В конце концов, картина заняла свое место в соборе. Первого сентября 1811 года постановлением Совета Академии художеств ему было присуждено звание академика «по образу вечери тайная, написанному им в главный алтарь новопостроенной церкви Казанский Богоматерь», как гласил соответствующий протокол.

История С. А. Бессонова очень типична для художника рубежа XVIII-XIX веков. Сын петербургского мещанина, он оказывается в стенах Академии художеств шести лет и проходит весь полный курс обучения в ней. Его занятия отмечены первыми и вторыми серебряными медалями за работы на третных экзаменах – в то время непременное условие для получения программы на золотую медаль. Своей специальностью Бессонов выбирает историческую живопись, куда переходит вместе со своими однокашниками В. К. Шебуевым и А. Е. Егоровым. У всех трех общие учителя Г. И. Угрюмов и И. А. Акимов и общие темы композиций, над которыми они работают. В 1797 году вместе с А. Е. Егоровым С. А. Бессонов пишет программу «Ной по выходе из ковчега приносит жертву богу», за которую получает 2-ю золотую медаль. Это приносит ему в декабре того же года аттестат 1-й степени со шпагой, но и никаких перспектив работы. В то время, как А. Е. Егоров и В. К. Шебуев остаются при Академии художеств и начинают в ней преподавать, причем Шебуев при

тех же формально результатах – он получает 2-ю золотую медаль за программу «Смерть Ипполита», перед их товарищем возникает необходимость поисков заказов. Если даже в двадцатых годах наступавшего столетия руководство Академии вынуждено было признавать, что единственными видами работ, доставляющими более или менее верный заработка художнику, являются церковные росписи и портреты, то же правило было абсолютным для конца XVIII века.

Дальнейшие события показали, насколько по своему характеру скромный С. А. Бессонов не был способен найти себе применение на художественном рынке. Он отдает предпочтение работе в своеобразной артели с мастером, располагавшим надежным кругом заказчиков. Таким мастером оказывается Феодосий Иванович Яненко. На многие годы Бессонов становится его помощником. Но новое имя опять-таки возвращало к Гоголю. Именно Ф. И. Яненко пытался претендовать на исполнение «Тайной вечери» для Казанского собора и, в конце концов, лишился заказа. По всей вероятности, в поддержку товарища выступили его бывые однокашники и, в частности, В. К. Шебуев, действительно участвовавший в росписи собора. За эскиз для него «Взятие Богородицы на небо» В. К. Шебуев еще в 1807 году получил звание академика. Возник вопрос, насколько далеко простиралось сходство легшей в основу повести истории с жизнью обоих художников.

«Отец мой был человек замечательный во многих отношениях, – говорит рассказчик в „Портрете“. – Это был художник, каких мало, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствования и шедший, по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою: одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом „невежи“, и которые не охлаждаются от хулений и собственных неудач, получают только новые рвения и силы, и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежд».

Ф. И. Яненко и в самом деле представлял достаточно необычную фигуру в художественном мире Петербурга своего времени. Те биографические сведения, которые промелькнули в очень немногочисленных источниках, отличаются не только предельной скрупульностью, но и полной недокументированностью. Ф. И. Яненко называется в них воспитанником Академии художеств и, в частности, Г. И. Козлова, что якобы позволило ему в короткий срок достичь звания академика.

В действительности остаются поныне неясными как происхождение художника, так и обстоятельства его обучения. Подписанные по-гречески ранние его работы и между ними «Автопортрет в шлеме и латах» 1792 года, хранящийся в Русском музее, позволяют предложить, что он был иностранцем, а входящий в его наследие портрет Евгения Булгариса, высказать предположение о национальности. Известный духовный писатель Евгений (Елевферий) Булгарис был болгарином, родившимся на острове Корфу. Работая впоследствии в Венеции и Константинополе, он выпустил многочисленные учебники для греческих училищ, доставившие ему имя «первого педагога возрожденной Греции». Деятельность Евгения обратила на себя внимание Екатерины II, которая сначала обратилась к Булгарису за переводом на греческий язык своего «Наказа», а затем охотно предоставила писателю и русское подданство. Булга-рис переехал в Россию вместе со своим ближайшим окружением, к которому, по всей вероятности, относился Ф. И. Яненко.

Первоначальное увлечение новоприбывшей знаменитостью, как обычно, сменилось у Екатерины уже через четыре года полнейшим равнодушием. Но за эти четыре года пребывания в должности библиотекаря императрицы Булгарис начинает перевод на греческий язык «Энеиды» и «Георгик» Виргиния и издает «Догадки о критических обстоятельствах Оттоманской порты». В 1775 году он получает назначение архиепископом новоучрежденной Славянской и Херсонской епархий, но вскореувольняется на покой. Портрет, написанный Ф. И. Яненко, относится именно к этому позднейшему времени и близок стилистически к автопортрету художника. Своими познаниями в живописи Ф. И. Яненко явно располагал до приезда в Россию. Свидетельство тому – отсутствие его имени в

списках учащихся Академии художеств. Как известно, в XVIII веке наборы в нее производились раз в три года и поступавшим не должно быть больше 5-6 лет. Первые девять лет занятий вообще носили общеобразовательный характер, посещать же классы временно или в старшем возрасте не представлялось возможным. Столь же маловероятно и ученичество у первого русского профессора живописи исторической, в прошлом крепостного художника, Гаврилы Козлова. Против него говорит прежде всего самый характер живописи Ф. И. Яненко – широкой, звучной по цвету, романтически приподнятой. Отсюда вполне возможно то определение художника-самоучки, к которому прибегает в отношении своего отца рассказчик из повести.

Об иностранном происхождении Ф. И. Яненко свидетельствуют и те обстоятельства, при которых он получит академические звания. В то время, как русским художникам предписывалось выполнение обязательных программ или представление значительных произведений, иностранным мастерам предоставлялись всевозможные льготы, особенно если на них не распространялось покровительство двора. Булгарис находился в отставке, но тем не менее к нему и его окружению проявлялось известное снисходительное внимание. В 1793 году Ф. И. Яненко избирается назначенным в академики за «Нагую фигуру», а спустя четыре года становится академиком «по работам, представляющим различные виды». О характере его пейзажной живописи можно судить по хранящимся в Музее Академии художеств СССР «Путешественникам, застигнутым бурей». Скрупулезно выдерживавшая жанровые различия, Академия в данном случае не обратила внимания на разнохарактерность работ художника. Она действительно не имела для Ф. И. Яненко принципиального значения, поскольку основной областью применения своих сил он выбрал церковную живопись. Этим могут быть объяснены слова повести: «И внутреннее чувство и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам».

Совершенно справедлива в отношении Ф. И. Яненко и другая подробность: «он работал за небольшую плату». Художник охотно брался за любую предлагавшуюся ему работу, в том числе и за портреты. Точнее – за копии портретов, так как для выполнения оригиналов надо было иметь имя. Сразу после окончания В. Л. Боровиковским двух небольших парных портретов супружеской четы А. А. и Д. П. Бутурлиных Ф. И. Яненко делает их копии на цинке маслом, находящиеся в Третьяковской галерее. В 1794 году он выполняет также некогда находившийся в галерее портрет царевича Павла Петровича. Определением Собрания Совета Академии художеств в октябре 1797 года ему достается заказ на копию для присутственных мест одного из членов царской семьи – великой княгини Анны Федоровны. Причем здесь Ф. И. Яненко заменяет достаточно известного и талантливого портретиста П. С. Дрождина.

Слова Гоголя: «Ему давали беспрестанно заказы в церковь – и работа у него не переводилась», подтверждаются и многочисленными работами художника. В том же Казанском соборе Ф. И. Яненко удачно выполняет и поныне там находящиеся изображения в главном алтаре апостолов Фаддея, Луки, Павла, Фомы, Филиппа, Варфоломея, Филимиона и Тимофея. В Александро-Невскую лавру в Петергофе он пишет портрет петербургского митрополита Амвросия, точнее – снова копию, потому что Амвросий Зертис-Каменский погиб в Москве во время чумного бунта 1771 года. Повышенная религиозность, во всяком случае, легко могла быть приписана художнику, как то и происходит в повести. Но то, что в «Портрете» имелся в виду конфликт между Ф. И. Яненко и А. С. Бессоновым, подтверждалось и фигурой самого рассказчика.

«Стройный молодой человек лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, выполненное какой-то светло беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: все показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших». Гоголевский литературный портрет совпадает с внешним обликом сына Ф. И. Яненко – Якова Феодосиевича, славившегося к тому же в художественных кругах столицы на Неве редким даром рассказчика. И небольшая подробность – в то время, когда

Гоголь писал свою повесть, Яненко младшему было как раз тридцать пять лет. Подобное совпадение могло с одинаковым успехом говорить о наблюдательности писателя, но и о прямом знакомстве с художником.

Добродушно-благожелательное отношение Я. Ф. Яненко к окружающим находилось в разительном контрасте с обстоятельствами его жизни. Ровесник Карла Брюллова, он одновременно с ним попадает в Академию художеств и бок о бок проходит весь многолетний курс обучения. Разница с повестью заключалась в том, что принят был Я. Ф. Яненко на казенный счет в год ранней смерти отца. Ни о какой семейной поддержке, материальной и моральной, ему не приходилось и мечтать. Уход в монастырь старого мастера в повести соответствовал его смерти в действительности.

Первые десять лет занятий проходят неотмеченные никакими наградами, и только в 1819 году Совет Академии отмечает удачно выполненную учеником 4-го возраста Я. Ф. Яненко копию с картины «Чадолюбие» А. Ван Дейка. Занятия в классе живописи исторической, куда он переходит, складываются таким образом, что при всей своей достаточно яркой одаренности Я. Ф. Яненко всегда оказывается вторым рядом с К. П. Брюлловым. Обычное соотношение экзаменационных номеров: 1 – Брюллов, 2 – Яненко, как в живописи, так и в композициях, которые приходилось представлять на каждый третий экзамен. Свою единственную 2-ю серебряную медаль за рисунок с натуры Яненко получает в 1820 году, а спустя год выпускается с не давшим никаких профессиональных или жизненных перспектив аттестатом 2-й степени.

Несмотря на конфликт с администрацией Академии, Карл Брюллов вместе с братом Александром уезжают в августе 1822 года в заграничную поездку на средства Общества поощрения художеств. Яненко ставит своей целью оказаться в Италии на собственный счет – задача тем более сложная, что ни церковной живописью, ни портретами он заниматься не собирался. Его выбор падает на школу реставратора А. Митрохина при императорском Эрмитаже, куда Яненко поступает еще до отъезда Брюлловых в Италию. Реставрация, как ему кажется, должна принести необходимые средства, но мелочный, кропотливый труд слишком противоречит его натуре живописца романтического направления. Раньше чем через год Яненко увольняется из школы, усовершенствовав единственно свое незаурядное мастерство кописта, которое и будет ему служить всю жизнь. Спустя три года Яненко получает звание назначенного в академики, а летом 1827 года на накопленные с величайшим трудом средства отправляется в Италию. Без поддержки Общества поощрения художеств не обходится и на этот раз. Художник просит о заказе на какую-нибудь копию. Общество предлагает ему выполнить рисунок с головы Иисуса Леонардо да Винчи в венской галерее Лихтенштейна или повторить небольшую картину по его собственному выбору в Риме. И в том и в другом случае цена определяется в 25 червонцев – 250 рублей. По-видимому, Яненко рассчитывал не только на скопленную сумму, но и на возможность дополнительных приработков за границей, которые на деле представляются недостижимыми. Он вынужден вновь обратиться к Обществу поощрения художников с просьбой о прямой помощи. На заседании 23 апреля 1828 года одновременно принимается решение об отправке со следующего года «в чужие края» на четырехлетний срок с возможным дальнейшим продлением пенсионерства Александра Иванова и о посылке 100 рублей Яненко в Париж с тем, что если он окажет достаточные успехи, будет получать небольшие суммы и впредь. Эта помощь помогает художнику добраться в конце концов до Рима, куда Общество поощрения художеств посыпает ему в июне того же года еще сто рублей.

Италия была и Италии по-настоящему не было, если говорить о свободной работе, совершенствовании своего мастерства. Постоянная мысль о деньгах, грошевые подачки, о каждой из которых надо было униженно просить и каждую из которых предстояло отрабатывать. Получаемые копии или оригинальные работы пенсионеров Общества в дальнейшем разыгрывало на специальных художественных лотереях. Я. Ф. Яненко не завидует своим более талантливым и наверняка более удачливым товарищам, но, чтобы реализовать свои собственные способности, остро нуждается в тех условиях, которые им

предоставлены. Пусть Карл Брюллов еще не достиг зенита славы, но им уже написаны «Итальянское утро» и «Итальянский полдень», а Академия может судить о его возможностях по выполненной им копии «Афинской школы» Рафаэля. Осенью 1829 года Александр Иванов напишет одному из своих товарищ: «Вам уже известно, с каким восторгом принятая была моя картина: „Иосиф в темнице“». Тогда все согласны были, что она застуживает более, чем золотую медаль первого достоинства, что я даже сделал более, нежели Карл Брюллов (хотя никогда бы я не хотел состязаться с сим Геркулесом...»). Яненко не пытается состязаться, он борется за каждую минуту, которую может посвятить оригинальным работам. Эти работы немногочисленны, тем не менее написанный в Риме портрет аббата Франческо Агостиани, находившийся затем в русском собрании Е. Г. Швартца, свидетельствует о незаурядном даровании темпераментного и склонного к романтической экспрессивности живописца.

Длительным заграничное пребывание Яненко не могло быть. Зимой 1828-1829 года он снова вернулся в Петербург и планирует немедленный отъезд в Китай с русской миссией. Как и всякий художник романтического толка, он нуждался в новых и ярких впечатлениях, но снова обманулся в своих ожиданиях, теперь уже по семейным обстоятельствам. В своем отказе от участия в миссии Яненко пишет: «Жена – я имею с нею троих детей – начала предаваться тайной горести, приметно ее съedaющей. Родственники страшат последствиями моей поездки, для всего семейства произойти долженствующими».

Сколько было в этих родственных предостережениях правды, а сколько эгоистических опасений, связанных с далекой и многолетней поездкой, сказать трудно. Во всяком случае, в мае 1830 года на заседании Общества поощрения художеств рассматривается просьба художника о посылке его все в ту же вымечтанную и такую недосягаемую Италию. Она как отклик на строки Гоголя в «Невском проспекте» о петербургских художниках: «Они часто питают в себе истинный талант, и, если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развелся также вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят, наконец, из комнаты на чистый воздух. Они вообще очень робки: звезда и толстый эполет приводят их в такое замешательство, что они невольно понижают цену своих произведений». На заседании выясняется, что за время пребывания в Риме Яненко было предоставлено Обществом пособие в размере ста двадцати пяти рублей. В свою очередь художник предоставил Обществу оригинальную картину «Женщина (из Санино) с тамбурином» и копию с работы Гверчино «Се человек».

Очередная просьба Яненко отличалась предельной скромностью. За оплату проезда в Италию и годовое содержание в триста рублей он брался выполнить копию со «Святого Иеронима» Корреджо или «Взятие Богородицы на небо» Тициана. Отказ Общества был мотивирован самым унизительным для художника образом – «отсутствием свидетельств таланта». Собрание рекомендовало Яненко заняться выполнением программы на звание академика и лишь в случае получения звания обращаться в Общество. Еще одно не меньшее унижение живописцу приходится пережить двумя годами позже. Яненко получает звание академика живописи портретной и это дает ему основание ходатайствовать о преподавательской работе в Академии художеств. Обстоятельства складываются, казалось бы, благоприятно. Временно уезжает в Варшаву руководитель портретного класса, былой наставник Яненко А. Г. Варнек, и возникает необходимость наблюдения за учениками по специальности. Однако Яненко сталкивается с самым категорическим отказом руководства Академии, которая словно бы во всем игнорирует своего питомца. Именно в этот тяжелый для художника период Гоголь получает возможность познакомиться с ним в среде, связанной с Обществом поощрения художеств, но и в кружке братьев Кукольников, на их «средах».

У бывшего однокашника Гоголя собираются писатель-переводчик Э. С. Губер, литератор и будущий редактор «Художественной газеты» А. Н. Струговников, писатель П. П. Каменский, женатый на дочери одного из наиболее активных деятелей Общества поощрения художеств Ф. П. Толстого, поэт В. Г. Бенедиктов, лирический тенор Андрей Лодий, взявший

на сцене фамилию по имени своего близкого друга Н. В. Кукольника – Нестеров. Здесь же бывают Н. А. Дурова, М. А. Языков, А. В. Никитенко, О. И. Сенковский, Н. И. Греч, И. И. Панаев. С возвращением в Петербург к ним присоединяется и К. П. Брюллов. И едва ли не одна только «Литературная газета» найдет со временем добрые слова о творчестве Я. Ф. Яненко. Когда в 1840 году художник решится открыть в Петербурге «отдельную мастерскую в роде общей приемной для списывания портретов», редакция отзовется на его попытку словами: «Радуясь вся кому средству сближения публики и художества, мы объявляем об этом с искренним удовольствием, тем более, что портреты Я. Ф. Яненко, скоростию исполнения, сходством и умеренностию цены, вероятно, не только оправдают общие ожидания, но изучают мало-помалу, отличать изящные, выразительные портреты от того, что иногда носит это название». Своего товарища усиленно поддерживает и К. П. Брюллов, иногда даже набрасывающий в его портретах лица. Об одном из них Яненко с особенной гордостью писал заказчику, что лицо намечено «другом моим знаменитым и единственным профессором живописи Карлом Павловичем Брюлловым».

Удивительна особенность натуры Яненко – увиденная Гоголем «светлая беззаботность». Никто даже из числа самых близких друзей, а их у художника было множество, не имеет ни малейшего представления о его семейной трагедии, ни тем более о тщательно скрываемых им материальных затруднениях. Яненко кажется воплощением душевного спокойствия, расположенности к людям и доброжелательности. Ему все-таки удается вырваться в Италию с двухлетним, пусть очень скромным, пенсионом Общества поощрения художеств и вернуться с копией тициановского «Взятия Богородицы на небо». В 1836 году копия выставляется в Академии художеств почти одновременно с триумфально встреченным «Последним днем Помпеи» К. П. Брюллова. Говорить о сравнении не приходилось. Любые достоинства работы Яненко остались незамеченными. Но и это не мешает ему близко сойтись со старым академическим товарищем.

Вместе с хозяином Яненко становится душой брюлловского кружка. В него входят многие из участников кукольниковских сред, но помимо них, Ф. П. Толстой, В. А. Соллогуб, В. Ф. Одоевский, Т. Г. Шевченко, В. Г. Белинский, поэт Д. К. Струйский (Трилунный) – из числа литераторов, конференц-секретарь Академии художеств и деятель Общества поощрения художеств В. И. Григорович, А. С. Даргомыжский, издатель альманаха «Утренняя заря» В. А. Вла-диславлев, директор императорских театров А. М. Гедеонов, доктор императорских театров и ближайший друг М. И. Глинки, к тому же известный шахматист Л. А. Гейденрейх, актер И. И. Сосницкий, художники А. Н. Рамазанов, которому доведется снимать посмертную маску с Гоголя, П. В. Басин, пейзажист Семен Щедрин, И. П. Витали, певец О. А. Петров, братья Карапыгины и, конечно, превосходный рисовальщик-карикатурист, а в будущем и известный издатель Е. А. Степанов. Это он задумывает альбом карикатур на Яненко и Булгарина, начинает делать карикатурные статуэтки, отливавшиеся из гипса и раскрашивающиеся. В их серию вошли изображения К. П. Брюллова, М. И. Глинки, И. К. Айвазовского, В. Г. Белинского.

Яненко становится в брюлловском кружке объектом постоянных дружеских подшучиваний. В то время как историки искусства могут только удивляться количеству выполненных им работ – в трудолюбии сын даже превосходил отца, – друзьям художник представляется добродушным лентяем, убегающим от любых серьезных занятий и усилий. Единственное увлечение, ради которого он, кажется, всегда готов побороть свою лень, – рассказы. Яненко обладает редким даром сообщить самому незначительному жизненному эпизоду увлекательность и интригующую таинственность. Трудно себе представить более удачного прототипа для красавца-художника, ведущего свое захватывающее повествование в аукционном зале. К тому же все его отношение к искусству как нельзя больше отвечало нравственным представлениям Гоголя: к 1842 году писатель должен был знать о художнике через всех объединявших их знакомых и друзей достаточно много.

С особенной теплотой относится к Яненко К. П. Брюллов. В записках М. И. Глинки есть строки: «Мой пенсионский товарищ генерал Астафьев пристроил Яненко с семейством

к бане, принадлежащей к дому отца жены своей Пономарева... Я после чаю утром отправляюсь бывало к Яненке, там уже был К. Брюллов... Тогда сняли с меня маску». Речь шла о 1843 году. Эти дружеские отношения сохраняются вплоть до отъезда Брюллова из России. «Великий Карл» пишет своего друга в латах – один из наиболее романтичных брюлловских портретов – и очень дорожит полотном. Мокрицкий записывает о 27 апреля 1849 года: «Карл Павлович спал последнюю ночь в Петербурге очень мало, встал рано, последний раз еще просматривал портрет в латах, который вместе с головой Христа отдал Николаю Дмитриевичу Быкову за 300 рублей серебром». Больше товарищам увидеться не довелось, как не довелось увидеть своего героя и Гоголю. Все трое ушли из жизни в 1852 году.

Между тем с именем Яненко можно связать и разгадку «немой» сцены «Ревизора». В одном из разговоров с Н. А. Степановым Яненко, по свидетельству очевидца, шутливо заметил, что смог бы сравняться с карикатуристом в мастерстве, если бы обладал «живостью карандаша» автора комедии, которого сам бог создал художником. Присутствовавшие не замедлили припомнить, как Гоголь отправлялся на этюды в Италии, хотя всегда тщательно скрывал свои работы. Гоголь не ошибался: занятия изобразительным искусством и по степени своей одаренности, и по академической подготовке он был вправе считать своей профессией. Четвертой профессией.

Появление «Важной персоны»

Следующая встреча с Москвой произойдет в 1835 году. В дороге из Петербурга в старую столицу Гоголь с двумя приятелями разыгрывает ситуацию «Ревизора». Один из них едет впереди, оповещая по секрету на станциях о прибытии важной особы. «Важная особа», в роли которой выступает сам Гоголь, никак не представляясь, просто любопытствует, каковы у смотрителей почтовые лошади, и выражает желание их осмотреть. В результате путь оказывается сокращенным почти вдвое: перепуганные «проклятым инкогнито» станционные смотрители спешат избавиться от опасного проезжего, предоставляя ему лучших ямщиков и лошадей.

Эпизод в московской гостинице не зависел от Гоголя, и все же... Приятели занимают общий номер, и к ним неожиданно заявляется очень важный, по определению гостиничного коридорного, господин. Полуодетые друзья пытаются спрятаться за ширмой, выталкивал друг друга, пока оказавшийся перед ширмой Гоголь не узнает в посетителе столь уважаемого им И. И. Дмитриева. Поэт приехал лично пригласить Гоголя к себе на литературный вечер.

В московских домах Гоголя ждали с особым нетерпением, потому что в его руках комедия «Женихих» – первый вариант будущей «Женитьбы», – которую он соглашается читать. Чтение проходит в доме М. П. Погодина (Мясницкая, 12). Авторское исполнение приводит всех в восторг. По словам Погодина, «как ни отлично разыгрывались его комедии, или, вернее сказать, как ни передавались превосходно иногда некоторые их роли, но впечатления они никогда не производили на меня такого, как его чтение». Его поддерживает Аксаков: «Комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора». Кстати, Гоголь приезжает в Большой театр, в ложу Аксаковых, и здесь имеет возможность убедиться, как любит его Москва. Все зрители обращаются в его сторону, все хотят его видеть, так что смутившийся писатель буквально спасается бегством из зала.



В.Г. Белинский. Рисунок К.А. Горбунова. 1838 г.

На чтении «Женихов» в доме И. И. Дмитриева присутствует М. С. Щепкин с дочерьми, готовившимися к поступлению на сцену. По его отзыву, Гоголь – гениальнейший комик и несравненный актер. Писатель же и в юные годы не переоценивал своих театральных способностей. Но никакие восторги и уговоры не убеждают Гоголя отдать пьесу для постановки. Автор считает ее незавершенной, требующей серьезной доработки. Он даже не решается на чтение ее в присутствии так горячо поддерживавшего его в печати В. Г. Белинского. Тем не менее их встреча состоялась в доме Штюромера у Красных ворот (Красноворотский переулок, 3). Иначе его адрес определялся – «у Сенного рынка». С 1890 года рыночную площадь занял сквер. Особняк несколько раз перестраивался, сохраняя тем не менее свои общие параметры и высоту в два этажа. Аксаковы переселились в него из Афанасьевского переулка.

В эти месяцы положение Гоголя было не из легких. С июля 1834 года он был зачислен адъюнктом Петербургского университета по кафедре истории, но выход в начале 1835 года из печати «Арабесок» и «Миргорода» определенно не понравился администрации. Обе книги подверглись резкой критике. Петербургские знакомые не поддерживают писателя, и тогда на помощь ему приходит В. Г. Белинский с двумя великолепными статьями. В «Молве» он печатает «Гоголь, Арабески и Миргород» в «Телескопе» – «О русской повести и повестях г. Гоголя».

Вердикт «Неистового Виссариона» был категорическим: «После „Горя от ума“ я не знаю ничего на русском языке, что бы отличалось такой чистейшею нравственностью и что бы могло иметь сильнейшее и благодетельнейшее влияние на нравы, как повести г. -Гоголя». И прав Анненков, утверждавший, что «настоящим восприемником Гоголя в русской литературе, давшим ему имя, был Белинский»: «Я близко знал Гоголя в это время и мог хорошо видеть, как озадаченный и сконфуженный не столько яростными выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться... Руку помощи в смысле возбуждения его унылого духа протянул ему тогда, никем не прощенный, никем не ожиданный и совершенно ему неизвестный Белинский, явившийся с упомянутой статьей в „Телескопе“ 1835-го года. И с какой статьей! Он не давал в ней советов автору, не разбирал, что в нем похвально, и что подлежит нареканию... – а, основываясь на сущности авторского таланта и на достоинстве его миросозерцания, просто объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего великого писателя».

Ни «Ревизор», ни «Мертвые души» еще не были созданы.

* * *

*O, Москва, Москва! жить и умереть в тебе, белокаменная, –
есть верх моих желаний.*
В. Белинский

В 1829 году будущий великий критик впервые приехал в Москву, чтобы поступить в университет. Его студенческая жизнь оказалась недолгой. Спустя три года Белинский, как автор антикрепостнической пьесы «Дмитрий Калинин», был отчислен из университета.



Дом В.Г. Белинского в Рахмановском переулке

Без средств к существованию, не оправившийся от долго продержавшей его в больнице простудной болезни, он нашел приют у своего знакомого в Рахмановском переулке. Собственно, здесь и началась творческая деятельность Белинского – Рахмановский переулок, дом Лобанова-Ростовского (был – № 4). Это время, когда завязывается его дружба с профессором Н. И. Надеждиным – Белинский становится постоянным сотрудником журналов «Молва» и «Телескоп» – и кружком Н. В. Станкевича, члены которого К. С. Аксаков, И. П. Ключников, Я. М. Неверов – постоянные гости дома в Рахмановском. Из этого кружка вышли, по словам Н. Г. Чернышевского, «или впоследствии примкнули к нему почти все те замечательные люди, имена которых составляют честь нашей новой словесности от Кольцова до г. Тургенева».

Неудобства жилья полностью искупались в глазах Белинского той увлекательной жизнью, которая кипела в его стенах. Они не помешали «неистовому Виссариону» писать брату: «О, Москва, Москва! жить и умереть в тебе, белокаменная, – есть верх моих желаний. Признаться, брат, расстаться с Москвой для меня все равно, что расстаться с раем...»

Улучшившиеся материальные обстоятельства позволяют Белинскому весной 1834 года найти квартиру, независимую от друзей, но уже в середине следующего года он предпочитает снять самую скромную комнатку в том же привычном доме в Рахмановском. Белинский руководит изданием «Телескопа» и «Молвы», пишет свою знаменитую статью «О русской повести и повестях г. Гоголя», по-прежнему принимает самое деятельное участие в кружке Н. В. Станкевича, описанном, кстати сказать, в романе И. С. Тургенева «Рудин» как кружок Покорского.

Последний раз Белинский возвращается на Рахмановский после закрытия журнала

«Телескоп», которое последовало как правительственная мера пресечения за публикацию «Философического письма» П. Я. Чаадаева. Снова испытывавший острую нужду критик начинает здесь работу над учебником «Основания русской грамматики». О быте Белинского в этот период подробно рассказывает навещавший его писатель И. И. Лажечников:

«Внизу жили и работали кузнецы. Пробираться к нему надо было по грязной лестнице; рядом с его каморкой была прачечная, из которой постоянно неслись к нему испарения мокрого белья... Не говорю о беднейшей обстановке его комнаты, не запертой (хотя я не застал хозяина дома), потому что в ней нечего было украсть... я спешил бежать от смраду испарений, охвативших меня... скорей, скорей на чистый воздух, чтобы хоть несколько облегчить грудь от всего, что я видел, что я почувствовал в этом убогом жилище литератора, заявившего России свое имя».

Летом 1837 года болезнь вынудила Белинского ехать лечиться на Кавказ. По возвращении оттуда он переменил квартиру.

Двенадцать лет боролась общественность Москвы за сохранение дома Лобанова-Ростовского. В защиту дома выступала «Литературная Россия», получившая успокаивающие заверения со стороны тогдашнего первого секретаря РК КПСС Свердловского района Москвы т. Глинского. Тем не менее, перейдя в аппарат МГК КПСС, тот же т. Глинский, теперь уже в должности заведующего Отделом культуры горкома, способствовал давно намеченному сносу «строения, недостойного имени великого человека». На месте, где должен был появиться памятный знак, появился уродующий перспективу старинного переулка провал, плотно забитый автомашинами. И снова никаких нарушений закона: разрешение, на снос, снятие с государственной охраны – все было проведено единолично тогдашним зампредом ЦС ВООПИК В. Н. Ивановым, игнорируя мнения членов Общества и Московского городского его отделения. Объяснение, данное задним числом, гласило: не установлено, в какой части дома – левой или правой – находилась квартира Белинского, а какую-то часть все равно надо снести, идя навстречу нуждам города.

Сегодня все это пространство (рядом с Городской Думой) занято многоэтажками пресловутой «точечной» застройки.

* * *

Итак, Гоголь в преддверии «Ревизора». Москва подарила ему не только великое множество «дружеских знакомств», по его собственному выражению, но и то, о чем он мечтал, – безусловное признание его собственного выдающегося актерского дарования. Ведь в лицейские годы он считал себя одинаково «годным» к четырем профессиям, среди которых сцена (после служения справедливости на государственной службе в качестве чиновника!) занимала второе место. Чего стоили слова самого «папаши Щепкина»: «Подобного комика не видел и не увижу! Вот высокий образец художника, вот у кого учиться!» Или отзыв М. П. Погодина: «Какая истина, остроумие! Какие чиновники на сцене, какие канцелярские служащие, помещики, барыни! Талант первоклассный».



Ф.Ф. Кокошкин

Гоголю удается познакомиться с Федором Федоровичем Кокошкиным, создателем московской казенной сцены и талантливым режиссером. Его «Соловьиный дом» на Арбатской площади (Никитский бульвар, 6) был настоящим театральным центром Москвы. Кокошкин предоставлял здесь квартиры ведущим актерам Московской конторы императорских театров и, по своему усмотрению, тем из начинающих, которые заявляли о недюжинных своих способностях, так он, исходя из московских разговоров, разыскал на клиросе соборной церкви Новоспасского монастыря певчего с удивительно красивым и сильным голосом. Помощник приказчика на торговле лесом Николай Лавров никогда не бывал в театре, но Федор Федорович сходу предложил юноше поселиться у него и немедленно начать учиться. Лавров сначала отказался, но потом пришел к Кокошкину, был поселен в «Соловьином доме», откуда через год с небольшим вышел великолепным оперным певцом с большими актерскими возможностями. На открытии Большого театра он дебютировал в роли Аполлона и, по словам С. Т. Аксакова, «очаровал зрителей... прежде чем они могли очнуться от забвения и приветствовать в нем актера». Николай Владимирович Чиркин (по сцене – Лавров) превосходно играл Шекспира, в жанровых ролях не уступал самому «папаше Щепкину» и был первым исполнителем роли Мельника в драматической постановке пушкинской «Русалки». Итальянские знаменитости с восторгом писали о необычайно широком лавровском диапазоне голоса: он пел партии от теноровых до басовых. А среди москвичей долго держалось убеждение, что Аполлон, управляющий квадригой на фронтоне Большого театра, вылеплен именно с Лаврова.

В 1835 году в «Кокошкинской академии» жил и композитор Варламов, написавший в этих стенах свыше семидесяти своих и поныне остающихся в репертуаре вокалистов романсов. Гоголь по-своему способствовал популярности и без того широко известного композитора: Хлестаков в «Ревизоре» напевает варламовский «Красный сарафан»: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан. Не входи, родимая, попусту в изъян...» И как тут не упомянуть, что Варламов был одним из гостей пушкинского «мальчишника» накануне свадьбы поэта, а у самого него целую неделю гостил гастролировавший в Москве Ференц Лист.

С «Соловьиным домом» связаны имена десятков деятелей культуры, но ни абсолютная историческая ценность бывшей усадьбы князей Шаховских, ни бурные протесты москвичей не спасли старого дома. Он был снесен за два часа до приезда на Арбатскую площадь для закладки часовни Борисом Ельциным. Старая, начала XVIII века, кладка упорно не сдавалась, и целый фронт могучих бульдозеров раз за разом повторял атаку на историю под ливневым потоком воды пожарных брандспойтов. И странная символика: дом, заявленный на охрану, уничтожался именно в то время, когда в Мелехове проходил юбилейный съезд

театральных деятелей, посвященный памяти Михаила Чехова. Именно в «Соловьевом доме» долгие годы жил сам Чехов, работала его знаменитая студия и была написана чеховская книга о сцене. На образовавшемся пустыре долго размещалась платная автостоянка, затем по выходным дням ютился рынок. Сегодня пустырь ждет многоэтажной застройки некоего гостиничного и торгового комплекса, само собой разумеется, не на московский – на «интернациональный» манер.

Гоголь в полном смысле теряется от множества именитых московских знакомств. Среди них оказывается Денис Давыдов, только что приобретший свой знаменитый «Пречистенский дворец» (Пречистенка, 17-а) и Е. А. Баратынский, первые годы своей семейной жизни проведший в доме родителей жены, в переулке, который так и не может обрести своего настоящего названия. Еще недавно он был улицей Станкевича (№ 6), сегодня стал Вознесенским, хотя с конца XVIII века и до 1922 года оставался Большим Чернышевым по имени генерал-губернатора Москвы графа Захара Григорьевича Чернышева. Герой Семилетней войны, приведший свои полки в 1760 году в Берлин, генерал-фельдмаршал З. Г. Чернышев стал и строителем «Дома Мессовета», выкупленного затем у его вдовы для официальной резиденции правителей города.

Дом Баратынского был по-настоящему знаменитым в Москве. Гоголь побывал здесь в древних палатах Сумароковых. В дальнейшем дом перешел в семью Станкевичей, а после Октября в дворовой его части поселился архитектор И. В. Жолтовский, до самой своей кончины сохранявший нетронутым кабинет, который видел Гоголя, – с потолком, расписанным гризалью, штучными паркетными полами, тонкой лепниной по стенам. Нет на доме и никаких памятных досок, если не считать слишком грузного памятного барельефа Жолтовского. Тем более трудно говорить о сохранении каких бы то ни было исторических элементов. Судя по мелькнувшему у дома транспаранту, его переделка предпринимается фирмой кутюрье В. Юдашкина.

* * *

«Всякий раз, как еду мимо него, любуюсь им; это отель или дворец, а не дом».

Д. В. Давыдов – П. А. Вяземскому. 1835

Может быть, мечтал об этом доме Денис Давыдов еще в детстве, которое прошло на той же Пречистенской улице. Здесь он родился, и юные годы поэта делились между московской улицей и отцовским поместьем – селом Бородино, у которого разыгралось легендарное сражение. Дом значился под № 201 пречистенской части и составлял тогда собственность генерал-майора Гаврилы Бибикова, брата печальной славы «усмирителя» Пугачева, отца двух декабристов. Двухэтажный, каменный, в глубине окруженного флигелями двора, он рисовался одной из тех городских усадеб, которыми была так богата допожарная Москва... Этому дому немалую известность принес и крепостной музыкант Бибиковы Данила Кашин, композитор и дирижер капеллы. Он первый введет в Москве практику авторских концертов, а его хоры, вроде «Защитники Петрова града», будут исполняться по всей России. В 1831 году здесь побывает на балу Пушкин, а еще через четыре года дом перейдет к Денису Давыдову. Переменив после выхода в отставку несколько московских квартир, поэт решится на покупку бибиковских владений. Дом будет им приобретен на имя жены – «генерал-лейтенантиши Софьи Николаевны».



Дом поэта Дениса Давыдова

«Пречистенский дворец» назовет его Д. Давыдов. Здесь будет написана знаменитая «Современная песня», стихотворения «Листок», «Я помню». Здесь побывают Е. А. Баратынский, П. А. Вяземский, Н. М. Языков, М. П. Погодин, герой Кульма и Бородина, кузен хозяина А. Е. Ермолов. Д. Давыдов мечтает видеть, своим гостем Пушкина, Но этой встрече не суждено было состояться. Всего через несколько месяцев после новоселья Д. Давыдов посыпает Пушкину в Петербург стихотворную «Челобитную», незамедлительно опубликованную в № 3 «Современника» за 1836 год. В шутливой форме поэт просит своего старого знакомца сенатора А. А. Башилова ведавшего Московской комиссией по строениям, помочь продать «Пречистенский дворец» в казну. Сам Д. Давыдов объясняет свое неожиданное желание привычкой к походной жизни... Он досадует на близость располагавшегося через улицу пожарного депо, о существовании которого, впрочем, хорошо знал и до покупки. По всей вероятности, немалую роль в разочаровании поэта сыграли возникающие между супругами разногласия. С. Н. Давыдова с первых же дней деятельно занимается переделкой дома, в которой поэт не принимает участия. Строительные работы скорее раздражают его. В последнем письме из «Пречистенского дворца» П. А. Вяземскому от 23 мая 1837 года Д. Давыдов напишет: «Что мне про Москву тебе сказать? Она все та же, я не тот...» Состояние меланхолии было усилено гибелью Пушкина, глубоко пережитой Д. Давыдовым. В письмах с Пречистенки рождается своеобразная эпитафия поэта: «Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям я был и виновником и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою, подобно смерти Пушкина... Какая потеря для всей России!»

Последние годы своей жизни Д. Давыдов проводит в поместье. В 1841 году «Пречистенский дворец» числится уже собственностью баронессы Е. Д. Розен. Новая владелица распорядилась им по-новому: левый флигель сдается под хлебную лавку, правый под слесарное, седельное и портное заведения. В 1861 году в том же правом флигеле располагается одна из первых в Москве фотографий «художника императорской Академии фотографа И. Я. Красницкого». А в течение семидесятых – восьмидесятых годов при очередной владелице Е. А. Голицыной были переделаны фасады обоих флигелей, которые приобрели сохранившийся до наших дней вид. И только центральная часть «Пречистенского дворца» в своем почти не изменившемся облике пушкинских дней живо напоминает о поэте-партизане и его друзьях...

На этот раз Гоголь разыскивает своего приятеля по Нежинской гимназии А. П. Редкина, с которым вместе занимался в гимназическом литературном кружке. Редкин завершил свое образование в Берлинском университете, где слушал лекции Гегеля по логике и истории философии, и стал профессором энциклопедии права Московского университета. Близкий приятель Герцена, он отличался редкими ораторскими способностями, по словам современников, буквально «завораживая толпы стремившихся на его лекции студентов». Гоголь бывал в его замосковрецком доме (Большая Полянка, 30).



Квартира П.В. Нащокина

Неожиданной кажется завязавшаяся дружба Гоголя с Александром Осиповичем Армфельдом, ординарным профессором Московского университета. Он изучал медицину в Московском и Дерптском университетах, в 1833 году получил степень доктора медицины. С 1837 года Армфельд вступил в должность профессора судебной медицины, медицинской полиции, энциклопедии, методологии, истории и литературы медицины. Эти добрые отношения тянулись долгие годы. Гоголь навещал знакомца на его казенной квартире при Сиротском институте Московского Воспитательного дома (Солянка, 12). В кругу знакомых Гоголя появляется и Алексей Дмитриевич Галахов, чье имя в истории русского образования связано с выдержавшей 42 издания знаменитой «Русской хрестоматией», которая ввела в обиход учащихся творчество Лермонтова, Гоголя, Тургенева (первое издание вышло в 1842 году). Почти ровесник Гоголя, Галахов окончил Московский университет по математическому факультету и начал работать помощником инспектора студентов при том же Московском университете. Как литератор, Галахов выступает в печати с 1820-х годов, сотрудничая в «Московском телеграфе» и «Сыне Отечества» Н. Полевого, «Телескопе», «Московском вестнике» М. Погодина, впоследствии в «Отечественных записках», но едва ли не самым дорогим становится для Гоголя знакомство с другом Пушкина Павлом Воиновичем Нащокиным.

Один из ближайших и любимейших друзей Пушкина, Нащокин был товарищем его младшего брата Льва, с которым вместе учился в Благородном пансионе при Царскосельском лицее. Широкий по натуре, до крайности безалаберный, превосходный рассказчик, Павел Воинович подарил Пушкину целый ряд сюжетов, среди них рассказ о помещике Островском, который лег в основу пушкинского «Дубровского». Влюбившись в знаменитую актрису Асенкову, Нащокин умудрился, переодевшись в женское платье, поступить к ней в горничные, что подсказало поэту сюжет «Домика в Коломне». Нащокин увлекался спиритизмом, алхимией, в 1829 году выкупил из цыганского хора Ильи Соколова певицу Ольгу Солдатову, от которой приобрел двоих детей. Крестным отцом одной из дочерей Ольги стал Пушкин, находившийся с певицей в очень добрых отношениях. Тем более Солдатова была сердечной подругой нежно любимой Пушкиным Танюши Демьяновой. Это к Танюше в хор постоянно приезжал Пушкин перед своей свадьбой и по

его просьбе Таня спела ему – «сама не пойму почему!» – песню «Что, матушка, во поле пыльно», которую поэт счел дурным предзнаменованием для своей будущей семейной жизни. В поздних письмах жене из Москвы Пушкин жаловался, какой Содом и Гоморра стоят в доме Нащокина, какой нескончаемый поток посетителей, гостей званых и незваных, а особенно кредиторов слоняется по его дому.

«Здесь мне скучно, – писал Пушкин из Москвы жене в декабре 1831 года. – Нащокин занят делами, в доме его такая бестолочь и ералаш, что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный вход, всем до него нужда, всякий кричит, курит трубку, обедает, пьет, пляшет,угла нет свободного – что делать? Между тем денег у него нет, кредита нет... Вчера нам Нащокин дал цыганский вечер, я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова болит».

Но Гоголь попадает к Нащокину, полностью переменившему образ своей жизни. По совету Пушкина он расстается, хотя и тайком, без прямого объяснения, с Ольгой и женится на побочной дочери своего троюродного дяди Вере Нагаевой, которой удается внести в жизнь Павла Воиновича относительный порядок и благоустроенность. После первого же визита Гоголя в нащокинском доме в Воротниковском переулке, 12 (дом достроен полным вторым этажом вместо мезонина), Вера Нащокина записывает, что Николай Васильевич бывает у них постоянно. Вера Александровна замечает, что Гоголю особенно нравилась «сердечность и простота нашей обстановки, а я с ним могла говорить часами, не переставая».

Нащокины «из Гнездников»

Это были слова, предсказавшие действительный смысл разыгравшейся трагедии: «Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев». Пушкин скажет их Данзасу на обратном пути с Черной речки. Воспоминания далекой юности – еще в лицейские годы они познакомились с Руфином Ивановичем Дороховым, воспитанником Пажеского корпуса, известным «неукротимым нравом и буйными выходками», недаром для Л. Н. Толстого он стал прототипом Долохова в «Войне и мире». Не один раз Руфину Дорохову приходилось расплачиваться за эти выходки разжалованием в рядовые. Расплата тех, кто вступал с ним в конфликт, подчас оказывалась неизмеримо выше. В 1819 году на дуэли им был смертельно ранен поручик лейб-гвардии Московского полка, участник Отечественной войны 1812 года Михаил Николаевич Щербачев. Дом в Большом Гнездниковском переулке (№ 3) был его родным домом. Обстоятельства сложились так, что Пушкину и позже приходилось в нем бывать.

Нащокины – семья, со многими членами которой был знаком и дружен поэт. Александр Петрович – тайный советник, действительный камергер, отец многочисленного семейства. Пушкин навещал его в московском доме, на углу Скатертного и Мерзляковского переулков, где А. П. Нащокин жил со своей гражданской женой, крепостной Дарьей Нестеровной Нагаевой, и дочерью Верой Александровной, будущей супругой Павла Воиновича, троюродного брата ее отца. Это были Нащокины «из Гнездников», особенно к ней расположенные.



И.В. Самарин

Петр Александрович, участник Отечественной войны 1812 года, известный адъютант Д. С. Дохтурова, стал владельцем дома благодаря женитьбе на Анне Михайловне Еропкиной. Супруги игнорировали те предрассудки, которые ставили дочь крепостной в сложное и двусмысленное положение. В то время как родная сестра Павла Воиновича Анастасия Воиновна, ставшая женой другого знакомца Пушкина – Матвея Алексеевича Окулова, слышать не хотела о браке брата с незаконнорожденной, Нащокины «из Гнездников» всячески привечали молодую. Раз за разом Дарья Нестеровна пишет дочери, уехавшей с мужем в Тулу, что «Анна Михайловна всегда о тебе спрашивает и приказала кланяться», «Анна Михайловна три раза приказывала тебе кланяться и сказать тебе, что любит тебя еще больше. Вот какое дело-то». Лето Нащокины «из Гнездников» проводили в принадлежавшем им великолепном Рай-Семеновском, родовой нащокинской вотчине, которая собирала под свой кров всю многочисленную семью. Славилось поместье усадебным ансамблем, огромным парком и единственным в то время под Москвой курортом. К усадьбе примыкал целый курортный поселок из трех улиц, на которых располагалось около тридцати специальных построек: гостиницы, здания ванн, аптека. Над четырьмя источниками были сооружены окруженные открытыми колоннадами беседки. К тому же в парке существовал крепостной театр.

Петр Александрович переписывался с Пушкиным. В одном из писем от середины декабря 1836 года есть строки: «Я к тебе писал с П. А. Нащокиным, не знаю, получил ли ты мое письмо или нет». Имелся в виду младший брат Петра Александровича Павел Александрович, иначе «эпикуреец Нащокин», знакомец Пушкина еще по Царскому Селу, входивший в веселое гусарское окружение П. Я. Чаадаева. Ограничивалялся ли поэт перепиской с милыми его сердцу людьми или бывал и сам в их московском гнезде? Так или иначе это его среда, те, с кем он отдыхал сердцем.

По всей вероятности, рай-семеновский театр не оставил безразличной дочь Нащокиных «из Гнездников», которая в начале 1840-х годов выходит замуж за Константина Августовича Тарновского. Родительский дом становится одним из театральных центров Москвы.

После окончания Московского университета К. А. Тарновский работает некоторое время секретарем репертуара Московской дирекции императорских театров, позже – инспектором репертуара. Около полутораста сочиненных и переведенных им пьес с успехом идет на русской сцене. В московских и парижских газетах он был известен как талантливый театральный критик, пользовавшийся, впрочем, псевдонимами Семен Райский – в память нащокинской подмосковной – и Евстафий Берендеев. Широкой популярностью пользовались

создаваемые им романсы – Тарновского относили к числу несомненно талантливых музыкантов.

Ведущие актеры брали или специально заказывали для бенефисов его пьесы. П. М. Садовский выбирает «Живчика», Д. Т. Ленский – «Пансионерку», С. В. Шумский – «Взаимное обручение» и «Назвался груздем – полезай в кузов», И. В. Самарин – «Фофочку», М. Д. Львова-Синецкая – «Не бывать бы счастью, да несчастье помогло», танцовщица К. А. Санковская – водевиль «Мотя». И чаще всего первые читки, а то и репетиции проходили на Большом Гнездниковском. Здесь к перечисленным бенефициантам присоединялись М. С. Щепкин, В. И. Живокини, С. В. Васильев, Е. Н. Васильева, Л. П. Никулина-Косицкая, Н. М. Медведева, блистательно игравшая роль молодой жены графа Кавальканти в драме Тарновского «Замок Кавальканти».

Первое представление

Семейные легенды двух знаменитых актерских родов по сути повторяли друг друга. И Щепкин, и Пров Садовский утверждали, что первое представление «Ревизора» в Петербурге не было провалом. Да и о каком провале могла идти речь, когда на премьере зрительный зал блестал самыми именитыми именами, в царской ложе до конца сидел император и по окончании высказался достаточно снисходительно, что досталось, мол, всем, но ему первому и больше всех. А дальше – четыре представления с аншлагом! Такого в театральной жизни часто не встретишь.



Театральная площадь

Душевная трагедия Гоголя? Но на это были естественные причины, не считая особой чувствительности его натуры. Михайла Семенович только покачивал головой: все пресса виновата. Вот она действительно разнесла «Ревизора» в пух и прах. Но на то она и пресса: все знают, кто кому служит, за какие деньги, награды и высочайшее благоволение. На них равняться, так и «театра для публики» не станет. В разговорах Садовского было уточнение: Николай Васильевич на все глядел «из печати», а они, актеры, «из театра». И пьеса – кто бы этого не понял! – удалась, и актеры не подкачали. Не случайно же игравшего Городничего Сосницкого многие сравнивали с «папашей Щепкиным». Были любители одного, были любители и другого. Главным образом в Петербурге. Просто И. Сосницкий, Каратагин на этом особенно настаивал, играл столичного чиновника, а Михайла Семенович – заштатного,

провинциального, о котором Сосницкий по-настоящему и представления не имел. Отсюда столичная публика и «узрела указующий перст», направленный прямо на себя. Вот и пошли разговоры о вульгарности и «низком жанре», который не стоит и смотреть. Николаю Васильевичу бы разобраться: не для петербургского зрителя пьесу писал, ой, не для петербургского.

У Михайлы Семеновича соображения другие еще были: зря Николай Васильевич не дал пьесу на премьеру в Москву. И впечатление бы вынес другое, и бежать от черных мыслей за границу бы не пришлось. В семье Садовских осталось выражение прадеда: «Слаб человек, хоть и великий, а все человек: в столице слава слаше кажется».

И еще о постановке: слишком много Николай Васильевич сам хлопотал, во все вмешивался, каждому артисту хотел его роль растолковать. Вот в Александринке они – сами жаловались – «совсем с резону и сбились», не знали, как ступить, как повернуться.

Не лучше, конечно, и с Москвой вышло. Сначала все шло как по нотам (восстановить не трудно). Чтение пьесы состоялось в Петербурге у Жуковского 18 января 1836 года. Тринадцатого марта последовало цензурное разрешение, а через месяц, 19 апреля, первое представление. Москва отстала еще на месяц: премьера прошла 25 мая. Текст автор прислал Михайле Семеновичу с просьбой, чтобы сам он на сцене «Ревизора» и поставил. Михайла Семенович наотрез отказался: добиваться от товарищей того, что сам хочешь, ему не с руки. Толку не добьешься, а отношения на всю жизнь испортишь. Так и написал Николаю Васильевичу, хотя и трудно, очень трудно далось ему это письмо. Тогда автор придумал поручить постановку Аксакову, чтобы тотставил, а его указания Михайла Семенович актерам передавал. Получилось совсем плохо. Мало того, что все запуталось, да еще Загоскин разобиделся, что за его директорской спиной в словор вступают.

Короче, ставили без режиссера, делали кто во что горазд, а получилось, хоть и не с первого представления, совсем неплохо: больно материал был понятен и близок.

Незадолго до своей кончины, вскоре после Великой Отечественной войны, Пров Михайлович Садовский-младший, руководивший Малым театром, зайдет с учениками Щепкинского училища в Талызинский сад, попробует вспомнить семейные легенды, попробует войти со студентами в самый дом. Вот только смотреть, оказывается, нечего. За входными дверями были обшарпанные, замызганные двери коммунальных квартир. Где-то рядом ревели примусы. По лестнице сновали служащие размещавшихся на втором этаже учреждений. Стучали пишущие машинки. Звенел телефон. И грязь. Непролазная вековая грязь покрывала полы былых сеней, облезлые стены, немытые окна «прихожей»... И вот тогда, выйдя в такой же обшарпанный двор, Пров Михайлович вспомнил, что говорил Щепкин о «Ревизоре», что это такая пьеса, в которой нельзя хорошо сыграть одну или даже несколько ролей, что это «пьеса душевного трепетания» – перед начальством большим и малым, перед всеми сильными мира сего. «Трепетания» от страха, желания во что бы то ни стало угодить, выслужиться. Пусть цели прямой нет, пусть на своем крохотном местечке и ждать нечего, а все равно «трепетание». «Вот если все актеры по этому камертону себя настроят, – повторил Садовский-младший, – все остальное у них само придет, у каждого свое, собственное. Пьеса в своем роде единственная, и играть в ней как музыканту в оркестре – истинное удовольствие».

Михайла Семенович чувствовал, что Гоголь и сам понял, в конце концов, собственный просчет с двумя столицами. И – сменил для Хлестакова модный опереточный мотивчик на самый популярный романс московского композитора А. Варламова, с которым познакомился у М. Д. Львовой-Синецкой. Оба они жили, благодаря Ф. Ф. Кокошкину, в «Соловьевом доме». Да и название «Соловьевого» пошло от Варламова.

Иван Александрович и «Красный сарафан»

Удача. Неужели удача? После стольких лет просьб, унижений, почти нищеты. И вдруг – должность помощника капельмейстера казенной сцены вместо обязанностей учителя певчих придворной капеллы. Годовой оклад в две тысячи рублей вместо тех тысячи двухсот, которые едва позволяли сводить концы с концами. Наконец, казенная квартира с фортепиано, на приобретение которого он так и не сумел скопить средств.



М. Д. Львова-Синецкая

Он любил повторять: «Не надо мне сто рублей, лучше – сто друзей». До сих пор приятели поддерживали его в тяжелую минуту разве что словом. А вот Михаил Николаевич Загоскин, прославившийся романом «Юрий Милославский» и только что назначенный директором московских театров, решил забрать Варламова с собой в Москву. И на каких сказочных для скромнейшего из музыкантов условиях! Правда, какая-то горечь в душе оставалась. Прощаясь с Петербургом, он прощался с юностью, далеко не до конца осуществлявшимися надеждами на путь инструменталиста-исполнителя и певца. Кроме них, ничего и не было в жизни у Варламова. Не могло быть.

Стесненное в материальном достатке детство. Отец – молдаванин, поступивший на русскую военную службу и добившийся всего лишь самого низшего офицерского чина, не мог позаботиться об образовании сына.

По счастью, у того очень рано определился на редкость красивый голос, который открыл ему в десять лет двери придворной капеллы. Единственная связанная с расходами просьба мальчика – купить скрипку – была отцом удовлетворена. Шестнадцати лет Александра Варламова переводят во взрослую часть капеллы и дают чин XIV класса, иначе – титулярного советника. С ним он и уйдет из жизни – ничего не приобретет на служебном пути.

И тем не менее не так уж и плохо все складывалось. Руководивший капеллой композитор Бортнянский с самого начала отличал одаренного ученика, который самоучкой овладевал и скрипкой, и виолончелью, и фортепиано, и совсем неожиданно – гитарой. На склоне лет маэстро порекомендует своего питомца великой княжне Анне Павловне, вышедшей замуж за принца Вильгельма Оранского. И восемнадцатилетний Александр Варламов станет учителем придворных певчих в Брюсселе, но главное – получит возможность концертировать.

Он выступает как певец и гитарист. Среди многочисленных восторженных рецензий в брюссельских газетах были и такие строки: «Чистота и беглость игры его на мелодическом инструменте, для многих слушателей неизвестном, возбудили громкие и продолжительные рукоплескания». Подлинная сенсация, теперь уже во Франции, – исполнение Варламовым

вариаций для скрипки Роде в переложении для гитары Андрея Сихры. Музыкант становится настоящей знаменитостью.

У него мягкий характер и натура романтика. Он бесконечно расположен к людям и убежден в их доброжелательности. Эти черты вызывают безусловную симпатию у великой княгини, будущей королевы Нидерландов, которая и сама отличается скромностью, добротой и овеяна романтическим ореолом. Это ее руки так настойчиво добивался Наполеон, и если бы задуманный французским императором брак состоялся, Россия и Европа, вероятно, не узнали всех ужасов кампании 1812-1818 годов, нашей Отечественной войны.

В 1824 году Варламов ведет под венец Анну Шматкову, дочь придворного камердинера, которая должна стать его музой, а в действительности закрывает восторженному мужу путь к каким бы то ни было успехам. Молодая супруга сварлива, неуживчива, требует больших заработков, но, что самое худшее, отличается легкомысленным поведением. Двор принца Оранского приходится покинуть и возвращаться в Петербург.

Только на берегах Невы Варламову не на что рассчитывать. Бортнянского уже нет, и пути в придворную капеллу тоже. С немалым трудом Александр Егорович устраивается преподавать пение в Петербургской театральной школе, обучает певчих Преображенского и Семеновского полков. Между тем один за другим приходят на свет дети, а у жены появляются признаки будущего тяжелейшего недуга – ее все больше тянет к вину. Какие бы воспоминания ни были связаны с Петербургом, в сложившихся условиях Варламов понимал: отъезд в Москву – единственная надежда.

Он знал Москву давно и хорошо. Большой и Малый театры – так называемую казенную императорскую сцену старой столицы. И даже дом, в котором предстояло жить. Москвичи тогда еще не пользовались нумерацией домовладений. Извозчику достаточно было сказать: «К Кокошкину, что у Бориса и Глеба». Последнее, не слишком обычное уточнение объяснялось тем, что директор московской казенной сцены Федор Федорович Кокошkin – государственный чиновник, но и режиссер, и самый восторженный театрал – имел два дома на Арбате. Один – родовой, на Воздвиженке, у Крестовоздвиженского монастыря – сегодня на этом месте сквер у кинотеатра «Художественный». Другой поспешил приобрести, вступив в новую должность, прямо через улицу, за церковью Бориса и Глеба, в начале Никитского бульвара, где проводил литературные вечера, читки пьес, репетиции, оборудовал театральную типографию и квартиры для ведущих артистов. Так было удобно, потому что репетиции, случалось, затягивались до глубокой ночи. Этот-то дом и получил название «Соловьиного». Правда, истинные театралы предпочитали иное название – «Кокошkinsкая академия». Как бы там ни было, Варламову предстояло переступить порог ставшего живой легендой среди артистов и музыкантов дома.

Когда-то отстроенный князьями Шаховскими, позднее принадлежавший любимой племяннице Г. А. Потемкина-Таврического княгине Варваре Васильевне Голицыной, «Соловьиный дом» чудом не пострадал в пожаре 1812 года. Широкие ворота с Калашного переулка вели во двор, полный частных и казенных театральных карет. Крылья флигелей большого дома смыкались у погоста церкви Бориса и Глеба. Гудели колокола соседнего Крестовоздвиженского монастыря, плыли звоны кремлевских соборов. Толпа на Арбатской площади торговала, разбирала воду из большого фонтана, спешила в итальянскую оперу, размещавшуюся в апраксинском доме, растекалась по бульварам с еще не восстановленными после пожара особняками, вновь посаженными садами. Было шумно, ярко, весело, и Варламов, привыкший к чисто прибранныму Петербургу, к западным городам, неожиданно для себя испытал, как признавался, чувство возвращения. Возвращения в родные места.

Его ждут в десятках домов как давнего знакомца. Пушкин приглашает в числе самых близких приятелей на «мальчишник» в канун свадьбы. И как бы ни пытались советские пушкиноведы поймать участников «мальчишника» на ошибке – дескать, перепутали композитора Варламова с композитором Верстовским, который, по их мнению, должен был

бы там быть, – приятели поэта упрямо называли именно его имя.

Пушкин «накануне свадьбы был очень грустен, и говорил стихи, прощаясь с молодостью (был Варламов), ненапечатанное. Мальчишник. А закуска из свежей семги. Обедало у него 12 человек – Нащокин, Вяземский, Баратынский, Варламов, Языков...» Другой свидетель: «Собралось обедать человек 10, в том числе были Нащокин, Языков, Баратынский, Варламов, кажется, Елагин (Алексей Андреевич) и пасынок его Иван Васильевич Киреевский».

«Мальчишник» собрался 17 февраля 1831 года, и едва ли не с тех же дней Варламов становится постоянным гостем соседней квартиры в «Соловьевом доме» – его вводят в салон Марии Дмитриевны Львовой-Синецкой.

…Друзьям оставалось только недоумевать. Пушкин, такой взыскательный и ревнивый к своим произведениям, дал согласие на инсценировку «Цыган». И где – в Большом театре в Москве, из которой уехал около полугода назад с молодой женой и где оставил столько литературных собратьев, мнением которых особенно дорожил.

Положим, за переделку брался Василий Андреевич Каратыгин, прославленный петербургский трагик, увлекавший Пушкина своей игрой еще до ссылки поэта на юг. Неплохой переводчик, чьи книги с дарственными надписями хранились в пушкинской библиотеке. Наконец, муж не менее ценимой современниками актрисы Александры Колосовой.

Но ведь и то известно, что отношения Пушкина с театральной семьей не были ровными. Каратыгин хлопотал о бенефисе московской звезды Львовой-Синецкой. Это ее коротенькая записочка к Пушкину вызвала немедленный и благожелательный его ответ. Хотя «Цыганам» не отводилось даже сколько-нибудь почетного места в раскладе бенефиса. Сначала должна была играть драма «Вина» в двух действиях любимого артисткой Э. Скриба, затем написанная им же в соавторстве с Мельвилем одноактная комедия «Другой год брака, или Кто из них виноват?» и лишь в заключение – картина из пушкинской поэмы с Львовой-Синецкой в роли Земфиры.

Авторы выпущенной в 1978 году истории Малого театра приписали любимице московской публики чуть ли не ходульность и неспособность передавать подлинную страсть. Пушкину актриса виделась иной. К ней у него было особое, какое-то даже несвойственное ему отношение – без намека на флирт, без насмешек и колкостей, вообще без обсуждения Марии Дмитриевны с приятелями. Предупредительность, внимание, почтительность и это на всем протяжении без малого двадцатилетнего знакомства.

В любой стране о ней были бы написаны тома. Ее имя знал бы каждый выученик театральной школы, не говоря об историках или любителях театра. Но не в России. Те же авторы последней по времени выхода истории Малого театра с полным безразличием констатируют, что ничего не знают о происхождении актрисы, ни о ее протекавшей на глазах всей Москвы жизни. Семья, родные, обстоятельства биографии – все покрыто мраком неизвестности. А между тем 35 лет из года в год в самый разгар сезона, обычно в январе, Москва переполняла Большой театр ради бенефиса актрисы, ради ее поразительной игры и не менее интересного репертуара, который она умела подбирать как никто другой. Сказывалось превосходное знание отечественной и западной драматургии, которую Мария Дмитриевна читала в подлиннике, и безукоризненный вкус, вызывавший восторги профессоров Московского университета вроде Н. И. Надеждина и его студентов И. А. Гончарова и Ф. И. Кони. Все они были постоянными посетителями ее салона.

Львова-Синецкая открывала москвичам Шекспира в «Укрощении строптивой» и «Корiolане», Виктора Гюго в «Соборе Парижской Богоматери», Гёте в «Клавиго», французских романтиков от Э. Скриба до Ж. Ж. Озанфана и В. Дюканжа. Для нее ставятся инсценировки «Тараса Бульбы» Гоголя, лермонтовский «Маскарад», драма «Людмила и Люба» Евдокии Ростопчиной, «Безумная» по повести Ивана Козлова, «Басурман» Лажечникова, комедии ее учителя князя Шаховского. Многие из этих постановок играли единственный раз в бенефис и все равно оставались в анналах театральной жизни Москвы.

Безвестная провинциалка, как предполагают официальные биографы. Но как быть с тем, что Пушкин познакомится с Львовой-Синецкой сразу по выходе из Царскосельского лицея в высшем свете Петербурга? Едва ли не единственная попытка поэта попробовать себя на подмостках – Пушкин играет в «Воздушных замках» Н. Н. Хмельницкого, которые ставятся в доме Олениных. В спектакле участвует профессиональная артистка прославленная Екатерина Семенова и такая же, как Пушкин, любительница Львова-Синецкая.

Еще в 1814 году благодаря князю Шаховскому Мария Дмитриевна получает возможность выступить в спектаклях профессиональной труппы. Ее способности очевидны, успех не вызывает сомнений, но ей всего девятнадцать, и то ли семейные обстоятельства, то ли предрассудки не позволяют ей сделать решительный шаг. Только через девять лет после первых опытов, уже зрелым человеком, Львова-Синецкая решается уйти на профессиональную сцену.

Этому способствовало счастливое стечenie обстоятельств. По всей вероятности, главным становится назначение Федора Федоровича Кокошкина на должность управляющего московскими казенными театрами. До этого завсегдатай театрального «чердака» князя Шаховского, где собирались все петербургские любители театра от Пушкина и Грибоедова до Загоскина. Кокошkin состоял членом Конторы Дирекции императорских театров в Петербурге. В Москве перед ним открывалось широкое поле деятельности, по сути, никем не ограниченной и не проверяемой. Его предложение вступить в московскую труппу было Львовой-Синецкой принято.

В 1823 году новая актриса оказалась в древней столице. И для первого же ее московского бенефиса старый петербургский знакомец А. С. Грибоедов пишет комедию «Кто брат, кто сестра?», где мужскую и женскую роли блистательно исполняет Мария Дмитриевна.

Это первая зима, которую проводит в Москве Грибоедов после ухода в армию в 1812 году. По каким-то причинам до того времени ему приходилось бывать в родном городе лишь проездом. Теперь он привез с Кавказа первые два акта еще незаконченной комедии, живет в доме армейского друга Степана Бегичева на Мясницкой, проводит время в театрах и на званых вечерах, собирает, по его словам, впечатления для «Горя от ума». И, конечно же, бывает у Марии Дмитриевны в «Соловьевом доме». Очень дорожит добрыми отношениями с ней. Будто догадывается, что именно Львовой-Синецкой доведется стать первой исполнительницей роли Софьи, когда в Москве удастся осуществить постановку комедии.

Критики не замедлят обрушиться на актрису за неверное, с их точки зрения, истолкование роли. Еще бы! Вместо кисейной барышни, неумной и жеманной, она сыграет девушку с сильным характером, все еще влюбленную в Чацкого, обманутую в своей первой любви к нему и отчаянно борющуюся с былым чувством ради израненного самолюбия. Слишком сложно и неуместно, утверждали критики.

Исследователи наших дней покажут, Львова-Синецкая была права. Актриса догадывалась – не исключено, что просто знала, – о душевной драме Грибоедова, сложной, перевернувшей всю его жизнь первой любви.

Варламов близко познакомится с Марией Дмитриевной как раз во время выхода «Горя от ума». Но едва ли не большее впечатление на него производит относящаяся к тем же первым месяцам пребывания в Москве ранняя смерть Николая Цыганова. Первый русский бард, о котором все сумели забыть. Актер московской казенной сцены, поэт, оказавший большое влияние на Кольцова. Цыганов сам исполнял свои стихи под гитарный аккомпанемент. Говорили, что такой прием ему подсказала Львова-Синецкая. Цыганова почти всегда можно было найти в гостиной Марии Дмитриевны. И не безнадежная ли любовь к артистке сводит тридцатичетырехлетнего Николая Григорьевича в могилу? Варламов оказывается у его гроба и разделяет его участь: образ Марии Дмитриевны заполняет всю его жизнь. Не видеть ее, не говорить с ней, не бывать у нее каждый день становится для Варламова невозможным.

Между тем в характере Марии Дмитриевны нет и тени легкомыслия. Она не кокетлива

и, возможно, именно потому, что не ищет поклонников, приобретает их множество. Она увлечена театром, способна часами говорить о ролях и пьесах. Спокойный взгляд ее темных глаз скорее завораживает своей глубиной, чем обещает неожиданные переживания. О ней отзываются ее университетские знакомые: она «видит человека и сквозь человека». Природная доброта и великодушие не мешают актрисе быть очень требовательной к себе, к товарищам по сцене. С ней каждый раз познаешь новые глубины человеческой души, признается также безнадежно влюбленный в Марию Дмитриевну великий трагик Павел Мочалов. Это ей, своей неизменной партнерше по сцене, посвящает он скорбные строки: «Ах, нет, друзья, я не приду в беседу вашу». 27 ноября 1831 года в первом спектакле «Горе от ума» он выйдет на сцену вместе с Львой-Синецкой – блестательный Чацкий, неразгаданная и страдающая Софья.

Судьба так рано умершего Цыганова не оставила равнодушным никого из его товарищей-актеров. Михайла Семенович Щепкин забирает в свою семью осиротевшую и лишенную средств к существованию мать Николая Григорьевича. Мария Дмитриевна помогает старушке деньгами, хлопочет о пенсии и подсказывает Варламову возможность сочинить музыку на стихи Цыганова и ее издать.

В январе 1833 года в «Молве» появляется сообщение: «Песни сии и отдельно от музыки имеют свое достоинство, но вместе с прекрасными голосами г. Варламова составляют весьма приятный подарок на Новый год и для литературы, и для любителей музыки... Воспоминание о человеке с дарованиями, так рано кончившим жизнь свою есть достойная ему дань». Конечно, Варламов и раньше пробовал свои силы в сочинении музыки, но на сей раз действительно состоялось его рождение как композитора. Известного. Любимого. И влюбленного. Лучший из романсов сборника – «Красный сарафан» – был посвящен Львой-Синецкой.

В истории русской музыки трудно найти другой пример такого успеха и популярности. В считанные дни «Красный сарафан» облетает всю Россию. Романс пели в великосветских гостиных и в деревнях, в провинциальном захолустье и на сцене. Гоголь заставит напевать «Красный сарафан» своего Хлестакова, а Полина Виардо будет непременно исполнять на своих концертах. Современник вспоминал: «Мы были свидетелями, как Виардо обрадовалась, встретив случайно в одном доме господина Варламова; она тотчас же села за фортепиано и пропела его „Сарафан“.

По рассказу А. О. Смирновой, Пушкин женихом просил свою невесту Наталью Николаевну не петь ему «Красного сарафана», иначе он с горя уйдет в святогорские монахи. Насмешливый В. Соллогуб писал: «У нас барышень вдоволь. Все они по природному внушению поют варламовские романсы... Кончился стол. „Олимпиада, спой что-нибудь“.– „Маман, я охрипши“.– „Ничего, мой друг, мы люди не строгие“. Сережа кланяется, подает стул, и Олимпиада просит свою маменьку самым жалобным голосом не шить ей красного сарафана. „Браво! – говорит Сережа. – Прекрасная метода...“.

Даже спустя сто лет Голосуорси в «Конце главы» обратится все к тому же околовавшему всю Европу романсу. «Ты обедал, Рональд?» – Ферз не ответил. Он смотрел на противоположную стену со странной и жуткой усмешкой. «Играйте», – шепнула Диана. Диана заиграла «Красный сарафан», она вновь и вновь повторяла эту простую и красивую мелодию, словно гипнотизируя ею безмолвную фигуру мужа».

Кроме «Красного сарафана», в первом сборнике Варламова-Цыганова были романсы «Ох, болит да щемит», «Что это за сердце», «Молодая молодка в деревне жила», «Смолкни, птичка-канарейка», «Ах ты, время, времечко», «Что ты рано травушка». Одно сочинение следовало за другим, а все вместе они приносят – не без деятельного вмешательства Марии Дмитриевны – решительный поворот в судьбе Александра Егоровича. Уже в 1834 году он получает место «композитора музыки» при оркестре московских казенных императорских театров. Это было полным и неоспоримым признанием. Одновременно Варламов начинает издавать музыкальный журнал «Эолова арфа», где наряду с собственными печатает произведения М. И. Глинки, А. Н. Верстовского и других современных композиторов.

Восемьдесят пять первых и лучших романсов за десять лет жизни в Москве, в «Соловьевом доме». «Белеет парус одинокий», «Горные вершины» – на слова Лермонтова, «Скажи, зачем явилась ты», «Что отуманилась, зоренька ясная», «Зачем сидишь ты до полночи», «Вдоль по улице метелица метет» – каждое сочинение было событием и почти каждое первый раз исполнялось самим композитором в московской гостиной Марии Дмитриевны или в ее уютном загородном доме в Марьиной деревне.

В начале 40-х годов Варламов знакомится с великим Ференцем Листом, приезжавшим с концертами в Москву. В последний день своего пребывания в древней столице венгерский композитор пришел в «Соловьевином доме» к Варламову на прощальный обед, попросил Александра Егоровича сесть за фортепьяно – послушать его исполнение, да так заслушался, что пропустил свой дилижанс и всю неделю до следующего провел безвыходно в варламовской квартире, не отпуская хозяина от инструмента.

Новая жизнь, широкая известность, но личного счастья не было. В 1840 году удается благополучно завершить дело о разводе – Варламов остается с четырьмя детьми на руках. Матери их судьбы давно безразличны, заботиться о них она не собирается. Эти семейные сложности никак не связаны с Марией Дмитриевной – она все так же далека и недосягаема, как восхитительный лунный свет, по выражению Павла Мочалова, на который нельзя не смотреть и которого невозможно коснуться.

К тому же Варламову еще нет сорока, а ей уже сорок пять. Вместе с друзьями она советует композитору попробовать еще раз наладить спокойную семейную жизнь, которой его обделила судьба. Находится и невеста – скромная, влюбленная в варламовскую музыку семнадцатилетняя Мария Сатина.

Может быть, слишком скромная и наверняка слишком молодая. Спустя два года наступает страшный для Варламова разрыв с безраздельно господствовавшим в московских театрах композитором Верстовским. Сказывается профессиональная ревность, которой удавалось избегать благодаря советам и влиянию Марии Дмитриевны, но о которой не имеет представления юная Варламова, неспособная вмешиваться в дела мужа. В течение 1842-1844 годов Верстовский лишает Варламова почетных и доходных бенефисных концертов в Большом театре. В декабре 1844 года Варламов подает прошение об увольнении, получает нищенский пенсион в 285 рублей годовых и уезжает теперь уже с шестью детьми в Петербург. Роман, а вместе с ним и вдохновение «Соловьевого дома» были кончены.

В Петербурге он не найдет должности даже в родной ему Певческой капелле – против него Министерство Двора. Будет вынужден скрываться от бесконечных кредиторов и в чужих гостиных писать на клочках бумаги романсы, которые можно было тут же продать за гроши издателям. Жизнь унизительная и безнадежная, которая, по счастью, продлится всего три года. Варламов так и умрет от сердечного приступа в гостиной чужого дома, завещав жене с двумя младенцами на руках искать помощи только у его нового петербургского друга – композитора Даргомыжского. «Ста друзей» не было и в помине.

А Мария Дмитриевна так и не выйдет замуж. Она будет еще долго блистать на московской сцене, переиграет множество ролей, всегда первых, всегда восторженно встречаемых москвичами: Мария Стюарт, соблазнительная и ловкая Городничиха в «Ревизоре», великосветские дамы в пьесах А. Н. Островского. Она расстанется с театром семидесяти лет и вот тогда почти мгновенно канет в реку забвения – такова судьба всех актеров.

Ее похороны соберут в 1875 году жалкую кучку поклонников. «Забытый талант» – будет озаглавлена единственная помещенная в газетах заметка о ней. Это был год дебюта на сцене Александринского театра замечательного русского актера-комика Константина Александровича Варламова, сына композитора и М. А. Сатиной.

Мария Дмитриевна будет при жизни интересоваться его судьбой. Попытается поклониться праху отца. Напрасно... Могила композитора Александра Варламова окажется смытой в одном из невских наводнений. На Смоленском кладбище. «Господи, за что же! Его-то, незлобивого и светлого, за что?» – слова из письма актрисы Львой-Синецкой.

Девичье поле

И все-таки всегда, решительно всегда это было бегство. Вопреки здравому смыслу. Вопреки здравому житейскому расчету. Подчас вопреки самому себе. Гоголь за границей не место отдыха, развлечений, новых впечатлений – скорее возможность собраться с мыслями, что-то додумать, решить, найти в себе новые силы, а ведь их никогда не было особенно много. Каждый раз вставал вопрос «зачем» и находил множество объяснений – по поводу, но без того единственного, который только и нужен был – для вразумительного ответа.

Год 1829. Так и оставшаяся неразгаданной первая любовь, потрясение, подобного которому он уже не испытывает никогда.

«...Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворять хотя тень покоя в истерзанную душу... Нет, это существо, которое он послал лишить меня покоя, расстроить шатко созданный мир мой, не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силой своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество... Но ради бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока...»

Бегство в тот год потребовало всех средств, которыми располагал не только сам Гоголь – на деле их просто не было, – но и его мать, всех трудно собранных грошей для уплаты в опеку за родную Васильевку. Он без колебаний отказался ради них от своей части имения, от своего единственного, пусть очень скучного источника материального благополучия. Лишь бы оказаться на пароходе, лишь бы спустя несколько дней вступить на чужую, иную землю! Вступить... и тут же пуститься в обратный путь. Дикие скалы Борнхольма, одинокие хижины на берегах Швеции, уютные улочки Травемунде, старина Любека – ничто не могло изменить его душевного состояния: «Часто я думаю о себе: зачем бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? зачем он одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?...» Искать выхода – сомнений не оставалось – предстояло в самом себе.

Год 1836. Причиной бегства становится «Ревизор». Неудача петербургской постановки, неудовлетворенность собственным решением и невидимое вмешательство императорской руки. На появившейся на осенней выставке Академии художеств картине Г. Г. Чернецова «Парад на Марсовом поле» среди трех сотен деятелей литературы и искусства, вплоть до воспитанников императорского театрального училища и полного ареопага цензоров, Гоголю, именно как автору «Ревизора», места не нашлось. Такова была воля заказавшего полотно Николая I. И строки на письма М. С. Щепкину, тщетно звавшему приехать на московскую премьеру: «Не могу, мой добный и почтенный земляк, никаким образом не могу быть у вас в Москве. Отъезд мой уже решен. Знаю, что вы все приняли бы меня с любовью: мое благодарное сердце чувствует это. Но не хочу и я тоже со своей стороны показаться вам скучным и не разделющим вашего драгоценного для меня участия. Лучше я с гордостью понесу в душе своей эту просвещенную признательность старой столицы моей родины и сберегу ее, как святыню, в чужой земле... Я дорогою буду сильно обдумывать одну замышляемую мною пьесу. Зимою в Швейцарии буду писать ее, а весною причалю с нею прямо в Москву, и Москва первая будет ее слышать».

Слово свое Гоголь сдержал и не сдержал. Задуманная пьеса не получилась. Год пребывания за рубежом обернулся тремя годами. Зато сразу по возвращении в Россию писатель и в самом деле заторопился в Москву. Прежде всего в Москву.

Несмотря на конец сентября, многие знакомые еще жили за городом. Расположившись в доме М. П. Погодина на Девичьем поле, Гоголь направляется навестить Аксаковых, проводивших лето в Аксиньине, в десяти верстах от Москвы. Предупрежденные о его приезде, хозяева тем не менее никак не предполагали неожиданного появления писателя да еще в сопровождении М. С. Щепкина, с которым Гоголь уже успел встретиться.

С. Т. Аксаков вспоминал: «На другой день Гоголь приехал к нам обедать вместе со Щепкиным, когда мы уже сидели за столом, совсем его не ожидая. Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать. Следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного, кроме хохла, франтика в модном фраке. Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое выражение; особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость, любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то невнешнему. Сюртук, вроде пальто, заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Сама фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее».

Душевная близость со Щепкиным побудила Гоголя еще до Аксиньина навестить семью актера в Волынском, где они жили. Это была встреча со многими из артистов Малого театра, давно облюбовавшими для летнего отдыха живописные, хотя и сыроватые берега Сетуни. Они помнили великого трагика П. С. Мочалова, со временем к ним привязался и П. М. Садовский.

Приезд в Волынское был душевной потребностью. Любовь московских актеров грела и на чужбине, хотя, оказавшись в Москве, Гоголь по-прежнему не решался пойти на спектакль так дорого обошедшегося ему «Ревизора».

«Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редко останавливают изумленный глаз величеством рисунка или своевольной дерзостью изображения... Невольно стесняется мысль: неужели прошел невозвратимо век архитектуры? неужели величие и гениальность больше не посетят нас...» В своих размышлениях об архитектуре Гоголь не был склонен к высокой оценке произведений XVII и даже XVIII столетий. Тем более любопытно впечатление, которое могла на него произвести гордость тогдашнего Волынского – совершенно своеобразная церковь, строительство которой завершилось в 1703 году.

В недолгие годы рубежа XVII-XVIII веков в московской и подмосковной архитектуре появляется несколько совершенно необычных для них образцов храмов, имевших в плане окружность, напоминающую раскрывающийся крупными лепестками цветок. На этой основе церковь в Волынском несла двухъярусный увенчанный маленькой главкой восьмигранник, богато декорированный пилястрами и сложно профилированными карнизами. В подобном слиянии приемов более раннего церковного строительства и приемов собственно барочного стиля о новом времени заявляли и большие прямоугольные окна, позволявшие ярко осветить внутреннее пространство, сообщить ему ощущение воздушности и простора. Необычайно цельное и как бы устремленное ввысь, оно предвосхищало то проникновение природы в архитектурные сооружения, точнее – ту взаимосвязь архитектуры и природы, которая утверждается в зодчестве принципами барокко. Особенную нарядность придавала интерьеру узенькая, охватывающая церковь галерея, словно повисшая у основания второго яруса восьмигранника.

Отсутствие собственно церковного, религиозного образа – именно о нем и говорил в своих рассуждениях Гоголь: «Но церкви, строенные в XVII и начале XVIII века еще менее выражают идею своего назначения». Можно не соглашаться с суждением писателя, но слова его, кажется, непосредственно относятся к церкви в Волынском: «В них прямая линия без всякого условия вкуса соединялась с выгнутою и кривою; при полуготической форме всей массы; они ничего не имеют в себе готического».

...Сегодня этого дома уже нет – его не стало в 1941 году. Но памятью о нем остались страницы «Войны и мира» – допрос Пьера Безухова маршалом Даву, «Горе от ума» и

страницы жизни Гоголя. И еще построенный в середине прошлого века рубленый теремок с цветными майоликовыми вставками, которым историк М. П. Погодин пополнил былое загородное владение князей Щербатовых на Девичьем поле (Погодинская ул., 10). Сын известного русского историка времен Екатерины II Д. М. Щербатов помещает в Благородный пансион при Московском университете своего единственного сына Ивана и двух находившихся под его опекой племянников, детей умершей сестры, – Петра и Михаила Чаадаевых. И хотя жили Чаадаевы в доставшемся им родительском доме в Большом Ушаковском переулке, на Остоженке, почти все свободное от занятий время проводили у дяди. На редкость сдержаный в проявлении чувств, Грибоедов в переписке не упоминает имени П. Я. Чаадаева, но приехавшая через тридцать лет после гибели мужа в Москву вдова драматурга «поторопилась навестить», по выражению современников, именно его, как особенно близкого покойному мужу человека.



Дом М.П. Погодина на Погодинской улице

У Щербатовых начинает постоянно бывать подружившийся с ними Грибоедов и в 1808-1809 годах вводит в их дом будущего декабриста И. Д. Якушкина, первое знакомство с которым состоялось еще в Хмелите. Обедневшие Якушкины вынуждены были прожить несколько лет на хлебах у их общих знакомых и соседей Лыкошиных. Якушкин станет ближайшим другом И. Д. Щербатова, тесно сойдется и с П. Я. Чаадаевым, вместе с которым проделает весь поход 1812-1813 годов. Сосланный по делу декабристов в Сибирь, Якушкин получил возможность вернуться в Москву только в 1856 году, где вскоре и умер, оставаясь неизменно под бдительнейшим надзором политического сыска.

Гостем Щербатовых станет со временем и В. К. Кюхельбекер. Это ему адресует свои обвинения старуха Хлестова:

И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних
От пансионов, школ, лицеев... как бишь их?
Да от ландкарточных взаимных обучений.
А княгиня Тугоуховская подхватывает:
Нет, в Петербурге институт
Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и безверьи
Профессора!

Высказывания почтенных матрон позволяют не только угадать предмет их нападок, но и время, когда писались Грибоедовыми эти строки, – живой отклик на события культурной жизни России. О тенденциях вновь открытого Главного педагогического института в Петербурге с достаточной справедливостью говорила произнесенная в его стенах С. С. Уваровым в 1818 году речь: «По примеру Европы мы начинаем помышлять о свободных понятиях. Политическая свобода есть последний и прекрасный дар бога». Именно так понимает свои обязанности преподавателя Благородного пансиона при институте В. К. Кюхельбекер. Но Кюхельбекер был к тому же секретарем утвержденного в 1819 году в

Петербурге «Общества училищ взаимного обучения по системе Ланкастера». Первых два таких училища были открыты в течение 1821-1822 годов, после чего появились статьи в печати. Особенную опасность, с точки зрения консервативно настроенных кругов русского общества, представляли ланкастерские школы для солдат в армии, в организации которых принимали самое деятельное участие Н. Н. Раевский и М. Ф. Орлов. Процесс «первого декабриста» В. Ф. Раевского был связан, в частности, с его деятельностью в таких школах.

Наконец, с портретными чертами Кюхельбекера совпадали экспансивность и темперамент, которыми наделяет Чацкого Грибоедов. Они создали «Кюхле» славу человека с «безумными припадками».

Так в доме на Девичьем поле собрались все те, кого в большей или меньшей степени принято считать прототипами Чацкого, – Чаадаев, Якушкин, Кюхельбекер, сам Грибоедов. Для Якушкина, например, сходство с Чацким дополнялось его неразделенной любовью к Наталье Дмитриевне Щербатовой, дочери хозяина дома. Его чувство было одинаково отвергнуто и дочерью, и отцом, откровенно проповедовавшим фамусовские взгляды на брак и идеального с московской точки зрения зятя. И хотя в доме была другая сестра, вызывавшая самые теплые симпатии окружающих, – княжна Елизавета Дмитриевна, предметом поголовного увлечения молодых людей оставалась княжна Наталья, независимая нравом, острыя на язык, не считавшаяся ни с какими назиданиями отца, не знавшая страха искусная наездница.

Не остался равнодушным к кузине и П. Я. Чаадаев, во время своей заграничной поездки живо интересовавшийся обстоятельствами ее жизни. Сходство его ситуации с ситуацией Чацкого для близких друзей усиливалось постоянными ссорами с дядей. Резкость критики современной жизни Чаадаевым вызывала взрывы возмущения со стороны Д. М. Щербатова. В обстановке продекабристских настроений наполнявшей дом молодежи он упорно, хотя и тщетно пытался ей противостоять, срываюсь на шумные и обычно заканчивавшиеся его поражением дискуссии. Щербатовский дом становится той средой, где возникает первый замысел «Горе от ума». Отрывок из задуманной комедии Грибоедов впервые прочтет своим товарищам в середине 1812 года.

Пройдут годы. Будут сосланы по делу декабристов И. Д. Щербатов, И. Д. Якушкин, последует в Сибирь за своим мужем – Ф. П. Шаховским княжна Наталья. Дом на Девичьем поле перейдет в руки М. П. Погодина, а вместе с ним и его близкого друга Н. В. Гоголя.

…Это был третий приезд Гоголя в Москву, к тому же после длительной поездки по Европе. 28 сентября 1839 года он уже в первопрестольной. Счастливый безмерно. Торопящийся, не теряя ни минуты, повидать всех близких и друзей. Он успевает навестить дорогих его сердцу Аксаковых в подмосковном Аксиньине, Щепкина в Волынском. Не слишком разнились от подмосковных и живописно расположенные городские дома приятелей.

Дом на Садовой-Сенной (№ 27), где останавливаются на этот раз Аксаковы, словно перенесен в Москву из усадьбы. Запущенный сад в зарослях одичавших роз. Покосившаяся банька среди переросших крышу лопухов. Просторный двор. В комнатах никогда не затворяющиеся двери. Вечный шум самовара на огромном столе. Разноголосица веселых споров. И вызывавшие неудержимый смех шутки Гоголя. Из всех московских пристанищ Аксаковых этого уничтоженного дома особенно жаль.



М.Ю. Лермонтов

Но самой большой радостью в тот приезд становится обретение собственного дома. Погодин приобрел усадьбу Шербатовых. Это целое привольно раскинувшееся хозяйство с множеством построек, прудом, пасекой, тенистыми аллеями старых лип, цветниками, переходящими в настоящий луг. Но главным был дом. Не слишком приметный снаружи – деревянный, с мезонином, круглым бельведером и приотившимся сбоку крыльцом. На редкость уютный и поместительный, с длинной анфиладой комнат и предоставленным в полное распоряжение Гоголя кабинетом хозяина на втором этаже. Погодинская коллекция, ставшая со временем достоянием государства и хранящаяся в Государственном Историческом музее в Москве, – древние книги, грамоты, документы, автографы, а том числе Петра I, коллекция старинного оружия, лубков, гравюр, – располагалась именно в этой комнате с окнами, выходившими на липовую аллею. Пение птиц. Запах воды, тины, влажного песка. Лучшего места для работы Гоголь никогда не имел и не мог себе представить. Шумная погодинская семья – она размещалась на первом этаже: Гоголь по-прежнему не искал одиночества. «Странное дело, – признавался он, – я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею пространством времени, неразграниченным и неразмеренным... Жизни! Жизни! Еще бы жизни!» Одна из лучших глав «Мертвых душ» была написана в захудалой остерии – трактирчике по дороге из Альбано в Дженнаццано, в клубах табачного дыма, среди треска бильярдных шаров и шума разговоров.

После утренних и дневных часов работы в кабинете Гоголь спускался вниз, стремительно прогуливался по анфиладе, непременно выпивая два графина холодной воды, болтал и шутил с домашними, особенно с детьми. Знал ли он, что историей дышали не только стены кабинета с его уникальными собраниями, но и весь дом? Грибоедов, Чаадаев, декабристы – его отделяли от них каких-нибудь 20-30 лет. Все было прошлым, но каким же недавним и почти осязаемым.

А как дорожил Гоголь возможностью праздновать здесь свои именины – свои «Николины дни», приходившиеся на середину мая по новому стилю. Дом и сад предоставлялись в полное его распоряжение. В широкой аллее накрывались столы. Именинник заранее с великим волнением составлял меню и договаривался о кушаньях со специально приглашившимся поваром. Выбирал вина с условием вернуть оставшиеся нераспечатанными бутылки. Пристраивал в кронах лип клетки с поющими соловьями, дабы поразить воображение присутствующих.

С раннего утра на Девичьем поле начинали тянуться экипажи с поздравителями. Последние гости отъезжали от крыльца лишь в зыбких сумерках майской ночи. Чаадаев, Загоскин, Вяземский, Верстовский, актеры Щепкин, Живокини, Ленский, еще никому не известный Пров Садовский... Наконец, Лермонтов, который на первом в погодинском саду «Николином дне» в 1840 году прочтет своего «Мцыри». Поэт так увлечет Гоголя, что он

захочет на следующий же день встретиться с ним и проведет целый вечер за разговором в доме Свербеевых на старой Страстной площади (Страстной бульвар, 6). Был и Фет. Правда, Гоголь не обратил внимания на смешавшегося от волнения и растерянности юного поэта, воспитанника открытого Погодиным во флигеле пансиона. Но Погодин передаст Гоголю тетрадку со стихами своего питомца и вернет ее поэту со словами: «Гоголь сказал, это – несомненное дарование».

Сегодня памятью об этом культурном месте Москвы осталась одна так называемая Погодинская изба на одноименной улице. Главный дом погиб во время фашистских бомбежек. Изба возникла в самом начале 1850-х годов. Щербатовские владения были приобретены М. П. Погодиным в 1836 году. Барский дом опишет Л. Н. Толстой в «Войне и мире» в сцене допроса Пьера Безухова маршалом Лаву в романе «Война и мир». Избой Погодин занялся после того, как расстался со своим древлехранилищем – уникальную коллекцию приобрело государство. Избу хорошо знал бывавший здесь в 1860-х годах Л. Н. Толстой, а спустя сорок лет – проходивший курс лечения в находящейся на той же улице клинике М. А. Врубель.

В необычной для города постройке, к тому же соседствовавшей с барским ампирным особняком, многие усматривали дань славянофильским увлечениям историка. И неожиданная корректива секретных документов тех же пятидесятых годов. Документ назывался «Список подозрительных лиц в Москве» и был составлен по специальному указанию Александра II для шефа жандармов. Но автору, известному своими ультрамонархическими взглядами генерал-губернатору Москвы А. А. Закревскому, одного этого адресата показалось мало. Он посыпал копию председателю Государственного совета, чтобы показать, как велики размеры грозящей престолу опасности. Среди 30 названных лиц тринадцатым стоял М. П. Погодин – «корреспондент Герцена, литератор, стремящийся к возмущению», проживающий «на Девичьем поле в собственном доме». Почти все остальные попавшие в список лица были постоянными посетителями Погодинского дома. Шел 1858 год.

Оказывается, в славянофильстве Погодин политическим сыском вообще не подозревался. Зато подобное обвинение – именно обвинение! – выдвигалось против многих его знакомых, одинаково близких к Гоголю: «По разным слухам и секретным негласным донесениям можно предположить, что славянофилы составляют у нас тайное политическое общество. Славянофилы появились после Польской революции в виде литературного общества любителей русской старины. Общество развивает общинные или демократические начала. Оно составлено из лиц разных сословий, вредное по своему составу и началам».

Погодинская изба – ровесница законченного в те же годы строительством здания Оружейной палаты и Большого Кремлевского дворца и свидетельствует она об общих тенденциях русской архитектуры тех лет, искающей, подобно зодчеству других западноевропейских стран, вдохновений в национальной старине (Погодинская ул., 10-12).

Романтической фигурой среди московских знакомцев Гоголя представляется М. Ф. Орлов. Он один из тех, с кем Пушкина связала самая тесная дружба в Кишиневе. Виделись они там едва ли не каждый день, и до сих пор не утихают споры литературоведов, кто был «южной любовью» поэта – Мария Волконская или жена М. Ф. Орлова Екатерина Раевская. Черты Е. Н. Орловой остались запечатленными в образе Марины Мнишек. «Женщина необыкновенная», – отзывался о ней Пушкин. Необыкновенным человеком был и сам Орлов. Блестящий военный, Орлов принимает капитуляцию Парижа. В 1817 году он среди декабристов и особенно сближается с Пестелем. На заседаниях «Арзамаса» ему, по словам Пушкина, принадлежат самые резкие политические высказывания, и в 1823 году его отстраняют от должности начальника дивизии в Кишиневе за пропаганду, которую вел в подчиненных ему частях «первый декабрист» В. Раевский.

Дальше отставка, следствие по делу декабристов, Петропавловская крепость, и в 1831 году Орлов возвращается из ссылки в Москву, лишенный всякой возможности политической деятельности. Герцен замечает в связи с его положением: «Вообще Москва входила в ту

эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становились вопросами жизни».

В отличие от многих своих товариществ Орлов находит применение своим силам и убеждениям во вновь образованном Московском художественном классе, переросшем в дальнейшем в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1837 году ввиду тяжелого финансового положения он принимает на себя все расходы по Художественному классу. Он же выступает одним из организаторов торжественного чествования Карла Брюллова по возвращении его в Россию после триумфального успеха в Европе «Последнего дня Помпеи» в 1836 году.

Гоголю знаком дом, приобретенный Орловым в 1839 году на Пречистенке (№ 10), точнее – целое поместье, выходившее на Божедомский и Гагаринский переулки. Здесь можно в это время встретить рядом с Денисом Давыдовым, Герценом, Чаадаевым многих московских и приезжих художников и между ними – В. А. Тропинина.

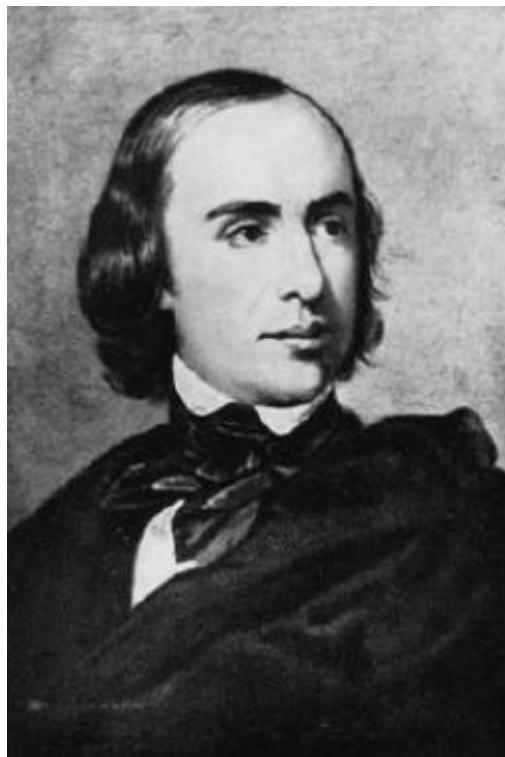
И несколько страниц из последующей истории орловского дома. В 1880-х годах часть домовладения занимали меблированные комнаты, в которых жил только что окончивший Московское училище живописи И. И. Левитан. Комната с перегородкой, которую он снимал, служила ему одновременно жильем и мастерской. Здесь у него бывал А. П. Чехов. Но до наших дней дом дошел после переделки его фасада и внутренней планировки гражданским инженером, очень популярным в Москве тех лет строителем Н. Г. Лазаревым. Примыкающая к нему со стороны переулка оранжерея была построена по проекту архитектора Г. А. Артемовского.

* * *

*...Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.
А.С. Пушкин*

«Нужды города», «желания трудящихся» – применение этих гибких и безотказных формул привело к потере половины исторической застройки города. Достаточно сказать, что в течение 1987– 1990 годов Москва потеряла 90 учтенных памятников с ведома всех задействованных в охране инстанций. Что же касается наглядных результатов, то достаточно выйти на одну из центральных площадей города – Пушкинскую.

В 30-х годах здесь первыми были снесены Страстной монастырь, которому площадь была обязана своим первоначальным названием – Страстная, и превосходная церковь Дмитрия Солунского – на углу Тверской и Тверского бульвара. На месте первого сноса встал кинотеатр «Россия», на месте второго – жилой дом с кондитерским магазином. На противоположном углу уничтожен один из первых в Москве кинотеатров – «Центральный» и рядом с ним «Дом Фамусова», портивший вид на здание редакции газеты «Известия». Последующий снос смел с лица земли целый квартал застройки XVII-XVIII веков – от площади до Сытинского переулка, уступив скверу, непонятным образом дублирующему параллельный ему Тверской бульвар. Перенесен на противоположную сторону площади памятник Пушкину. Что же касается уцелевших зданий, то и они перестали быть памятниками.



T.N. Грановский

«Это истинный ваш род; наконец, вы нашли его» – слова известного поэта и признанного баснописца о первых опытах не слишком удачливого собрата по перу Ивана Ивановича Дмитриева о двух баснях Крылова. Наконец... Пережито и в самом деле было немало.

Попытки заниматься издательским делом – «Почта духов», «Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий». Их сатирические выпады не оставили безразличными читателя. Но самое решительное вмешательство императрицы не заставило себя ждать достаточно с Екатерины историй с Новиковым и Радищевым! И как результат – обыск в типографии «г Крылова со товарищи», полицейский надзор, установленный над издателем и единственный способ избежать гнева императрицы – отъезд из Петербурга.



Н.Ф. Павлов. Рисунок Э.А. Дмитриева-Мамонова. 1848 г.

Попытки напечатать стихи, отобранные самим Карамзиным и все же не имевшие успеха. Писать комедии – встречавшие похвалу, но не нашедшие ни постановщиков, ни издателей, хотя знакомств в театральном мире было достаточно. Переехав в Москву, Крылов свой первый приют находит в крохотном домике позади Петровского театра, у

прославленной актерской четы Силы и Лизаньки Сандуновых. Это они с огромным успехом исполнили крыловскую «Кофейницу». Попытки обрести род службы, которая не лишала бы возможности литературных занятий, – и счастливая встреча с С. Ф. Голицыным. На первый взгляд положение то ли домашнего секретаря, то ли домашнего учителя многочисленных сыновей в просвещенном голицынском семействе не сулило особых огорчений. Князь был известен любовью к охоте, к театру, несомненными способностями актера-любителя. Княгиня, «златовласая Пленира», как называл ее Державин, не оставалась равнодушной к литературе.

Изданный ею в Тамбове перевод «Писем Финелии и Мильворт» не говорил о тонкости вкуса, но и не был лишен стилистических достоинств. В своем доме на Никитском бульваре (8), в то время как муж принимал Василия Львовича Пушкина и спорил о тонкостях сценических постановок с Ф. Ф. Кокошкиным, будущим директором московской казенной сцены, княгиня принимала К. Ф. Рылеева и хвалила его стихи. Крылов здесь как нельзя более приходился ко двору.

Правда, время не замедлило внести свои поправки. Увлечение Голицына театром не пошло далее минутных капризов. Назначенный губернатором в Ригу, он предпочитает, не вникая в дела службы, переложить все возможные и невозможные обязанности на плечи правителя канцелярии – им назначается Крылов. «Пленира» за дверями своего литературного салона становится жесткой и расчетливой хозяйкой. Надо было прерывать отношения, пока внешне все выглядело благополучно.

Значит, снова неустроенность, безденежье, одиночество. Гостеприимство Татищевых в их подмосковной усадьбе носило все те же черты снисходительно-равнодушного меценатства. Зато знакомство с Бенкендорфами неожиданно преобразило всю жизнь.

В доме жившего на покое суворовского сподвижника собиралась вся литературная Москва. С хозяйкой Елизаветой Ивановной были одинаково дружны и Карамзин, и Дмитриев, и их «крестный отец» Херасков. Дом с мезонином у Страстного монастыря (Страстной бульвар, 6) приютил Крылова так же радушно, как и любимое семейство Виноградово (город Долгопрудный).

В конце концов, это была только шутка – переведенные для маленькой дочери Бенкендорфов Софьи басни Лафонтена «Дуб и трость», «Разборчивая невеста». Но Дмитриев оценил их смысл и помог опубликовать в № 1 «Московского зрителя» за 1806 год. Крылов заторопился в Петербург. Дом с мезонином оставался самым дорогим воспоминанием, местом рождения бессмертного «дедушки Крылова». «Я не могу вспомнить тех минут, которые случалось мне у вас проводить, чтобы не оглядываться к Москве, как верный магометанин, возвращаясь с поклонения, набожно оглядывается к Мекке», – напишет он со временем хозяйке дома.

Дом с мезонином был не сравним по богатству с голицынским дворцом. Окна выходили на тесный монастырский проезд. Рядом, на площади Тверских ворот, торговали дровами и углем, а по воскресным дням торг сеном кипел у самых дверей. Но зато он уцелел в пожаре 1812 года, одним из первых в городе услышал благовест с колокольни Страстного монастыря,озвестивший о бегстве наполеоновских частей, и на некоторое время стал пристанищем Английского клуба, который лишился своего первого специально купленного дворца у Петровских ворот, сожженного и разграбленного (Страстной бульвар, 15). В нем когда-то Крылов решился на первое публичное чтение басен.

На рубеже 1830-1840-х годов в доме обосновался любимый московскими литераторами салон Д. Н. Свербеева. Это в его стенах состоялся разговор Гоголя с Лермонтовым после чтения в Погодинском саду «Мцыри». Лермонтова ждал Кавказ. Гоголь спустя неделю отправился в Италию. И не эти ли впечатления, родившиеся в доме с мезонином, ожили в посмертных словах о поэте Гоголя: «Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни; готовился будущий великий живописец русского быта...»

Положим, весь ряд домов от Тверской до Большой Дмитровки и в том числе дом

Бенкендорфов были изуродованы во второй половине 30-х годов нелепой многоэтажной надстройкой: таким простым способом увеличивалась этажность Москвы, строился величественный образ нового города. Но даже и с верхней нашлепкой особнячок продолжал угадываться в основных своих чертах. В начале же 80-х годов он подвергся полной перепланировке, а в 1989 году именно в нем были сделаны выходы станции метро «Чеховская».

Гоголь всеми силами старался избежать встречи с постановкой «Ревизора», которая шла в Малом театре. Писателя поймали на слове, в какой именно день он мог бы пойти в театр, – обычно Гоголь отговаривался всяческого рода выдуманными делами. Ради такого события М. Н. Загоскин именно на этот день назначил спектакль да еще перенес его со сцены Малого театра в Большой, чтобы смогли вместиться все желающие видеть автора москвичи. Зал был переполнен. Верхние ярусы занимало московское студенчество, в зале присутствовали В. Белинский, М. Бакунин, Т. Грановский, Н. Огарев, Аксаковы, И. Панаев. Городничего блистательно играл Щепкин, Осипа – известный актер И. В. Орлов (Копылов), который в том же сезоне и также на сцене Большого театра играл в свой бенефис «Отелло» Шекспира. Спектакль шел на овациях. По словам И. И. Панаева, «все искали глазами автора. Но его не было видно. Только в конце второго действия его открыл писатель Н. Ф. Павлов в углу бенуара госпожи Чертковой».

Поднявшийся после окончания третьего действия шквал вызовов на сцену автора настолько смущил Гоголя, что он тайком сбежал. Вернувшись домой после спектакля супруги Чертковы находят Гоголя уснувшим от волнения на диване в их гостиной (Мясницкая ул., 7). Знакомство с А. Д. Чертковым завязалось за границей. В Москве же Гоголь полюбил бывать у известного библиофила, чье богатейшее собрание исторических материалов со временем положило начало журнала «Русский архив».

Из Рима привез Гоголь знакомство и с профессором русской словесности С. П. Шевыревым, которому со временем препоручит все свои издательские дела. Писателю было дорого искреннее участие профессора к его жизненным и литературным трудностям и то гостеприимство, с которым его всегда принимали в доме в Дегтярном переулке, 4 (снесен для удобства установки башенного крана при строительстве соседнего многоэтажного жилого дома).

В семье Щепкиных из поколения в поколение передавались слова Гоголя о том своем московском приезде, что «его сердце не в силах, кажется, вместить всего того добра и тепла», которыми его одарила Москва. Но «Ревизор» был теперь уже оправдан в глазах автора, и думал Гоголь уже не о нем – о «Мертвых душах», которыми собирался одарить в первую очередь Москву.

Гоголь по-прежнему охотно и часто соглашается читать свои новые произведения. Особенno приятен и близок ему дом Аксаковых (Смоленская-Сennая, 27), всем своим укладом напоминавший деревенский патриархальный быт. В гостиной целыми днями не переставал кипеть поджидавший все новых и новых гостей самовар, обеденный стол накрывался не меньше чем на 20 «кувертов», большой, заросший белыми розами сад заставлял забывать о городе. У Аксаковых Гоголь читает главы из еще не законченной первой части «Мертвых душ», а в январе 1840 года – «Аннуциату». Он повторяет те же произведения у Киреевских и Елагиных, в частности, отрывки из «Мертвых душ» специально для приехавшего В. А. Жуковского, а у Чертковых – «Тяжбу». Гоголю удается удовлетворить и свою неизменную тягу к музыке. В эти месяцы он близко знакомится с Верстовским, становясь постоянным гостем его дома в Староконюшенном переулке, и с Гуриевым, дававшим уроки сестре писателя Анне.

Пребывание в Москве прерывается необходимостью поездки в Петербург. Гоголю предстоит забрать оканчивающих институтский курс сестер, попытаться устроить их судьбу. И это новые, слишком тяжелые для его кармана траты – полный гардероб девушек, носивших до того казенное платье, плата за многолетние уроки музыки. Материальные дела матери шли все хуже и хуже. «Бедный клочок земли наш, пристанище моей матери, – с

отчаянием пишет он в одном из писем, – продают с молотка, и, где ей придется преклонить голову, я не знаю, предположение мое пристроить сестер так, как я думал, тоже рушилось; я сам нахожусь в ужасном бесчувственном, окаменевшем состоянии, в каком никогда себя не помню...»

Но внешний вид Гоголя в эти горькие месяцы никак не выдает его душевного состояния. По собственному желанию, безо всяких уговоров, вызывается он прочесть у Аксаковых главу из «Мертвых душ» и с откровенным наслаждением повторяет чтение у Елагиных – для приехавшего Жуковского, у библиофила и археолога А. Д. Черткова. Только о столице на Неве он отзовется в это время: «Как здесь холодно! И привет, и пожатия, часто, может быть, искренние, но мне отовсюду несет морозом. Я здесь не на месте».

Московскими впечатлениями продолжают питаться находившиеся в работе «Мертвые души», рождающиеся в январе 1840 года «Тяжба» и «Лакейская»: «Нет, брат, у хорошего барина лакея не займут работой, на то есть мастеровой. Вон у графа Булкина тридцать, брат, человек слуг одних, и уж там, брат, нельзя так: „Эй, Петрушка, сходи-ка туда!“ – „Нет, – мол, скажет, – это не мое дело; извольте-с приказать Ивану“. – Вот оно что значит, если барин хочет жить как барин».

Но эти отдельные удачи мало занимают Гоголя. Его мысли заняты одними «Мертвыми душами». Чтобы скорее их закончить, он стремится уехать в Италию, откуда, по его собственным словам, виднее прорисовывались российские горизонты. Вскоре после на редкость удачного «Николина дня» он оказывается в дорожной коляске – ему повезло найти попутчика, с которым можно было поделить путевые расходы. Аксаков с сыном, Щепкин и Погодин провожают друга. Последний прощальный поклон городу с Поклонной горы. Последний прощальный обед с друзьями в Перхушкове. «С какою бы радостью я сделался фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную, и отважился бы даже на Камчатку, – чем дальше, тем лучше. Клянусь, я был бы здоров».

Ко всеобщему удивлению, ничьи ожидания не были обмануты. В начале октября 1841 года Гоголь с законченной рукописью «Мертвых душ» в России. «Меня предательски завезли в Петербург. Там я пять дней томился. Погода мерзейшая, – именно трепня», – из письма Погодину. И через несколько дней в полном контрасте письмо поэту Н. М. Языкову: «Я в Москве. Дни все на солнце, воздух слышен свежий, осенний, перед мною открытое поле, и ни кареты, ни дрожек, ни души, словом – рай... У меня на душе хорошо, светло». Эти строки писались в кабинете погодинского дома. Впереди работа переписчиков и передача рукописи в цензуру, не предвещавшая – Гоголь не сомневался – простого решения...

Он прав – самые мрачные предположения оправдываются. Правда, первый цензор – известный историк и археолог Москвы И. М. Снегирев (Троицкая ул., 19) уверяет, что не видит никаких препятствий к публикации, но уже через два дня, не предупредив автора, передает рукопись в Московский цензурный комитет. Он не хочет лишней ответственности, как, впрочем, и попечитель Московского учебного округа, который обращается к министру просвещения с вопросом, как должен себя держать в отношении возможных статей и критики. О «Мертвых душах» слишком много говорят, их нетерпеливо ждут. Замечаний цензурного комитета слишком много, и в сумме они делают выход поэмы практически невозможным. Здесь и название, здесь и сама торговля мертвыми душами, и образы отдельных действующих лиц.

Единственной надеждой остается теперь тот самый Петербургский комитет, который Гоголь рассчитывал обойти. Сам он ехать в столицу не хочет. Эту миссию берет на себя Белинский. Старые знакомцы встречаются на этот раз в доме В. П. Боткина (Петроверигский пер., 4). Гоголь познакомился с хозяином за рубежом и навещает его тем более охотно, что дом славится превосходными музыкальными вечерами, где чаще других звучит Бетховен.

За дело берутся все петербургские друзья, в том числе близкие ко двору и хорошо представляющие себе настроения Николая I.



Университетская типография

Именно поэтому они делают все возможное, чтобы обойти двух человек – императора и министра просвещения. Конечно, замечаний немало и совсем не безразличных автору. Снимается или должен быть полностью переделан эпизод о капитане Копейкине. Меняется название: для того чтобы поэма была издана, она должна называться: «Похождения Чичикова, или Мертвые души» – оттенок иронии и плутовского романа, ослабляющий смысловую нагрузку поэмы. Вплоть до апреля 1842 года тянутся истории с цензурным разрешением и мука Гоголя, не знающего судьбы своего детища. Выдержка изменяет ему. Он с трудом может дождаться первых экземпляров тиража «Мертвых душ», печатающихся в университетской типографии (Б. Дмитровка, 34), и, ограничившись ими, решает ехать. Он сделал для своей книги все, что мог, вплоть до ее обложки с мчащейся тройкой, полными кушаний тарелками и блюдами, танцующими парами и рассыпанными по фону маленькими черепами. И он слишком хорошо себе представляет, какой враждебный отклик определенной части русского общества она должна вызвать. К тому же достигают предела напряженности отношения с Погодиным. Много сделавший для Гоголя, Погодин теперь, на пороге полного его литературного триумфа, требует расплаты, и в той форме, на которую Гоголь не в состоянии согласиться, – печатать отдельные главы «Мертвых душ» в его журнале «Москвитянин». Автор не мыслит себе выхода своего произведения иначе как целиком. Строки из гоголевской записки Погодину: «На счет „Мертвых душ“: ты бессовестен, неумолим, жесток, неблагоразумен. Если тебе ничто и мои слезы, и мое душевное терзание, и мои убежденья, которых ты и не можешь, и не в силах понять, то исполни, по крайней мере, ради самого Христа, распятого за нас, мою просьбу, имей веру, которой ты не в силах и не можешь иметь ко мне, имей ее хотя на пять-шесть месяцев... Если б у меня было какое-нибудь имущество, я бы сей же час отдал бы все свое имущество с тем только, чтобы не помещать до времени моих произведений».

На этот раз его провожают по Петербургскому тракту только Аксаковы и Щепкин. Задерживаются в Химках, вместе бродят среди оживших первой зеленью берез, вместе обедают, чтобы потом долго махать вслед исчезающему в пыли экипажу. Их встреча состоится только через шесть с лишним лет. Казалось бы, целиком поглощенный перипетиями «Мертвых душ», Гоголь в действительности полностью отдает себе отчет в причине заметного охлаждения отношений не с одним только Погодиным. Былые друзья ждали от него прежде всего поддержки своих славянофильских идей, которых он не разделял, публикаций работ в их изданиях, что не только противоречило взглядам Гоголя, но и лишало его гонораров, в которых он остро нуждался. «Холодность мою к их литературным интересам они почли за холодность к ним самим, – напишет он в письме А. О. Смирновой-Россет. – Недоразумения доходили до таких оскорбительных подозрений, такие грубые наносились удары и притом по таким чувствительным и тонким струнам, о существовании которых не могли даже и подозревать наносившие мне удары, что изныла и исстрадалась вся

моя душа, и мне слишком было трудно».

Родные края

Еще шесть лет в чужих краях, и, наконец, решение было принято. Он навсегда возвращался в Москву. Именно Москву. Упиться, как сам любил говорить, русской речью. Закончить вторую часть «Мертвых душ». Работать. Как можно больше работать. Он не знал, как будет устраиваться, – средства по-прежнему не появились. Не думал, что за прошедшее время друзья могли отойти еще дальше. Не сомневался – в Москве все решится.

Совершенное на обратном пути путешествие в Палестину, к «святым местам», не принесло удовлетворения – иных впечатлений для себя ждал, на иной собственный душевный отклик рассчитывал. Поездка пароходом. Одесса. Южные степи. Пятого сентября 1848 года Москва. Наконец-то! Но чудесная, в мягком золоте осень задержала москвичей за городом. Даже Аксаковы в своем приобретенном в годы его отсутствия Абрамцеве. Предоставленный ему дом Шевырева (Дегтярный пер., 4) пуст. Может, и к лучшему – трудно себе представить, как удалось бы сжиться с многою людной и не слишком близкой семьей. В нетерпении встреч он мчится в Петербург. Прежде всего Анози – Анна Михайловна Виельгорская. Семья, в которой он, кажется, стал своим. Поглощенный музыкой, талантливый инструменталист-отец, которому Гоголь обязан цензурным разрешением на «Мертвые души». Пусть надменная – урожденная герцогиня Бирон! – но неизменно благоволившая ему мать. Память о сыне, юном Иосифе Михайловиче, который умер от чахотки у него на руках на римской вилле Зинаиды Волконской. Дочери, вошедшие благодаря замужеству в литературные семьи. Младшая – Анози. Десять лет знакомства, задушевных разговоров, полного взаимопонимания.



Н.В. Гоголь на вилле З.А. Волконской в Риме. Рисунок В.А. Жуковского

И все равно строгая чопорность Петербурга еще и еще раз разочаровывает. В октябре Гоголь – в Москве. Теперь можно говорить о настоящей встрече после разлуки. Все дома ждут. И самое для него важное – погодинский. Кажется, забылись и стерлись в памяти былые обиды и недоразумения. Гоголь бесконечно счастлив от возможности занять любимый кабинет, начать работать за ставшим привычным столом. Мечта о работе – как отправляют ее восторженно-нетерпеливые вопросы: когда же, наконец, появится вторая часть «Мертвых душ», над чем еще он собирается работать. Годы не приносят ему уверенности в себе, напротив – одни размышления и сомнения. Старые друзья узнают и не узнают его – временами по-прежнему беззаботно веселого, чаще серьезного, внутренне сосредоточенного, но, как всегда, тянувшегося к людям и расположенного к ним. У Погодина читает первую свою пьесу «Банкрот» еще ничем не заявивший себя в литературе А. Н. Островский. Гоголь опаздывает к началу и, чтобы не мешать автору, остается стоять у дверей. На все времена чтения многоактной пьесы. Позже он напишет чтецу несколько строк, которые Островский будет хранить как величайшую ценность, в медальоне, ни с кем не поделившись их содержанием.

«Наш неуемный Николай Васильевич» – так стали его называть в последний приезд в Москву близкие знакомцы, иногда посмеиваясь, иногда откровенно досадуя. Договориться с Гоголем о встрече, застать его на квартире было совсем не просто, зато в один день можно было увидеть в нескольких домах, а вечером и вовсе в театре. Гоголь не искал одиночества, был жаден до впечатлений, новых знакомств, явно истосковавшись по кипучей московской жизни. Его везде ждут, ему повсюду рады, на его приглашения отзываются с восторгом. Он откровенно наслаждается московской речью, откликается на все ее оттенки, богатство модуляций. Не случайно он писал в 1846 году, что «сам необыкновенный язык наш есть тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых, до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно». Для него

именно язык и поэзия вызовут «нам нашу Россию, – нашу русскую Россию, не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую показывают вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы они ни были различных мыслей, образов воспитанья и мнений, скажут в один голос: „Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине“.

Четвертого ноября 1848-го Гоголь, безо всяких уговоров, наоборот, с большим интересом отправляется в Малый театр, где идут его «Игроки» и, по словам С. Т. Аксакова, остается «совершенно доволен» игрой актеров, что «случалось у него не часто». Двоюродный брат покойного А. А. Дельвига, военный инженер А. И. Дельвиг, встречает Николая Васильевича в Английском клубе (Тверская, 21), бывшем роскошном особняке Нарышкиных. Гоголь окружен собеседниками, говорлив и весел. В таком же отличном расположении духа Гоголя видят в доме гражданского губернатора, должность которого занимал в это время сын поэта В. В. Капниста И. В. Капнист. Присутствующие в восторге от того, как живо представляет Гоголь в лицах героев басен Крылова. Все изменило появление графа М. Н. Муравьева. Попытка хозяина представить друг другу писателя и будущего усмирителя польского восстания 1863 года привела к взрыву. На слова Муравьева: «Мне не случалось, кажется, сталкиваться с вами». Гоголь ответил с неожиданной резкостью: «Быть может, ваше превосходительство, это для меня большое счастье, потому что я человек больной и слабый, которому вредно всякое столкновение». С этим Гоголь повернулся и уехал.

Однако этот инцидент не испортил отношений Гоголя с хозяином – связь с семьей Капнистов была у него слишком долгой и тесной. В усадьбе Обуховке, близ Нежина, которая от отца перешла к сыну, А. В. Капнисту, члену «Союза Благоденствия», Гоголь мог встречаться с будущими декабристами А. М. и Н. М. Муравьевыми, М. П. Бестушевым-Рюминым, М. С. Луниным. Но гражданский губернатор Москвы интересом к литературе не отличался, к произведениям Гоголя был равнодушен, а чтением автором своих произведений просто тяготился. Знакомым оставалось удивляться, как Николай Васильевич мирился с подобным положением и продолжал бывать в доме на Тверской (№ 20).

Таким же своеобразным феноменом было знакомство Гоголя с К. А. Булгаковым, однокашником М. Ю. Лермонтова по Университетскому Благородному пансиону. «Мастер на безделки», по выражению поэта. Впоследствии К. А. Булгаков признавался актеру Садовскому, что никогда не читал Гоголя и не испытывал охоты знакомиться с его сочинениями. Возможно, Гоголя привлекало редкое по богатству собрание живописи и графики, впрочем, достаточно безалаберное. Возможно, оказывалось влияние ходивших по Москве разговоров о дружбе Булгакова-старшего с Жуковским и Вяземским. Но тот же С. Т. Аксаков называл Булгакова-старшего отъявленным подлецом, который перлюстрировал, на правах почт-директора, всю почту, в том числе и переписку Аксаковых, о чем постоянно докладывал московскому генерал-губернатору А. А. Закревскому. Кто знает, как и где выискивал своих героев Гоголь.

Отсюда разница в поведении писателя в разном окружении. С близкими ему по духу людьми он был разговорчив, весел, охотно читал свои произведения. По словам актера А. П. Толченова, «с людьми наименее значащими Гоголь сходился скорее, проще, был самим собой, а с людьми, властью имеющими, застегивался на все пуговицы».

Среди новых московских знакомств – салон сестры московского обер-полицмейстера И. Д. Лужина – М. Д. Ховриной, которая жила в его официальной резиденции на Тверском бульваре. «Небольшая гостиная возле зала (допросов) была как-то неуместна в доме строгости и следствий, – вспоминал также бывавший здесь Герцен. – Наши речи и речи небольшого круга друзей... так иронически звучали, так удивляли ухо в этих стенах, привыкнувших слушать допросы, доносы и рапорты о повальных обысках, – в этих стенах, отделявших нас от шепота квартальных, от вздохов арестантов, от бренчанья жандармских шпор и сабли уральского казака...»



V.A Жуковский

Гоголь не мог не почувствовать и той враждебности к нему, которая царила на многолюдном именинном обеде Капниста в палатке в Сокольниках. Арнольди вспоминал: «Я сидел возле зеленого стола, за которым играли в ералаш три сенатора и военный генерал. Один из сенаторов, в военном же мундире, с негодованием посматривал на Гоголя. „Не могу видеть этого человека“, – сказал он наконец... „...Ведь это революционер, – продолжал военный сенатор, – я удивляюсь, право, как его пускают в порядочные дома?... У меня в губернии никто не смел и думать о „Ревизоре“ и других его сочинениях. Я всегда удивлялся, как это правительство наше не обращало внимания на него: ведь его стоило бы за эти „Мертвые души“, и в особенности за „Ревизора“, сослать в такое место, куда ворон костей не заносит!“ Остальные партнеры почтенного сенатора совершенно согласны были с его замечаниями и прибавили только: „Что и говорить, он опасный человек, мы давно это знаем“. Становятся тесными отношения с О. М. Бодянским, теперь уже профессором истории и литературы славянских наречий в Московском университете и секретарем Общества истории и древностей российских. Он успел выпустить 23 тома «Чтений» Общества с большим объемом впервые публикуемого исторического материала. В 1848 году Гоголь бывает у Бодянского на Малой Никитской (№ 10), с 1849 года – на Большой Никитской (31), в доме Мещеринова. Этот последний год был исключительно тяжелым для историка. Публикация в «Чтениях» перевода труда Флетчера «О государстве Русском, или Образ правления русского царя, с описанием нравов и обычаев этой страны» 1591 года вызвала цензурный взрыв. Выпуск книги был полностью конфискован и сожжен, сам Бодянский лишился кафедры в университете и должности секретаря в Обществе истории и древностей российских. Только к концу года в результате бесконечных хлопот профессорская должность была ему возвращена, с чем едва ли не первым примчался поздравить его Гоголь. В дневнике ученого от 21 декабря есть запись: «Часа в три пополудни навестил меня Николай Васильевич Гоголь, пришедший с поздравлением о победе над супостаты: „Максимович был у меня сейчас, сказал Гоголь, и сообщил мне новость о вас и я немедленно же очутился у вас, чтобы вас обнять и поздравить...“.

Бывает Гоголь у Свербеевых, переехавших в дом Кроткова по Тверскому бульвару (№ 25 – ныне занятый Литературным институтом). Он привычный гость в доме Е. П. Елагиной, которая все так же живет у Красных ворот, у Аксаковых, где, по его собственному выражению, «согревается душою», хотя было слишком заметно, как усложнилась жизнь «милого семейства». Тяжело болеет дочь Ольга Сергеевна, которой занимается постоянно кто-то из близких, хворает глава семейства, и тем не менее за эту первую московскую зиму Гоголь прочитывает Аксаковым всю «Одиссею» в переводе В. -А. Жуковского.

И все же чуда не случилось: былые дружеские отношения с Погодиным восстановить не удалось. Гоголь безоглядно принял сначала его приглашение на квартиру, но уже через два месяца начал искать благовидного предлога и возможностей прекратить ставший невозможным союз. Благовидным, хотя и надуманным предлогом явилось заявление Погодина о необходимости (на зиму глядя!) ремонта в большом доме. Воспользовавшись им, Гоголь принял предложение поселиться у графини Анны Егоровны Толстой. Графиня приехала из-за границы одна, находилась в гостинице «Дрезден» на Тверской, где жила в то

время и другая близкая знакомая Гоголя А. О. Россет-Смирнова. Графине пришлось ждать мужа целый месяц, пока Александр Петрович, появиввшись наконец в Москве, выбрал для них квартиру – дом Талызиных на Никитском бульваре.

Учитывались ли при этом выборе интересы и удобства нежданного «подсоседника»? Думается, меньше всего, поскольку супругов не интересовало творчество Гоголя, тем более условия его работы, не говоря о том, что достаточно неприятной неожиданностью для них явился хлынувший к писателю поток посетителей. Этот «неожиданный сюрприз» служил поводом для иронических разговоров в свете. Что же касается выделенных Гоголю двух комнат, мрачноватых, сырых и к тому же выходивших на протекавший со стороны бульвара ручей в зарослях осоки, то их расположение типично для домов-ровесников, которыми была полна Москва.

Тот же Бодянский подробно описывает доставшееся другу помещение: «Жилье Гоголя, внизу, в первом этаже; направо, две комнаты. Первая вся устлана зеленым ковром с двумя диванами по двум стенам (1-й от дверей налево, а 2-й за ним, по другой стене); а прямо печка с топкой, заставленной богатой гардинкой зеленою тафты (или материи) в рамке; рядом дверь у самого угла к наружной стене, ведущая в другую комнату, кажется, спальню, судя по ширмам в ней, на левой руке; в комнате, служащей приемной, сейчас описанной, от наружной стены поставлен стол, покрытый зеленым сукном, поперек входа к следующей комнате (спальне), а перед первым диваном тоже такой же стол. В обоих комнатах несколько книг кучками одна на другой...» По словам Н. В. Берга, «когда писание утомляло и надоедало, Гоголь поднимался наверх, к хозяину, не то надевал шубу, а летом испанский плащ, без рукавов, и отправлялся пешком по Никитскому бульвару, большую частью налево от ворот (к Никитским воротам). Мне было весьма легко делать эти наблюдения, потому что я жил тогда как раз напротив, в здании Коммерческого банка».

Берг прав почти во всем, кроме визитов к хозяину. Такой близости с ним у Гоголя не существовало и определенная натянутость и церемонность отношений существовала всегда. «Вы бы изумились, если бы узнали, какими деньгами Николай Васильевич покупал ласковый взгляд прислуки во время пребывания своего у Толстого, у Вильегорского, у Смирновых и у других», – пишет П. А. Кулиш матери писателя.

Актеры Малого театра знали достаточно подробностей о неудобствах жизни «графского нахлебника» – эпитет, услышанный ими от лакея Толстых. Ничего удивительного, что Гоголь, хотя ежедневно и работал по несколько часов, охотно уходил из дома, если не имел гостей. Он особенно часто заходит «по соседству» к Хомяковым, которые еще в 1844 году переехали во вновь приобретенный ими дом князей Лобановых-Ростовских на Собачьей площадке. Здесь был центр самых оживленных и нескончаемых литературных и общественно-политических споров, постоянно бывали братья Киреевские, Герцен, Грановский, Аксаковы, Погодин, Петр Языков. В историю вошла знаменитая хомяковская «говорильня» – узенькая комната, с трех сторон обставлена диванами, между которыми с трудом был втиснут столик. Превращенный после 1917 года в Музей дворянского быта 1840-х годов, дом Хомяковых, по счастью, в части всей своей обстановки стал собственностью Государственного Исторического музея, где и экспонировалась долгие годы «говорильня».

Они были очень разными – эти привлекавшие Гоголя дома. Васильчиковы (Б. Никитская, 46), у которых еще в петербургские годы ему довелось быть домашним учителем и написать «Майскую ночь», – это возможность встреч с историком Сергеем Соловьевым, маринистом Айвазовским, писателями Глинкой и Соллогубом. Ростопчины (Садово-Кудринская, 15) – это интересное собрание русской живописи во главе с полотнами Федотова и беседы с хозяйкой, поэтессой Евдокией Ростопчиной, другом Огарева, Лермонтова, Дюма-отца. Благородное собрание (Б. Дмитровка, 1), где в мае 1849 года Гоголь участвует в литературных вечерах и торжественном заседании Общества любителей российской словесности, посвященных памяти Пушкина.

Плетнев напишет о нем сразу по его возвращении осенью 1848 года: «На вид очень здоров, щеголеват до изысканности». Старшая дочь Аксакова добавит: «Он веселее и

разговорчивее, нежели был прежде». А сын Щепкина отзовется: «Гоголь в нашем кружке был самым очаровательным собеседником, рассказывал, острил, читал свои сочинения, никем и ничем не стесняясь». И слова его собственного, обращенного к А. М. Виельгорской письма: «Сердце исполнено трепетного ожидания» творчества. Он сжег перед возвращением в Россию первый вариант второй части «Мертвых душ», но уверен, что в силах создать лучший. Успех чтения новых глав -лишнее доказательство его правоты. Правда, предстоит сделать еще многое, и год спустя он признается в письме той же Анози: «Избегаю встреч, чтобы не отрываться от работы». Впрочем, об отшельническом образе жизни не могло быть и речи. Весной 1850 года он решается на невероятный при его застенчивости шаг – делает предложение Анне Михайловне. Точнее – не ей самой. Один из родственников должен, по его поручению, узнать мнение ее родителей.

Для всех очевидна безнадежность подобной попытки: внучка герцога Бирона и человек без состояния, без прочных доходов. Разве не сам он писал несколькими месяцами раньше: «За содержание свое и житие не плачу никому. Живу сегодня у одного, завтра у другого»? Да и что значила литературная слава по сравнению со знатностью происхождения! За возмущенным отказом последовал полный разрыв. Гоголь на полтора года уехал на Украину.

* * *

Известие было не из приятных. Письмо, которое счастливый жених написал родителям, оказалось подаренным Надеждой Осиповной ее приятельнице княгине Александре Ивановне Васильчиковой. 3 мая 1830 года.

В эти же дни поэт доверится В. Ф. Вяземской: «Первая любовь всегда есть дело чувства. Вторая – дело сладострастия, – видите ли! Моя женитьба на Натали (которая, в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена. Отец мне дает двести душ, которые я закладываю в ломбарде». Накануне Петру Андреевичу Вяземскому были адресованы строки: «Сказывал ты Катерине Андреевне [Карамзиной] о моей помолвке? Я уверен в ее участии – но передай мне ее слова – они нужны моему сердцу, и теперь не совсем щастливому».

Такими откровениями с родителями поэт делиться бы не стал. И все же он готов отдать несколько своих автографов за злополучное письмо. Готов, но получает решительный отказ. Письмо остается у Александры Ивановны, с которой он связан добрыми отношениями долгие годы.

Собственно, дело не в княгине Васильчиковой, а в семействе Архаровых, из которого она родом. И разве не доказательство дружеской близости – присылка именно княгине 4 ноября 1836 года одного из анонимных пасквилей, адресованных поэту. Есть и другое обстоятельство, связывавшее Васильчиковых с Пушкиным, – жизнь Гоголя в их доме. На этой почве завязываются добрые отношения поэта и писателя.

Пушкин впервые узнает о Гоголе из письма П. А. Плетнева в конце февраля 1831 года, но за недосугом едва ли не до конца апреля не берется за чтение его сочинений. Личное знакомство в мае у того же Плетнева оказывается мимолетным. Зато с июня Пушкин с молодой женой устраивается в Царском Селе, Гоголь – в Павловске у Васильчиковых. «Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе, – пишет Николай Васильевич А. С. Данилевскому. – Почти каждый вечер собирались мы – Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера этих мужей». Гоголь не упоминает только о своем положении в доме, которое если несколько и скрашивалось, то лишь благодаря тактичности жившей с дочерью «старой Архаровой» и самой княгини.

«У тетки Васильчиковой было пятеро детей, – вспоминал впоследствии В. А. Соллогуб. – Один из сыновей родился с поврежденным при рождении черепом, так что

умственные его способности остались навсегда в тумане. К этому-то сыну, в виде не то наставника, не то дядьки и был приглашен Гоголь для того, чтобы по мере возможности стараться хоть немного развить это бедное существо... На балконе, в тени, сидел на соломенном низком стуле Гоголь, у него на коленях полулежал Вася, тупо глядя на большую, развернутую на столе книгу; Гоголь указывал своим длинным, худым пальцем на картинки, нарисованные в книге, и терпеливо раз двадцать повторял следующее: „Вот это, Васенька, барашек – бе...е...е, а вот это корова – му...му...у, а вот это собачка – гау...ау...ау...“ При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие».

И это на следующий день после того, как «старая Архарова» отправила внука послушать чтение Гоголя. Сами хозяйки интереса к литературе не проявляли. У стола с тремя вяжущими на спицах старухами Соллогуб впервые услышал гоголевские строки: «Знаете ли вы украинскую ночь?...»

Несмотря на, казалось бы, унизительные воспоминания, Гоголь – постоянный гость Васильчиковых. Продолжает посещать княгиню и Пушкин. О ее московском доме на Большой Никитской (№ 46) А. Ф. Писемский отзовется, что «у Васильчиковых по средам большие вечера». Здесь появляются М. С. Щепкин, Ф. И. Тютчев, Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, И. К. Айвазовский, не говоря о родном племяннике хозяйки В. А. Соллогубе.

Мать Владимира Александровича Соллогуба Софья Ивановна с мужем, которого Пушкин упоминает в первом варианте главы «Евгения Онегина». Их второй сын – Лев, связанный с окружением барона Л.Б. Геккера. Наконец, племянница Софьи Ивановны по мужу – Надежда Львовна Соллогуб, горькое и, по всей вероятности, встреченное взаимностью увлечение поэта: «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу Волнениям любви безумно предаваться; Спокойствие свое я строго берегу И сердцу не даю пылать и забываться...» Когда попытки противостоять пылкому поэту оказались тщетными, родные прибегли к крайнему решению. В июле 1836 года Софья Ивановна увезла племянницу за границу, откуда Надежда Львовна вернулась после гибели Пушкина женой брата декабриста А. Н. Свистунова. Скорее всего, поэт провожал ее до Кронштадта. Между тем сама Софья Ивановна пользовалась особым уважением и вниманием Пушкина, и это ниточка, связывающая его с еще одной московской усадьбой.

Собственно, начиналось все с Архаровых. Это они, родители четырех дочерей, выдали одну из них за сенатора З. И. Посникова, рано умершую Варвару – за Ф. Ф. Кокошкина (ее могилу почтил своей эпитафией Константин Батюшков), Александру – за князя Васильчика и Софью – за Александра Ивановича Соллогуба. Эта последняя свадьба особенно занимала воображение москвичей.

Прежде всего, романтическая фигура молодожена. Был Александр Иванович сыном генерал-майора русской службы, приехавшего в 1776 году из Польши и женившегося на Наталье Львовне Нарышкиной. А. И. Соллогуб веры отца не менял, оставался католиком, что не помешало ему в двадцать один год стать камер-юнкером, а в дальнейшем выслужиться до обер-церемониймейстера. Признанный красавец, первый петербургский щеголь и законодатель мод – кто из современников не знал знаменитого синего плаща на красной бархатной подкладке, в котором Александр Иванович разъезжал по столице! – Соллогуб в 1810 году приехал в Москву и сходу женился на некрасивой, лишенной всяких признаков женской привлекательности Софье Архаровой. Мало того – он остался жить в Москве.

В 1812 году дом Соллогубов вместе с превосходной библиотекой сгорел. Находясь в ополчении Ростопчина, Александр Иванович стал свидетелем убийства мнимого шпиона Верещагина. Впечатления оказались слишком сильны, и чета Соллогубов предпочла переселиться в Петербург, в небольшой дом на углу Мошкова переулка – адрес, хорошо известный всем столичным меломанам. Сам Соллогуб был хорошим музыкантом и певцом. Мало кто мог с ним сравниться по умению устраивать веселые праздники и уж тем более в

искусстве танцевать мазурку. Его доброта, щедрость и веселость вошли в поговорку.

Тем не менее Пушкин явно обходит его вниманием, отдавая предпочтение Софье Ивановне. Ее отличали, по словам современников, последовательность и логичность мысли при очень твердом и волевом характере. С ней непросто было общаться и с ней всегда было интересно. Беседы с Софьей Ивановной одинаково любили поэт и царь, часто навещавший графиню Александр I. Трудно сказать, как уживались супруги. Во всяком случае, своим роскошным образом жизни Александр Иванович едва не разорил семью. Одной из последних больших его трат стала собранная А. И. Соллогубом в Париже хорошая картинная галерея. После смерти мужа в 1841 году Софья Ивановна отказалась и от Парижа, и от Петербурга, предпочтя жизнь в родной Москве.



V.A. Соллогуб. Фотография. 1850-е гг.

Владимиру Соллогубу довелось стать «свидетелем и актером драмы, окончившейся смертью великого Пушкина». В предполагавшейся в ноябре 1836 года дуэли поэта с Дантеом Пушкин отводил ему роль секунданта. В то же время Пушкин живо интересовался литературными опытами Соллогуба и был, по словам самого писателя, «чрезвычайно ко мне благосклонен». Сохранилась часть их переписки. У гроба поэта Владимир Соллогуб столкнулся и со своим будущим тестем – графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским, назначенным затем одним из опекунов наследников Пушкина. В 1840 году Владимир Соллогуб женился на Софье Михайловне Виельгорской, «белом ангеле», как называл ее Гоголь. Когда-то Софья Ивановна Архарова принесла мужу в приданое поместье Рождествено-Телятьево неподалеку от Лопасни, в 80 верстах от Москвы, унаследованное затем В. А. Соллогубом. И как знать, что важнее – мнимая ли связь старой городской усадьбы на Поварской («Дом Ростовых») с героями Л. Н. Толстого или тени Гоголя и Пушкина, снова и снова возникавшие в ее стенах?

* * *

Это была история первого друга Баратынского, имя поэта, названное им Гоголю.

Кто-то с досадой отозвался о нем: «Мишневский затворник». Кто-то добавил: «Мишневский монах». Он не обиделся: пожалуй. И затворник, и монах. Друзья напрасно пытались вызывать его в Петербург, приглашать в соседние имения. Александр Николаевич Креницын всегда находил отговорки – нездоровье, деревенские хлопоты, то сев, то жатва, то охота. Зато сердечно радовался каждому, кто на пути из Петербурга в Москву заворачивал в его скромный дом в нескольких верстах от Великих Лук. Не откликнуться на такое гостеприимство было попросту невозможно.

Обычная деревушка – никак не барское поместье. Мишнево как нельзя лучше было

приспособлено для одинокого холостяцкого житья. Превосходная библиотека – хозяин вывез ее из своего псковского, куда более богатого имения. Кипы журналов из всех европейских стран – на подпись он никогда не жалел средств. Хорошие музыкальные инструменты – его фортепиано, скрипке, виолончели могли позавидовать самые требовательные профессионалы. Ухоженный сад. Без фонтанов, модных руин и гротов, зато со множеством яблонь и вишен, зарослями малины и крыжовника. У сельской церкви, на соседнем погоре Горки, могилы родных: деда, строителя местного храма, Саввы Ивановича, скончавшегося здесь же «15 мая 1816, пополудни во 2-м часу, на 71 году», племянника Ивана Владимировича. Никаких женских имен, как и следов женской руки во всем Мишневе. Вместо них не чаявший души в воспитателе воспитанник, в одном лице литературный секретарь и управляющий, ведавший отличным винным погребом и славившейся среди знакомых кухней.

Это он, Антон Закржевский, похоронит здесь же самого Александра Николаевича и составит эпитафию на его могиле: «Ты был для меня всем на земле, благодетелем, отцом и другом. Благодарность,уважение и любовь сохранятся во мне навсегда к тебе, незабвенному и постоянно живущему в моем сердце». А позже сдержит слово и останется у него в ногах под камнем с короткой надписью: «Антон Закржевский». Без дат жизни, родственной связи, чина. Затворничество не могло не привести к полному забвению. К тому же шел уже 1865 год.

Неприметный человек, ничем особенным не сумевший выделиться? Вовсе нет. Член многолюдной, дружной, любящей балы и шумные застолья семьи псковских помещиков. Завсегдатай всех балов – от псковских сельских до петербургских придворных. Происхождение и состояние давали для этого все возможности. Остроумец. Весельчак. Одаренный и признанный поэт. Только почему-то все осталось в прошлом. В уважительном и обстоятельном некрологе «Отечественных записок» речь шла об известном библиофоне, литературном критике и издателе, связанном со столичными журналами. И еще об издателе, среди трудов которого существенное место занимали произведения А. А. Бестужева-Марлинского и полное собрание сочинений Е. А. Баратынского, его ближайшего и многолетнего друга.

Кстати, в каждом из выходивших и ныне выходящих собраний Баратынского первым стоит «Послание Креницыну». В свое время переписанное рукой В. К. Кюхельбекера, оно было обнаружено среди архива В. А. Жуковского:

Товарищ радостей младых,
Которые для нас безвременно увяли:
Я свиделся с тобой. В объятиях твоих
Мне дни минувшие, как смутный сон, предстали.
О, милый. Я с тобой когда-то счастлив был.

Но и этого мало. В жизни Пушкина был знаменательный эпизод. Поэт послал Николаю I на высочайший цензурный досмотр рукопись «Истории Пугачева». Рукопись была мгновенно возвращена с гневным царским росчерком: «Что это такое?...»

Оказалось, на краю оберточной бумаги, в которой пересыпалась рукопись, рукой Пушкина были записаны два имени: Александр и Петр Креницыны. Император мог пренебречь оплошностью автора, осмелившегося использовать грязную бумагу, если бы не данные имена. Николай I их знал: трое братьев Креницыных входили в список лиц, причастных к событиям на Сенатской площади.

Между тем знакомство Пушкина и Креницына началось в их детстве. Соседи по псковским имениям скуки и одиночества не выносили. Мать поэта пишет его сестре из Михайловского: «Вот уже две недели, как ты не получала от нас вестей и не удивляйся. Нас в Тригорском не было, не было и в Михайловском. Да что в Михайловском было делать? Скука невыносимая. Итак, мы решились объехать всех наших добрых знакомых. Начали с

Рокотовых... Нагрянули к Рокотовым и Шушерины, Креницыны и кузены мои Ганнибалы. Саша не может простить многие случаи рассеянности этого вертопраха «Рокотова» и ею болтливости. Как бы то ни было, с Рокотовым не соскучишься».

«От Шушериных мы с Рокотовым и с той же компанией, – продолжает Надежда Осиповна, – двинулись к Креницыным на три дня, оттуда к Темиировым... А стены гостеприимного Тригорского огласились песней Земфиры из „Цыган“ Сашки: „Старый муж, грозный муж...“ Песню поют и у Осиповой, и у Креницыных, а музыку сочинил сам Вениамин Петрович Ганнибал». Те же лица оживут в доме Лариних, на балу по поводу Татьяниного дня, как и вся завязка «Онегина» будет подсказана псковским житьем. Сколько барышень захочет узнать себя в Татьяне и Ольге, сколько молодых людей в Ленском и хоть чуть-чуть в Онегине.

В этой нескончаемой веренице у Креницыных особое место. Их родовое поместье Цевло на берегу озера Дубец одно из самых богатых. У хозяев огромная библиотека. Они держат крепостной оркестр с капельмейстером, получившим музыкальное образование за границей. Это ему отдала руку и сердце сестра хозяев, девица Креницына, в чем и призналась брату. Взбешенный Николай Саввич сумел уничтожить церковную венчальную запись. Незадачливая супруга оказалась в монастыре, дирижер – в солдатах. Цевло славится шумными праздниками, фейерверками, гуляниями, и провести здесь три дня, как пишет Н. О. Пушкина, настоящее счастье.

Единственный среди многочисленных сыновей хозяина, Александр, подобно Пушкину, попадает в Царскосельский лицей, но в преддверии Отечественной войны 1812 года уговаривает родителей перевести его в Пажеский корпус. Военная служба привлекает юношу гораздо больше гражданской. Но как раз в корпусе Креницын начинает увлекаться поэзией и близко сходится с Баратынским. Баратынский за свое свободомыслие и независимый нрав поплатится исключением из корпуса. Придравшись к детской шалости, начальство оставляет для него единственную возможность – начать службу рядовым солдатом в Финляндии. Не лучше складывается и судьба Креницына. В 16 лет он напишет стихи «К врагам»:

*Бичом я буду злыkh, доколе злыe есть;
Правдивым быть – велит коль не рассудок – честь...
Пусть гнусные льстцы вам похвалы сплетают.
Пускай в смирении святым уподобляют,
Пусть гимны вам поют – но
Я, я не таков.*

Окончательно выведут начальство из себя строки разошедшегося по всей России в рукописных списках «Панского бульвара» – жестокой сатиры на придворное общество. Выпущенный в армейский полк, Александр Креницын окажется в ссылке, которая изменит всю его судьбу.

Чем-то напоминающий и восторженного Ленского, и романтического обличителя Чацкого, Креницын влюбляется в одну из псковских соседок. Он и в этом похож на Грибоедова, нигде и никогда не называв имени любимой. Другое дело – условное имя в стихах, которыми зачитывается современная поэту молодежь:

*Лила. Лила. Что сравнится,
Несравненная, с тобой?
Чье перо, чья кисть решится
Описать мне образ твой?
Я узрел тебя – смущился,
Пламень страсти ощущил;
Я узнал тебя – пленился,
С той минуты полюбил...*

Чувство было взаимным. Креницын мечтал о браке. Но – происходят события на Сенатской площади. Мало того что Креницын уже поплатился за свое свободомыслие солдатской службой, его имя оказывается внесенным в списки подозреваемых по делу декабристов. Когда Пушкин оказывается в Михайловском после южной ссылки, имя его тезки не называют даже в доме Креницыных. Родители же барышни наотрез отказывают ей в своем благословении. Креницын не может рассчитывать даже на тайное венчание: у смертного одра отца девушку заставляют дать обещание забыть о любимом. Все, на чем она может настоять, – отказаться от брака с другим. И – уехать в Москву.

Почти одновременно с Баратынским Креницын получает офицерский чин, который дает ему возможность тут же выйти в отставку. Но Баратынский сможет найти себе избранницу, создать семью. Креницын – нет. Он однолюб и сам признается, что всю душевную энергию отдал той, которая никогда с ним не будет. В 1826 году он пишет:

*Я чувства отразил тоскою,
Мне в душу вкраилась пустота;
Глаза покрылись смертной мглою,
Лишь вся видна передо мною
Презренной жизни нагота.*

Баратынский говорил о друге, что Креницын создан для верности. Во всем – в дружбе, в любви. Ему невозможно найти другую супругу и также невозможно забыть предательство родителей, побоявшихся в свое время его имени. Отрешенный родными из боязни начальственного неудовольствия, теперь он сам отрешает себя от обстановки семьи и юности. Впрочем, псковские места слишком живо напоминали о пережитом. Креницын выбирает жизнь в Мишневе, откуда ездит только в Москву. Для встреч с Баратынским и, может быть, не с ним одним. Недаром в подмосковном имении поэта Муранове среди личных и самых дорогих вещей сохранялся дагерротипный портрет Креницына, единственный, дошедший до наших дней. В течение почти десяти лет Креницын останавливается в Москве в доме Баратынских по Большому Чернышеву переулку, 6, а после 1835 года – в их городской усадьбе по Спиридовонке, 14-16.

Гораздо реже Креницын навещает столицу на Неве, используя свои приезды для встреч с Пушкиным. 10 февраля 1837 года Пушкина не стало, и одним из первых проститься с ним приходит Александр Креницын. Спустя несколько дней глубокой ночью он провожает в последний путь тело поэта, которое тайком, без почестей и с единственным провожатым, А. И. Тургеневым, вывозится на Псковщину, в Святогорский монастырь. Он потрясен разыгравшейся на его глазах трагедией, и когда сестра в эти дни обращается к нему с просьбой вписать ей стихи в альбом, Креницын отвечает строками «На смерть поэта», которые навсегда вычеркнут его имя из истории русской литературы. Запрет на их публикацию в полном виде сохранялся почти до сегодняшних дней, как и запрет упоминать имя поэта в любых трудах и энциклопедиях по русской литературе. За физическим убийством одного поэта последовала духовная казнь другого:

*Во мраке ссылки был он тверд,
На лоне счастья благороден,
С временщиком и смел, и горд,
С владыкой честен и свободен...
Рабы. Его святую тень
Не возмущайте укоризной:
Он вам готовил светлый день,
Он жил свободой и отчизной...*

Поставили ли Креницына в известность о гневе, который вызвали его строки? Да ему самому был понятен отклик начальства на них. Поэт скрывается в своем Мишневе, чтобы один только раз оставить его ради поездки в Париж. Креницын хотел присутствовать при перенесении во французскую столицу с острова Святой Елены праха Наполеона. И это снова своеобразный жест политического протesta. В условиях возрождения французской монархии Бурбонов, последовавшей за ней Парижской коммуны Наполеон для многих превращался в консула республики, противостоящего самодержавию.

На обратном пути, в Петербурге, Креницын встретил ту, которой хранил верность. По преданию, они провели вечер в соседних ложах оперного театра, не перекинувшись ни единим словом. На вопрос Баратынского, был ли он счастлив в жизни, Креницын ответил утвердительно. Мой идеал ни в чем не померк от времени, заметил он. «Я жил им и для него» – слова, сказанные незадолго до смерти.

Эта смерть принесла любимой поэта горькую радость каждый год приезжать на погост Горки, чтобы поклониться могиле жениха. Она пережила Александра Николаевича Креницына на двадцать лет.

* * *

Свершилось! Перед ней был Пушкин. Юная Додо Сушкова никому не признавалась, как ждала этой минуты, как готовилась к ней. Она знала на память едва ли не все, что становилось известным, из его стихов. И обстоятельства жизни. Поэт оставил Москву в год ее рождения, направляясь в Царскосельский лицей, и впервые вернулся на родину с фельдъегерем, отбыв ссылку на юге и в Михайловском, когда ей едва исполнилось пятнадцать. Кто бы стал представлять девочку знаменитому поэту? И все же их знакомство должно было состояться. Пушкин знался со всей ее родней и разве что случайно еще не успел побывать в их доме на Чистых прудах.



Дом Ростопчных

8 апреля 1827 года – она запишет для себя этот день и будет помнить его во всех подробностях до конца своей жизни. Ничто не предвещало чуда. Все семейство Сушковых собиралось на модное гулянье под Новинским. Не побывать там на Рождество, Святки или Масляную настоящие москвичи не могли себе позволить. От Садовой-Кудринской площади в сторону Смоленской-Сенной по правую сторону выстраивались ресторации и палатки со всяческими лакомствами. Воздвигался огромный шатер с зеленой елкой наверху – знак, что в

нем продавалась водка. По другую сторону раскидывались балаганы с циркачами, фокусниками, дрессированными животными, кукольными театрами, пантомимами. Простой народ развлекался «самокатами» – каруселями с колясками, качелями, простыми каруселями. Посередине проезда пробирался бесконечный ряд экипажей. И вот среди этого шума, веселья, беспорядочной толчеи, взрывов смеха Додо увидела:



A.C. Пушкин

Вдруг все стеснилось, и с волненьем
Одним стремительным движеньем
Толпа рванулася вперед...
И мне сказали: «Он идет...»
Он – наш поэт, он – наша слава, —
Любимец общий! Величавый
В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел он быстро предо мной...

Будущая известная поэтесса Евдокия Ростопчина с детства была увлечена литературой. В семье дань этому виду искусства отдавали все. Бабушка Мария Васильевна Сушкина получила известность как переводчица на русский язык Мармонтеля и с русского на французский – произведений М. М. Хераскова. Она сотрудничала в первых литературных журналах екатерининского времени, и Данила Лукич Мордовцев, один из самых любимых в России авторов исторических повестей, причислил ее к замечательным женщинам второй половины XVIII века. Сын Марии Васильевны, родной дядя Додо, Н. В. Сушкин учился и дружил с А. С. Грибоедовым, познакомился с совсем еще маленьким Пушкиным, виделся с ним в Лицее и даже передал поэту поэму М. М. Хераскова «Бахариана», которой тот пользовался, работая над «Русланом и Людмилой». Если его собственные литературные опыты и не отличались талантливостью, это искупалось тем благоговением, с которым он относился к Пушкину. 1 февраля 1837 года он был у гроба поэта.

Современникам нравились сочинения и переводы другого дяди Додо – М. В. Сушкина, в том числе его «Российский Вертер». Писали стихи и братья поэтессы. Однако родственная критика подчас бывала такой беспощадной, что девочка далеко не всегда решалась представлять на семейный суд свои сочинения.



Дюма-отец



П.А. Федотов

На следующую зиму юную Евдокию Сушкову родные начинают вывозить в свет, и на одном из декабрьских балов в доме А. В. Голицына ей представляют Пушкина. Теперь поэт забудет обо всем окружающем. Разговор пойдет о стихах Додо, которые Пушкин, оказывается, знал уже не один год. События на Сенатской площади, выступление декабристов вызовут к жизни строки поэтессы, и они станут известны:

Соотчичи мои, заступники свободы,
О, вы, изгнанники за правду и закон,
Нет, вас не оскорбят проклятием народы,
Вы не услышите укор земных племен!...
Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести
И цепи рабства снять с России молодой,
Но вы страдаете для родины и чести,
И мы признания вам платим долг святой.

Она была очаровательна, романтична, но не только эти черты собирали вокруг Евдокии Петровны толпы поклонников. Не о юной светской красавице думал Николай Огарев, едва не каждый день приезжавший в сушковский дом на Чистых прудах. Общность взглядов, мыслей, литературных увлечений казалась дороже всего остального. И насмешливый Пушкин ни разу не позволит себе даже тени иронии в отношении «прелестной поэтессы». Во-первых и прежде всего – поэтессы. Как разгадать, что занимает в эти дни воображение поэта? Он приезжает в Москву в первых числах декабря 1828 года всего лишь на месяц, на который и приходится знакомство с Сушковой. Пушкин частый гость Зинаиды Волконской, сестер Ушаковых, одной из которых – Екатериной – он начинает серьезно увлекаться, Марии Ивановны Римской-Корсаковой с ее созвездием красавиц-дочерей – многие из москвичей помнят еще недавно украшавший Пушкинскую площадь их дом, иначе называвшийся

«домом Фамусова». Он ездит к цыганам в Тишинские переулки и не может обрести душевного равновесия.

На это обращает внимание близкий приятель поэта П. А. Вяземский в одном из своих писем: «Он что-то во все время был не совсем по себе, не умею объяснить, ни угадать, что с ним было, но он не был в ударе... [я] все не узнавал прежнего Пушкина».

О том же записывает в своем дневнике и, казалось бы, только что узнавшая поэта Евдокия Петровна. Даже самой себе юная поэтесса не признавалась в том, насколько сильное впечатление произвел на нее Пушкин. Впечатление на всю жизнь. Только в строках, написанных после гибели поэта, она приоткроет завесу своей жизненной тайны:



И.К. Айвазовский

Слова его в душу свою принимая,
Ему благодарна всем сердцем была я...
И много минуло годов с того дня,
И много узнала, изведала я, —
Но живо и ныне о НЕМ вспоминанье;
Но речи поэта, его предвешанье
Я в памяти сердца храню как завет
И ими горжусь... хоть его уже нет!...

Евдокия Петровна оказывается свидетельницей увлечений поэта. Их немало. Но ни разу она не сделает попытки привлечь к себе внимание своего кумира. Она уверена: подлинная любовь, если ей суждено возникнуть, должна развиваться по своим собственным законам, ей чуждо какое-либо вмешательство или насилие. В жизни Пушкина появляется Натали Гончарова. Любящим сердцем Евдокия Петровна угадывает, насколько нелегка будет дальнейшая судьба поэта. Может быть, она лучше других понимает характеры и душевые особенности участников будущей драмы. Никого не обвиняет, всем только сочувствует. Ее выдержке и такту могут позавидовать умудренные жизненным опытом люди. У Евдокии Петровны нет опыта – есть чувство.

31 марта 1831 года она видится с супругами Пушкиными – они вместе участвуют в санном масляничном катанье и блинах, которые устраивает ее близкий родственник С. И. Пашков, женатый на княжне Надежде Сергеевне Долгоруковой, ровеснице поэтессы.

Это все молодые пары. Недавно поженившиеся. И очень счастливые. Свадьба Пашковых состоялась в 1830 году. Брат княжны А. С. Долгоруков, участвующий в том же катанье, обвенчался со своей женой, Ольгой Александровной Булгаковой, всего два месяца назад, и Пушкину довелось танцевать на первом балу молодоженов. Это Ольга Александровна поразила Пушкина своим замечанием, когда он заявил о своем желании ехать в Персию: «Байрон поехал в Грецию и там умер; не ездите в Персию, довольно вам и одного сходства с Байроном». Молодая княгиня Долгорукова не скрывала, что Пушкин был ее любимым поэтом.

Но именно потому, что она находится в среде поклонников и друзей поэта, Евдокия Петровна не может не знать больно ранящих ее подробностей его жизни. Того, как много проиграл Пушкин в Москве записным игрокам и как не сумел расплатиться с чудовищным для него долгом. Того, что ему пришлось заложить свою деревеньку и полученные деньги почти полностью раздать за долги и за приданное своей невесты. Теща откровенно заявила соискателю руки прекрасной Натали, что средствами не располагает, а без приличного приданого выдать дочь замуж ни за что не согласится. Даже в день венчания она готова была отложить обряд, требуя с Пушкина все новых и новых сумм. В результате поэту оказалось не на что сшить себе к свадьбе фрак. Пришлось надеть фрак Нащокина, в котором, по утверждению друзей, Пушкина позже положили и в гроб.

Потом была еще необходимость иметь дело с ростовщиками. Один заем у пользовавшегося дурной славой Никиты Андреевича Вейера, который жил у Никитских ворот, в бывшем доме А. В. Суворова, Пушкин взял непосредственно перед свадьбой. Второй – сразу после венчания, под залог бриллиантов Натали.

И множество дурных примет, сопровождавших самый обряд венчания в церкви Большого Вознесения, через проулок от усадьбы Н. А. Вейера. Друзья шепотом передавали друг другу, как упали случайно задетые Пушкиным крест и Евангелие с аналоя, как при обмене колец одно из них скатилось на пол, и в довершение всех бед у жениха погасла свеча. «Одни дурные предзнаменования», – заметил побледневший поэт.

Разговор об этом как-то происходил и в присутствии Евдокии Петровны, и Пушкин был искренне удивлен безмятежным выражением ее лица. Эпизод этот, однако, лишь новое свидетельство того, как умела молодая женщина владеть собой. «...Сердце у меня сжалось в это мгновение от боли», – признавалась сама Ростопчина.

Евдокия Петровна с редким добросердечием относится к Наталье Николаевне. Ни тени зависти, тем более ненависти, напротив, старается ободрить, помочь. Ради поэта. «Ее чувства были не по нашим меркам», – замечает ее брат С. П. Сушков.

Но наступает время перемен и для самой поэтессы. Биографы склоняются к тому, что не Евдокия Петровна, а заботливые родственники находят для нее блестящую партию.

Сын бывшего московского генерал-губернатора Ф. В. Ростопчина, деятельного участника событий 1812 года в Москве, граф Андрей давно освободился от отцовской опеки: генерал-губернатора не стало в 1826 году. Правда, Андрею Федоровичу всего 19 лет, и он моложе своей невесты. Зато граф богат, знатен и очень хорош собой. Впрочем, согласие невесты последовало скорее всего из-за литературных увлечений жениха.

Со временем А. Ф. Ростопчин станет известным библиографом, книжным знатоком и даже почетным членом Петербургской Публичной библиотеки. Он занимается литературой и относится к числу поклонников поэтического таланта своей будущей жены.

28 мая 1833 года в Москве появляется поэтесса Евдокия Ростопчина. Под этим именем Додо Сушкова и войдет в историю нашей литературы. Закончился этап ее биографии, который она так охарактеризовала в своем стихотворении «Три поры жизни»:

Была пора: во мне тревожное волненье,
Как перед пламенем в волкане гул глухой,
Кипело день и ночь; я вся была в стремленье...
Я вторила судьбе улыбкой и слезой.
Удел таинственный мне что-то предвещало;
Я волю замыслам, простор мечтам звала...
Я все высокое душою понимала,
Всему прекрасному платила дань любви,
Жила я сердцем в оны дни!

Новую страницу своей жизни Евдокия Ростопчина назовет порой тщеславия. Светские успехи словно должны отвлечь ее от мыслей и чувств, у которых нет будущего. «Я

вдохновенья луч тушила без пощады для света бальных свеч... я женщиною была», – скажет поэтесса о себе.

Но в канун этих оказавшихся нелегкими для нее лет, весной 1832 года, Ростопчина напишет своего рода эпитафию Пушкину – стихотворение «Отринутому поэту». Карточный долг продолжал существовать и обрастил процентами. Мысли о заработке, непрестанно растущей семье, связях со двором не оставляли Пушкина ни на минуту. Доходившие до Евдокии Петровны сведения о петербургской жизни поэта были неутешительными. Но у Ростопчиной хватает широты души не принять сторону одного Пушкина. Она искренне симпатизирует Наталье Николаевне, считая ее обреченной на семейные неурядицы и раздор.

Через три года семейной жизни Ростопчины переезжают в Петербург. Имя графини Евдокии Петровны окружено громкой славой. Журналы охотно предоставляют свои страницы ее поэзии. Критики не склоняются на восторженные похвалы. Особенно ее поддерживают В. А. Жуковский и – Пушкин. Наконец-то у них завязываются более тесные и постоянные отношения.

Ростопчина не претендует на обычный столичный салон. У нее в доме превосходная кухня, и ростопчинские обеды собирают самых знаменитых литераторов. Пушкин, правда, как-то замечает: насколько Ростопчина превосходно пишет, настолько же неинтересно говорит. Здесь есть чему удивиться. Ее беседы привлекают Огарева, Жуковского, впоследствии Лермонтова. Именно беседы. А Пушкин – что ж, откуда ему было догадаться, как робела перед ним блестательная светская красавица. Недаром она проговорится в одном из своих стихотворений:

*Боюсь двусмысленных вопросов и речей!
Боюсь участия, обмана... и друзей.*

Ее отношение к Пушкину остается трепетным и благоговейным.

Кто только не бывал в петербургском салоне Ростопчина! Здесь и самые известные певцы из Италии, и великолепные музыканты графы братья Виельгорские, М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский. Расширяется круг литературных завсегдатаев – ее навещают П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский, А. И. Тургенев, П. А. Плетнев, С. А. Соболевский, Владимир Соллогуб. Для Ростопчиной наступает третья и самая счастливая, по ее собственному признанию, пора жизни:

*Но третия пора теперь мне наступила,
Но демон суэты из сердца изжжен,
Но светлая мечта Поэзии сменила
Тиеславья гордого опасно сладкий сон.
Воскресло, ожило святое вдохновенье!...
Дышу свободнее; дум царственный полет
Витает в небесах, и Божий мир берет
Себе в минутное, но полное владенье;
Не сердцем – головой, не в грезах – наяву,
Я мыслию теперь живу!*

Пушкин настолько дорожит домом Ростопчина, что даже за день до дуэли приезжает обедать к Евдокии Петровне. «Обычный гость», – отзываются о нем современники. Привычная сдержанность графини не позволит тем же современникам увидеть всю глубину трагедии, которой стала для нее гибель поэта. Лишь Жуковский, сердцем проникший в тайну графини, делает ей драгоценный и необыкновенный подарок – последнюю черновую тетрадь Пушкина, в которую тот еще ничего не успел вписать. Тетрадь сопровождалась запиской Василия Андреевича – он благословлял Ростопчину «докончить книгу». И графиня

откликается на подарок посвященными памяти великого поэта стихами:

*Смотрю с волнением, с тоскою умиленной
На книгу-сироту, на белые листы,
Куда усопший наш рукою вдохновенной
Сбирался вписывать и песни и мечты;
Куда фантазии созревшей, в полной силе
Созданья дивные он собирать хотел...
...И мне, и мне сей дар! Мне, слабой, недостойной,
Мой сердца духовник – пришел ее вручить,
Мне песнью робкою, неопытной, нестройной
Стих чудный Пушкина велел он заменить!...*

Но в действительности тетрадь не была совсем чистой. В ней уже находились черновые наброски самого Жуковского, к которым Ростопчина начала добавлять ходившие в списках, «потаенные» стихи Пушкина. Там оказались эпиграммы на Аракчеева, Булгарина и других. И около полутораста стихотворений самой графини.

Ростопчиной не дано было знать, какой сложный путь предстоит проделать ее рукописному сборнику. Дочь Евдокии Петровны предпочла продать его собирателю рукописей и предметов пушкинского времени А. Ф. Онегину-Отто. Сборник оказался в парижском музее. И лишь счастливый случай помог ему, вместе со всем онегинским собранием, вернуться в конце 1920-х годов на берега Невы, в Пушкинский дом.

«Она, без сомнения, первый поэт теперь на Руси», – отзовется о Ростопчиной в это время сменивший Пушкина в руководстве журналом «Современник» П. А. Плетнев. И почему-то так высоко ценимая поэтесса не хочет оставаться в Петербурге, ищет одиночества. Графиня уезжает в свое воронежское имение «Анна», где пишет две повести – «Чины и деньги» и «Поединок», объединенные в сборнике «Очерки большого света». Одновременно она готовит первый сборник своих стихов. Он достаточно необычен. Тема Ростопчиной – неразделенная женская любовь, любовь скрытая, робкая в своих проявлениях, но глубокая и поглощающая всю ее жизнь. Графиня и здесь не дает угадать, кому принадлежало ее сердце.

Некоторое горькое утешение она находит теперь в общении еще с одним великим поэтом России. Знакомство с Лермонтовым, который был на три года моложе Ростопчиной (как и ее муж), относилось еще к годам ее «московского житья». Но с тех пор произошло слишком многое в жизни обоих. Лермонтов поплатился за свои строки на гибель Пушкина, успел побывать на Кавказе и снова вызвать императорский гнев. В эти тяжелые дни он начинает часто бывать у графини.

Их связывает общность литературных увлечений и преклонение перед Пушкиным. Литературоведы до сих пор не могут с уверенностью сказать, познакомился ли Лермонтов при жизни со своим великим современником. Пушкин как будто читал лермонтовские строки и высоко их оценил. Скорее всего Лермонтов смог проститься с телом поэта. Воспоминания и рассказы Ростопчиной об их общем кумире особенно его трогали.

«Отпуск его подходил к концу, – вспоминала впоследствии Ростопчина. – Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия. Наконец, около конца апреля или начала мая мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути. Я одна из последних пожала ему руку... Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его казавшимися пустыми предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце».

Ростопчина и Лермонтов обменялись посвященными друг другу посланиями. Стихотворение Ростопчиной называлось «На дорогу». Лермонтовское начиналось строками:

*Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены;*

*Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны...
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать,
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную вверять...*

Стихотворение «Графине Ростопчиной» датировано 27 марта 1841 года. 15 июня того же года Лермонтова не стало. Ростопчина отозвалась на эту потерю строками:

*Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой...*

Графине всего тридцать лет. Но груз потерь и разочарований так велик, что, кажется, ей уже не удастся оправиться. Бесследно исчезает романтика юности, и она повторяет для себя лермонтовские строки:

*Мы жадно бережем в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад...*

В 1845 году Ростопчина с мужем и тремя детьми уезжает за границу. Перед ней проходят Германия, Австрия, Италия, Франция. Во Франции поэтесса знакомится с великим романистом Александром Дюма-отцом. Дюма недавно выпустил в свет «Записки учителя фехтования», посвященные русским декабристам и резко осужденные императором Николаем I. Въезд в Россию для писателя закрыт. Между тем рассказы Ростопчиной, сам ее образ вызывают живейший интерес Дюма. Особенно волнует его история Лермонтова. Для Дюма Ростопчина предстает последней любовью поэта.

Встреча в Риме с Гоголем побуждает Евдокию Петровну направить для публикации в Россию ее стихотворение «Насильный брак», аллегорически представлявшее присоединение к Российской империи Польши. Гоголь был прав – цензура пропустила в печать «недосмотренное» сочинение, зато Николай I тут же разгадал его истинный смысл. Последовало запрещение для Ростопчиной появляться в северной столице. Для жизни ей определялась Москва, из которой она время от времени выезжала в подмосковное же Вороново.

В доме на Садово-Кудринской Ростопчины устраиваются с полным комфортом. Они владеют великолепной библиотекой и редким собранием картин и скульптуры – коллекционированием увлекается граф Андрей Федорович. Дом-музей гостеприимно открыт для всех желающих – никаких ограничений для посетителей.

А в литературном салоне графини собирается без преувеличения вся литературная Москва. Здесь можно встретить М. Н. Загоскина, Д. В. Григоровича, А. Ф. Писемского, выступавшую под псевдонимом Е. В. Тур графиню Салиас де Турнемир – сестру драматурга А. В. Сухово-Кобылина, поэта Я. П. Полонского, актеров М. С. Щепкина и И. В. Самарина. В этих стенах происходит знакомство. Льва Толстого с А. Н. Островским, живописца П. А. Федотова с Гоголем.

В мае 1850 года Ростопчины устроили выставку Федотова, пользовавшуюся совершенно исключительным успехом. «Что заставляло стоять перед ними [картинами] на выставках такую большую толпу посетителей, что привлекло приходивших к ним в ростопчинскую галерею, – писал журнал „Москвитянин“, где сотрудничала Ростопчина, – это верность действительности, иногда удивительная, разительная верность».

Федотовым же был написан превосходный портрет Евдокии Петровны.

Но память – ею поэтесса дорожит больше всего. Она много пишет, много работает, а сердцем по-прежнему принадлежит пушкинским годам. Евдокия Петровна сама признается в этом незадолго до своей смерти профессору историку М. П. Погодину: «Принадлежу и сердцем и направлением не нашему времени, а другому, благороднейшему – пишущему не из видов каких, а прямо и просто от избытка мысли и чувства, я вспоминала, что жила в короткости Пушкина, Крылова, Жуковского, Тургенева, Баратынского, Карамзина, что эти чистые славы наши любили, хвалили, благословляли меня на путь по следам их – и я отреклась... от своей эпохи, своих сверстников и современников, сближаясь все больше и больше с моими старшими, с другими образцами и наставниками моими...»

Такое отчуждение оказывается недолгим. Ростопчина уходит из жизни сорока шести лет. Ее уносит неизлечимый недуг.

Но на пороге смерти судьба подарит графине еще одну встречу с Александром Дюма, который после смерти Николая I наконец-то получает разрешение посетить, хотя и под негласным надзором, Россию. По его просьбе Евдокия Петровна возвращается к своему прошлому: она пишет воспоминания о Лермонтове и передаст французскому романисту список стихотворения Пушкина «Во глубине сибирских руд».

«Я выполнила свои обязательства в отношении тех, кого сердцем любила...»

«Наш неуемный Николай Васильевич!»

Так стали его называть в последний приезд в Москву близкие знакомцы, иногда посмеиваясь, иногда откровенно досадуя. Договориться с Гоголем о встрече, застать его на квартире было совсем не просто, зато в один день можно было увидеть в нескольких домах, а вечером и вовсе в театре. Гоголь не искал одиночества, был жаден до впечатлений, новых знакомств, явно истосковавшись по кипучей московской жизни. Его везде ждут, ему повсюду рады, на его приглашения отзываются с восторгом. Он откровенно наслаждается московской речью, откликается на все ее оттенки, богатство модуляций. Не случайно он писал в 1846 году, что «сам необыкновенный язык ваш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно».

Для него именно язык и поэзия вызовут «нам нашу Россию, – нашу русскую Россию, не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы они ни были различных мыслей, образов воспитанья и мнений, скажут в один голос: „Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине“.

10 сентября 1848 года Гоголь наконец-то в Москве, в «дружеском доме» С. П. Шевырева. Уютный домик в Дегтярном переулке (№ 4) в полном его распоряжении. Но только пока многолюдная семья хозяина живет на даче в Сокольниках. Совместная жизнь с ним вряд ли возможна. Едва ли не первый же визит – семейства Аксаковых, которые в это время снимали дом в Леонтьевском переулке (№ 27). Дойти пешком ничего не стоило, но застает Гоголь только Константина Сергеевича. Старший Аксаков, серьезно недомогавший, еще жил в Абрамцеве. Радость одного Константина Сергеевича оказалась единственным утешением. По словам Гоголя: «В Москве, кроме немногих знакомых, нет почти никого. Все еще сидят по дачам и деревням... Теперь я еду в Петербург».



C.P. Шевырев. Рисунок Э.А. Дмитриева-Мамонова. 1840-е гг.

Письмо написано 12 сентября, а уже около 10 октября Николай Васильевич снова в Москве, и снова в доме Шевырева. Через месяц он переезжает в дом Погодина на Девичьем поле. Казалось, старые друзья забыли все обиды и размолвки, Гоголь может расположиться в своей любимой комнате, в привычной, почти семейной среде и – начать работать, о чем он так мечтал. Все под рукой, все устроено по его привычкам.



K.S. Аксаков. Рисунок из семейного альбома Аксаковых

... Четвертого ноября, Гоголя, безо всяких уговоров, а наоборот, с большим интересом отправляется в Малый театр, где идут его «Игроки» и, по словам С. Т. Аксакова, остается «совершенно доволен» игрой актеров, что случалось у него не часто. Двоюродный брат покойного А. А. Дельвига, военный инженер А. И. Дельвиг, встречает Николая Васильевича в Английском клубе (Тверская, 21) бывшем роскошном особняке Нарышкиных. Гоголь окружен собеседниками, говорлив и весел... В таком же отличном расположении духа Гоголя видят в доме гражданского губернатора, должность которого занимал в это время сын поэта В. В. Капниста И. В. Капнист. Присутствующие в восторге от того, как живо представляет Гоголь в лицах героев басен Крылова. Все изменило появление графа М. Н. Муравьева. Попытка хозяина представить друг другу писателя и будущего усмирителя польского восстания 1863 года привела к взрыву. На слова Муравьева: «Мне не случалось, кажется, сталкиваться с вами». Гоголь ответил с неожиданной резкостью: «Быть может, ваше превосходительство, это для меня большое счастье, потому что я человек больной и слабый, которому вредно всякое столкновение». С этим Гоголь повернулся и уехал.



Малый театр

Однако этот инцидент не испортил отношений Гоголя с хозяином – связь с семьей Капнистов была у него слишком долгой и тесной. В усадьбе Обуховке, близ Нежина, которая от отца перешла к сыну – А. В. Капнисту, члену «Союза Благоденствия», Гоголь мог встречаться с будущими декабристами А. М. и Н. М. Муравьевыми, М. П. Бестужевым-Рюминым, М. С. Лунином. Но гражданский губернатор Москвы интересом к литературе не отличался, к произведениям Гоголя был равнодушен, а чтением автором своих произведений просто тяготился. Знакомым оставалось удивляться, как Николай Васильевич мирился с подобным положением и продолжал бывать в доме на Тверской (№ 20). Таким же своеобразным феноменом было знакомство Гоголя с К. А. Булгаковым, однокашником М. Ю. Лермонтова по Университетскому Благородному пансиону. «Мастер на безделки», по выражению поэта. Впоследствии К. А. Булгаков признавался актеру Садовскому, что никогда не читал Гоголя и не испытывал охоты знакомиться с его сочинениями. Возможно Гоголя привлекало редкое по богатству собрание живописи и графики, впрочем, достаточно беззаберное. Возможно, сказывалось влияние ходивших по Москве разговоров о дружбе Булгакова-старшего с Жуковским и Вяземским. Но тот же С. Т. Аксаков называл Булгакова-старшего отъявленным подлецом, который перлюстрировал на правах почт-директора всю почту, в том числе и переписку Аксаковых, о чем постоянно докладывал московскому генерал-губернатору А. А. Закревскому. Кто знает, как и где выискивал своих героев Гоголь. Отсюда разница в поведении писателя в разном окружении. С близкими ему по духу людьми он был разговорчив, весел, охотно читал свои произведения. По словам актера А. П. Толченова, «с людьми, наименее значащими, Гоголь сходился скорее, проще, был самим собой, а с людьми, власть имеющими, застегивался на все пуговицы».



Дом Мещеринова, где жили О.М. Бодянский, Л.И. Арнольди и А.О. Россом

Становятся тесными отношения с О. М. Бодянским, ставшим профессором истории и литературы славянских наречий в Московском университете и секретарем Общества истории и древностей российских. Он успел выпустить 23 тома «Чтений» Общества с большим объемом впервые публикуемого исторического материала. В 1848 году Гоголь бывает у Бодянского на Малой Никитской (№ 10), с 1849 года на Большой Никитской (31), в доме Мещеринова. Этот последний год был исключительно тяжелым для историка. Публикация в «Чтениях» перевода труда Флетчера «О государстве Русском, или Образ правления русского царя, с описанием нравов и обычаев этой страны» 1591 года вызвала цензурный взрыв. Выпуск книги был полностью конфискован и сожжен, сам Бодянский лишился кафедры в университете и должности секретаря в Обществе истории и древностей российских. Только к концу года в результате бесконечных хлопот профессорская должность была ему возвращена, с чем едва ли не первым примчался поздравить его Гоголь. В дневнике ученого от 21 декабря есть запись: «Часа в три пополудни навестил меня Николай Васильевич Гоголь, пришедший с поздравлением о победе над супостатом: „Максимович был у меня сейчас, сказал Гоголь, и сообщил мне новость о вас и я немедленно же очутился у вас, чтобы вас обнять и поздравить...“». Бывает Гоголь у Свербеевых, переехавших в дом Кроткова по Тверскому бульвару (№ 25 – ныне занятый Литературным институтом). Он привычный гость в доме Е. П. Елагиной, которая все так же живет у Красных ворот, у Аксаковых, где, по его собственному выражению, «согревается душою», хотя было слишком заметно, как усложнилась жизнь «милого семейства». Тяжело болеет дочь Ольга Сергеевна, которой занимается постоянно кто-то из близких, хворает глава семейства, и тем не менее за эту первую московскую зиму Гоголь прочитывает им всю «Одиссею» в переводе В. А. Жуковского.



Дом С.Т. Аксакова

И все же чуда не случилось: былые дружеские отношения с Погодиным восстановить не удалось. Гоголь безоглядно принял сначала его приглашение на квартиру, но уже через два месяца начал искать благовидного предлога и возможностей прекратить ставший невозможным союз. Благовидным, хотя и надуманным предлогом явилось заявление Погодина о необходимости (на зиму глядя!) ремонта в большом доме. Воспользовавшись им, Гоголь принял предложение поселиться у них графини Анны Егоровны Толстой. Графиня приехала из-за границы одна, поселилась в гостинице «Дрезден» 1 Тверская, где жила в то время и другая близкая знакомая Гоголя А. О. Россет-Смирнова. Графине пришлось ждать мужа целый месяц, пока Александр Петрович, появившись, наконец, в Москве, выбрал для них квартиру – дом Талызиных на Никитском бульваре.



Аркада и балкон дома на Никитском бульваре

Учитывались ли при этом интересы и удобства нежданного «подсоседника»? Думается, меньше всего, поскольку супругов не интересовало творчество Гоголя, тем более условия его работы, не говоря о том, что достаточно неприятной неожиданностью для них явился хлынувший к писателю поток посетителей. Этот «неожиданный сюрприз» служил поводом для иронических разговоров в свете. Что же касается выделенных Гоголю двух комнат, мрачноватых, сырых и к тому же выходивших на протекавший со стороны бульвара ручей в зарослях осоки, то и их расположение типично для домов-ровесников, которыми была полна Москва. Тот же Бодянский подробно описывает доставшееся другу помещение: «Жилье Гоголя, внизу, в первом этаже; направо, две комнаты. Первая вся устлана зеленым ковром с двумя диванами по двум стенам (1-й от дверей налево, а 2-й за ним, по другой стене); а прямо печка с топкой, заставленной богатой гардинкой зеленою тафты (или материи) в рамке; рядом дверь у самого угла к наружной стене, ведущая в другую комнату, кажется, спальню, судя по ширмам в ней, на левой руке; в комнате, служившей приемной, сейчас описанной, от наружной стены поставлен стол, покрытый зеленым сукном, поперек входа к следующей комнате (спальне), а перед первым диваном тоже такой же стол. В обоих комнатах несколько книг кучками одна на другой...» По словам Н. В. Берга, «когда писание утомляло и надоедало, Гоголь поднимался наверх, к хозяину, не то надевал шубу, а летом испанский плащ, без рукавов, и отправлялся пешком по Никитскому бульвару, большую частью налево от ворот (к Никитским воротам). Мне было весьма легко делать эти наблюдения, потому что я жил тогда как раз напротив, в здании Коммерческого банка».

Берг прав почти во всем, кроме визитов к хозяину. Такой близости с ним у Гоголя не существовало и определенная натянутость и церемонность отношений существовала всегда. «Вы бы изумились, если бы узнали, какими деньгами Николай Васильевич покупал ласковый взгляд прислуги во время пребывания своего у Толстого, у Вельегорского, у Смирнова и у других», – пишет Н. А. Кулиш матери писателя.

Актеры Малого театра знали достаточно подробностей о неудобствах жизни «графского нахлебника» – эпитет, услышанный ими от лакея Толстых. Ничего удивительного, что Гоголь, хотя ежедневно и работал, но несколько часов, охотно уходил из дома, если не имел гостей. Особенно охотно заходит «по соседству» к Хомяковым, которые еще в 1844 году переехали во вновь приобретенный ими дом князей Лобановых-Ростовских на Собачьей площадке. Здесь был центр самых оживленных и нескончаемых литературных и общественно-политических споров, постоянно бывали братья Киреевские, Герцен, Грановский, Аксаковы, Погодин, Петр Языков. В историю вошла знаменитая хомяковская «говорильня» – узенькая комната, с трех сторон обставленная диванами, между которыми с

трудом был втиснут узенький столик. Превращенный после 1917 года в Музей дворянского быта 1840-х годов, дом Хомяковых, по счастью, в части всей своей обстановки стал собственностью Государственного Исторического музея, где и экспонировалась другие годы «говорильня».



A.A. Краевский. Художник К. Турчанинов. 1845 г.

Гоголь стал бывать и у завсегдатая Хомяковых Ю. Ф. Самарина, жившего в очень красивом двухэтажном ампирном особняке на Тверской (№ 6). Украшавший уголь Камергерского переулка дом, где, кстати сказать, находилась Вторая студия МХАТа, был снесен при реконструкции Тверской – улицы Горького в 1937 году. Николай Васильевич с большой симпатией относится к «умному купцу» В. В. Варгину, «сарай» которого сначала арендовался дирекцией казенных театров, а затем был выкуплен и перестроен в Малый театр. Во время Отечественной войны 1812 года Варгин, будучи очень богатым человеком, взялся за поставку армии провианта, холста и сукон, чем занимался вплоть до 1827 года, когда против него было возбуждено уголовное дело о недочетах и выдвинуто обвинение в недостаче в миллион рублей. Варгин просидел год в Петропавловской крепости, и только перед самой его смертью, в 1859 году, был полностью оправдан. Гоголь бывал у Варгина в его доме на Кузнецком мосту (№ 21). Еще одно знакомство – племянник драматурга Фонвизина. Известный декабрист, член Северного общества, М. А. Фонвизин приходится ему родным братом, сам же Иван Александрович жил на Малой Дмитровке (№ 23). За причастность к Союзу благоденствия он в свое время был арестован, отвезен в Петербург, два месяца находился в Петропавловской крепости, а в дальнейшем в течение двадцати лет под полицейским надзором, который был с него снят лишь в 1846 году.

Гоголя все занимает, все интересует: тургеневский «Нахлебник», которого Щепкин собирается сыграть в своем доме, возможность пообедать с В. П. Боткиным, у которого он постоянно бывает (Петровский пер., № 4), А. Д. Галаховым и приехавшим в Москву издателем «Отечественных записок» А. А. Краевским, причем Николай Васильевич предлагает для этой цели самый модный ресторан – в гостинице Яра, близ Петровского парка. Как пишет Галахов, «таким образом мы провели время вчетвером очень приятно, благодаря прекрасной погоде и повеселевшему дорогому гостю» (Ленинградское шоссе, 44).



Дом Боткиных

Гоголь успевает побывать у математика и астронома профессора Д. М. Переvoщиковa, жившего на казенной квартире при обсерватории Московского университета (переулок Павлика Морозова, № 5). Начало знакомству было положено еще в Петербурге, теперь Гоголь постоянно обедает у ученого, которого восхищает гоголевское творчество. По словам современника, «Перевощиков любил Гоголя и не пропускал ни одного представления Ревизора, Женитьбы, даже сцен Тяжбы, Утро делового человека и др.». Брат поэта Н. М. Языкова Петр – обычный спутник Гоголя, живший в Скарятинском переулке (№ 3). Это с ним Гоголь проводит свой день рождения у Аксаковых, предварительно направив хозяину записку: «Имеют сегодня подвернуться вам к обеду два приятеля: Петр Михайлович Языков и я, оба греховодники и скромники. Упоминаю об этом обстоятельстве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить кусок быччины на одно лишнее рыло». Записка относится к 19 марта 1849 года, дню, который писатель полагал своим днем рождения. А какую радость приносит ему известие о появлении в Москве В. А. Соллогуба, посвятившего Гоголю свою повесть «Воспитанница» и пользовавшегося широкой известностью благодаря повестям «Гарантас» и «История двух калош».

Несколько адресов меняют за зиму Аксаковы. В частности, они снимают сначала дом на Сивцевом Вражке, принадлежавший брату Герцена (№ 25), затем дом Пушкевича (№ 30).

Гоголь чувствует себя настолько раскованно и уверенно, что решается даже повторить именинный обед в саду Погодина и может быть впервые так остро ощущает прошедшие шесть лет: изменились былые друзья, изменились их взаимоотношения. Былое взаимопонимание и контакты исчезли, осталась сдержанная вежливость, скрытая скука и – обостряющееся ощущение болезни, которая оставляет на нем все более и более явственные следы. Тем не менее Гоголь не теряет надежды и на выздоровление, и на возможность восстановления внутреннего равновесия. Он не сомневается, лето должно помочь выйти из явного душевного и физического кризиса: «Я располагаю поездить по губерниям в окрестностях Москвы... поглядеть на Русь в тех местах, где ее не знаю...»

5 июня Погодин отмечает в дневнике: «К Вяземскому в Остафьево, по Серпуховской знакомой дороге, по которой ездил с таким бьющимся сердцем. С Гоголем о Европе, о России, правительстве... Вяземский очень рад... Обедали у Окуловых». Окуловская усадьба Никульское находилась рядом с Остафьевым, о хозяине же Погодин замечает: «М. А. Окулов... для какого-нибудь Дюма, Бальзака или Сю мог бы заменить рудник Калифорнийский, – по своему неистощимому запасу анекдотов, комедий, трагедий, романов и повестей...» Для Гоголя Окулов представлял тем больший интерес, что постоянно и очень дружески общался с Пушкиным. Участник Отечественной войны 1812 года, с 1824 года командир Арзамасского егерского полка, Окулов после своей отставки в 1829 году и до смерти состоял директором училищ Московской губернии. С 1833 года он стал камергером. Женат был Матвей Александрович на сестре П. В. Нащокина.



Осташево. Главный дом усадьбы

В июне приехавший в Москву будущий вице-президент Академии наук, Я. К. Грот, еще застает Гоголя в городе. Николай Васильевич навещает его в Серебряном переулке (№ 8), где Грот останавливается у Д. С. Протопопова, начальника комиссии по уравнению податей казенных крестьян. Грот удивлен, с какой серьезностью и обстоятельностью Гоголь готовится к своей будущей книге, хочет «лучше узнать Россию и русский народ. Он решился просить всех своих приятелей, знакомых с разными краями России или еще собирающихся в путь, сообщать ему свои наблюдения по этому предмету. О том просил он и меня... Но любознательность Гоголя не ограничивалась желанием узнать Россию со стороны быта и нравов. Он желал изучить ее во всех отношениях». А тут еще продолжает кипеть «светская», по смешливому выражению Погодина, московская жизнь. Гоголь приглашен на именинский обед И. В. Капниста в Сокольники. В Москве появляется А. О. Смирнова-Россет, и Гоголь чуть не ежедневно навещает своего дорогого друга в гостинице «Дрезден», где она остановилась, напротив генерал-губернаторского дома на Тверской. Вместе с братом, Л. И. Арнольди, Смирнова наносит ответный визит Гоголю в его квартире у Толстых. Арнольди обстоятельно описывает, что Гоголя они застали за чтением какой-то старинной ботаники. «Покуда он разговаривал с сестрой, я нескромно заглянул в толстую тетрадь, лежавшую на его письменном столе, и прочел только: „Генерал-губернатор“, – как Гоголь бросился ко мне, взял тетрадь и немного рассердился. Я сделал это неумышленно и бессознательно и тотчас же попросил у него извинения... Наконец сестра моя уехала в свою калужскую деревню, и Гоголь дал ей слово приехать погостить к ней на целый месяц. Я собирался тоже туда, и мы сговорились с ним ехать вместе!» Адрес Л. И. Арнольди и жившего с ним другого брата, А. О. Россета, сохранился в записной книжке Гоголя: Большая Никитская, 31.

До отъезда дошло только в первых числах июля. Гоголь всю дорогу был очень оживлен, весел, собирая цветы и демонстрировал свои знания по ботанике. Но поездка оказалась неудачной. Смирнова тяжело заболела, и в двадцатых числах июля Гоголь снова в Москве с тем, чтобы сразу же уехать к Шевыреву, проводившему лето в Больших Вяземах, которые принадлежали Д. В. Голицыну, родственнику его жены. Николай Васильевич добирается и до соседнего Захарова, советуя Н. В. Бергу заняться, в память Пушкина, историей этих мест. Именно Бергу принадлежит единственный рисунок пушкинского барского дома, еще сохранявшегося в поместье.

Друзья поэта горько сожалели, что московское дворянство, в отличие от псковского, не сделало попыток выкупить Захарова, как было приобретено и сохранено Михайловское.

В Москве Гоголь навещает в Петровском парке Свербеевых, живших на даче Наумова в связи с болезнью дочери. В течение августа – сентября он несколько раз навещает Аксаковых в Абрамцеве. По словам С. Т. Аксакова, «Гоголь много гулял у нас по рощам и забавлялся тем, что, находя грибы, собирая их и подкладывал мне на дорожку... По вечерам

читал с большим воодушевлением переводы древних Мерзлякова, из которых ему особенно нравились гимны Гомера. Так шли вечера до 18-го числа (августа). 18-го вечером Гоголь, сидя на своем обыкновенном месте, вдруг сказал: „Да, не прочесть ли нам главу „Мертвых душ“?“ Мы были озадачены его словами и подумали, что он говорит о первом томе... но Гоголь... сказал: „Нет, уж я вам прочту из второго...“ Не могу выразить, что сделалось со всеми нами... Ту же минуту все мы придвинулись к столу, и Гоголь прочел первую главу второго тома „Мертвых душ“. С первых страниц я увидел, что талант Гоголя не погиб, – и пришел в совершенный восторг. Чтение продолжалось час с четвертью... На другой день Гоголь требовал от меня замечаний на прочитанную главу, но нам помешали говорить о „Мертвых душах“. Он уехал в Москву, и я написал к нему письмо, в котором сделал несколько замечаний и указал на особенные, по моему мнению, красоты... Гоголь был так доволен, что захотел меня видеть немедленно. Он нанял карету, лошадей и в тот же день прикатил к нам в Абрамцево. Гоголь прожил у нас целую неделю; до обеда раза два выходил гулять, в остальное время работал... Мы просили его прочесть следующие главы... Тут он сказал мне, что он уже прочел несколько глав А. О. Смирновой и С. П. Шевыреву, что сам увидел, как много надо переделать и что он прочтет мне их немедленно, когда они будут готовы».

Впрочем, в датах пребывания Гоголя в Абрамцеве существуют значительные расхождения у самого же С. Т. Аксакова. Судя по письму сыну, они проводили Гоголя 27 сентября.

Вряд ли есть смысл сопоставлять ценность двух периодов в истории Абрамцева: Аксаковского и Мамонтовского. Для русской литературы это золотые страницы, связанные с именами не только Гоголя, но и Тургенева, и Щепкина, и Загоскина, и многих, многих других. Будучи превращена в Музей-заповедник еще до Великой Отечественной войны, в послевоенные годы усадьба переориентировалась на мамонтовские годы вплоть до того, что знаменитая гоголевская комната вообще перестала существовать, превращенная в одно из рядовых экспозиционных помещений. Обоснование – нехватка подлинных экспонатов.

И здесь невольно встает вопрос о культуре человека. И дело не в возможности создания типологической экспозиции, которая сегодня закладывается в основу большинства музеев. Ощущение сопричастности, присутствия «великой тени» не требует конкретных предметов. Невольно вспоминается поместье под Варшавой Желязова Воля, где родился Шопен. Барский дом там восстановлен, обставлен весь – кроме спальни матери композитора. Беленые стены. Дощатые полы. Никакой мебели. И около ленточки, закрывающей распахнутую дверь, небольшая табличка на подставке: «Здесь родился Шопен». Здесь. В этих стенах. Постойте! Почувствуйте! И пусть в вашей душе зазвучит его музыка. Почему же у нас не хватает такта так же освободить комнату и написать при входе: «Здесь жил, работал Гоголь»?

Один из современников Гоголя писал о посетителях Абрамцева: «От каждого из них, ни в одном, так в другом, оставалась здесь видимая память и сохранились следы их пребываний. Вот комната, где подолгу живал Гоголь, и тот самый диван, на котором он спал. Эта „гоголевская“ комната была в верхнем этаже, светлая и просторная. Когда я остался один в предоставленной мне комнате (это была именно „гоголевская“ комната), я не без особенного чувства осматривал все ее подробности. И обои на стенах, и мебель, и даже набросанные там и сям книжки, брошюры и бумаги, то в раскрытых конторках, то где-нибудь прямо на столе, казалось, еще хранились от тех времен. Малейшее чернильное пятнышко на столе, оставшееся от давно брызнувшего пера, казалось мне тут дорогим следом».

С горечью надо сознаться, что уничтожению аксаковского Абрамцева во многом способствовали именно музейные работники, использовавшие комнаты большого дома под собственное жилье. В отдельных комнатах ревели примуса, чадили керогазы, из них выносились ведра с нечистотами и вносилась чистая вода. Там же находились и личные комнаты директора музея, известного искусствоведа. И не Министерство культуры,

которому подчинялся Музей-усадьба, а председатель Поселкового совета поселка Абрамцево, полковник погранвойск в отставке, бывший начальник погранзаставы Матвей Родионович Аканин первый начал борьбу за выселение постояльцев из музейных стен, доказывая на всех уровнях советской и партийной власти недопустимость подобного положения. Впрочем, вся история абрамцевского дома представляет тяжелую эпопею, которой пока не видно конца, несмотря на вмешательство СМИ и телевидения.

В наши дни забылось и то, что это Гоголь первый проложил «Тропу литераторов» – дорогу из Абрамцева в Мураново. До его приезда Аксаковы не были знакомы с владельцем Муранова Н. В. Путятой, другом Пушкина и Баратынского. «Известите меня, будете ли вы дома сегодня и завтра, – пишет Гоголь в отправленной с нарочным записке Путятие, – потому что, если не сегодня, то завтра я и старик Аксаков, сгорающий нетерпением с вами познакомиться, едем к вам». С того времени в усадьбе берегли комнату, где ночевал Гоголь, так и названную гоголевской, а в ней низкий «крапо» – диван, над которым висел литографический портрет Гоголя. В составе приданого дочери Путяты Мураново перешло во владение Тютчевых, и надо было видеть, с каким благоговением предпоследний директор музея из Тютчевской семьи – Николай Иванович Тютчев ходил по этой комнате, рассказывал о каждой мелочи пребывания Гоголя в этих стенах, как за чайным столом, где собирались все потомки поэта, непременно ставил чашечку старого саксонского фарфора, из которой «пивал чаек Николай Васильевич».

Зима 1849/50 года – время особенной близости с Аксаковыми. Правда, по материальным обстоятельствам и благодаря болезни дочери они оказываются в Москве только к Новому году. В жизни семьи появляется даже специальный день приема Гоголя с его друзьями – Бодянским и Максимовичем – «вареники». По словам Бодянского, «под варениками подразумевается обед у С. Тим. Аксакова, по воскресеньям, где непременным блюдом всегда были вареники для трех хохлов... а после обеда, спустя час, другой, песни малороссийские под фортепиано, распеваемые второй дочерью хозяина, Надеждою Сергеевной, голос которой очень, очень мелодический. Обыкновенно при этом Максимович подпевал. Песни пелись по „голосам малороссийских песен“, изданным Максимовичем, и кой-каким другим сборникам, принесенным мною». Песнями Гоголь «упивался так, что иной куплет повторял раз тридцать сряду, в каком-то поэтическом забытьи». Аксаковы снимали, по словам супруги Аксакова, «дом большой и известно теплый, с мебелью, словом, дом Высоцкого, доктора, в Филипповском переулке» (№ 9). У Аксаковых отмечал Гоголь и свой день рождения, где, помимо привычных гостей, был историк С. М. Соловьев.



Несохранившийся дом Высоцкого. Здесь в 1849-1851 гг. жил С.Т. Аксаков, у которого по воскресеньям собирались Гоголь, Бодянский и Максимович

Не слишком часто, но все же продолжает Гоголь бывать и у Погодина, но главным образом на литературных чтениях. Среди них была комедия Ростопчиной «Нелюдимка» и пьеса А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся». Написанную после чтения похвальную записку Гоголя Островский хранил как самый дорогой талисман всю жизнь, никому не показывая. «Долго мы с ним были приятелями в Риме», – отзывался Гоголь об архитекторе

Ф. Ф. Рихтере, входившем в окружение Александра Иванова. С 1842 года Рихтер был директором Дворцового архитектурного училища, готовил издания памятников архитектуры и серьезно занимался вопросами реставрации. Все эти вопросы привлекали Гоголя в дом архитектора, который жил на Волхонке в доме Оболенского.

В Риме Гоголь познакомился и со скульптором Н. А. Рамазановым – они представлены на дагерротипе 1845 года среди русской художественной колонии. В Москве Гоголь находит Рамазанова на его казенной квартире, как преподавателя Московского училища живописи, ваяния и зодчества, на Мясницкой, 21. Он поддерживает дружеские отношения с профессором А. О. Армфельдом, переехавшим на Плющиху (№ 11). Кстати сказать, в дом, где поселилась семья Толстых сразу после приезда в Москву в 1837 году. Именно этот особняк с мезонином в глубине двора описал Л. Н. Толстой в «Детстве» и «Отрочестве». В этих стенах был написан первый детский литературный опыт Толстого «Кремль». Постоянное недомогание заставляет Гоголя достаточно часто пользоваться советами профессора доктора Ф. И. Иноземцева, жившего в Сивцевом Вражке, в доме Дюклу.

Здоровье явно мешает Гоголю работать. 14 декабря 1849 года он пишет В. А. Жуковскому: «Творчество мое лениво. Стараясь не пропустить ни минуты времени, не отхожу от стола, не отодвигаю бумаги, не выпускаю пера – но строки лепятся вяло, а время летит невозвратно. Или, в самом деле, 42 года есть для меня старость...» Не изменится положение и к весне. Строки из письма другому адресату: «Нынешнюю зиму я провел в Москве очень дурно и ничего не мог работать...» И все же преодолеть себя он пытался все время.

Гоголь не пропускает выставок в Московском училище живописи, ваяния и зодчества: 10 апреля в очередной экспозиции принимает участие приехавший в Москву П. А. Федотов. В мае выставка Федотова открывается в доме Ростопчина (Садовая-Кудринская, 16). У Ростопчина и произошло его знакомство с Гоголем, похвалы которого Павел Андреевич ценил исключительно высоко: «Приятно слушать похвалу от такого человека! Это лучше всех печатных похвал!» Богатейшее художественное собрание Ростопчина было открыто для москвичей с 8 января 1850 года. А знакомство Гоголя с хозяйкой состоялось еще за границей. В Москве же Ростопчина постоянно звала к себе Гоголя на литературные вечера.



Картинная галерея А.Ф. Растопчина

С явным удовольствием Гоголь бывает в семействе Васильчиковых, которые на зиму обычно снимали дом Черкасского на Большой Никитской (№ 46). На обедах и вечерах современники отмечают присутствие Ф. Глинки, М. П. Погодина, К. С. Аксакова, Гоголя – «с нависшими прядями волос, в яхонтовом бархатном жилете», – Шевырева, Грановского, Соловьева, мариниста Айвазовского, который не преминет воспользоваться приглашением Гоголя и нанести ему визит в доме Толстых. «Гоголя я видел в последний раз в Москве в 1850 году, когда я ехал на Кавказ, – писал впоследствии В. Соллогуб. – Он пришел со мной

проститься». Возможно, это прощание состоялось именно в доме Васильчиковых. Гоголь снова празднует свои именины в саду у Погодина. Н. В. Берг писал об этом дне: «...ехали мы с Островским откуда-то вместе на дрожках и встретили Гоголя, направлявшегося к Девичьему полю. Он соскочил со своих дрожек и пригласил нас к себе на именины; мы тут же и повернули за ним. Обед, можно сказать, в исторической аллее, где я видел потом много памятных для меня других обедов с литературным значением, — прошел самым обыкновенным образом. Гоголь был ни весел, ни скучен. Говорил и хохотал более всех Хомяков...»



Дом Васильчиковых Зато впереди была непременная летняя поездка на юг, куда писатель собрался на этот раз вместе с Максимовичем. Решено было ехать не спеша, все внимательно рассматривая по пути, останавливаясь в наиболее живописных местах и часть пути проходя «пехандачка» — пешком.

13 июня после прощального обеда у Аксаковых друзья пускаются в дорогу и первую ночь проводят все в том же Подольске. Вопреки первоначальным намерениям поездка затянулась. Гоголь оказался в Москве лишь через год — 5 июня 1851 года. Почти сразу же Гоголь направляется в Абрамцево, где успеет побывать за лето несколько раз, а затем в подмосковную деревню А. О. Смирновой. Приглашение было передано Гоголю через Л. И. Арнольди, переехавшего к тому времени на Большую Дмитровку (№ 32).

1851 г. «В одно утро, — вспоминает Арнольди, — Гоголь явился ко мне с предложением ехать недели на три в деревню к сестре. Я на несколько дней получил отпуск, и мы отправились...»

Подмосковная деревня, в которой мы поселились... очень понравилась Гоголю. Все время, которое он там прожил; он был необыкновенно бодр, здоров и доволен. Дом прекрасной архитектуры, построенный по планам Гр. Растрелли, расположен на горе; два флигеля того же вкуса соединяются с домом галереями, с цветами и деревьями; посреди дома круглая зала с обширным балконом, окруженным легкою колоннадой. Направо от дома стриженый французский сад с беседками, фруктовыми деревьями, грунтовыми сарайами и оранжереями; налево английский парк с ручьями, гротами, мостиками, развалинами и густою прохладною тенью. Перед домом, через террасу, уставленную померанцами и лимонами, и мраморными статуями, ровный скат, покрытый, ярко-свежею зеленью, и внизу — Москва-река с белою купальнею и большим красивым паромом» Из записей А. О. Смирновой в Спасском: «Гоголю две комнатки во флигеле, окнами в сад. В одной он спал, а в другой работал, стоя к небольшому пюпитру... он вставал часов в 5... Шел прямо в сад... Возвращался к 8 часам, тогда подавали кофе. Потом занимался, а в 10 или в 11 ч. он приходил ко мне, или я к нему... после обеда ездили кататься. Он просил, чтобы поехали в сосновую или в еловую рощу. Он любил после гуляния бродить по берегам Москвы-реки, заходил в купальню и купался... любил смотреть, как загоняли скот домой... села Константинова за рекой Москвой. Любил ходить на Марштино, версты 2...»

В Спасском Гоголь вновь читал Смирновой первую главу второго тома «Мертвых душ», но слушательница его, измученная бессонницами и постоянным недомоганием, была невнимательна и безучастна. Чтения на этом оборвались. Вскоре состояние здоровья вынуждает Смирнову уехать в Москву. Вслед за ней покидает Спасское и Гоголь.

В июле или первой половине августа Гоголь на даче у Шевырева, где с ним встретился Н. В. Берг: «В 1851 году мне случилось жить с Гоголем на даче у Шевырева, верстах в 20-ти от Москвы, по Рязанской Дороге. Как называлась эта дача или деревня, не припомню. Я приехал прежде, по приглашению хозяина, и мне был предложен для житья уединенный флигель, окруженный старыми соснами. Гоголя совсем не ждали. Вдруг, в тот же день после обеда, подкатила к крыльцу наемная карета на паре серых лошадей, и оттуда вышел Гоголь в своем испанском плаще и серой шляпе... Явившийся хозяин дома просил меня уступить Гоголю флигель... Мне отвели комнату в доме, а Гоголь перебрался ту же минуту во флигель со своими портфелями... Шевырев ходил к нему, и они вместе читали и перечитывали написанное. Это делалось с такою таинственностью, что можно было думать, что во флигеле, под сенью старых сосен, сходятся заговорщики...»

22 августа, в день коронации Николая I, многие идут смотреть иллюминацию на бельведер Пашкова дома, занятого IV гимназией. По воспоминаниям одного из гимназистов, «между собравшимися звездоносцами выделялся одетый в черный сюртук, худой, длинноносый, невзрачный человечек, на которого со вниманием смотрели все знатные гости наши, а воспитанники просто поедали его глазами. Это был знаменитый автор „Мертвых душ“ Н. В. Гоголь. Помню, как он, долго любуясь на расстилавшуюся под его ногами грандиозно освещенную нашу матушку Москву, задумчиво произнес: „Как это зрелище напоминает мне вечный город“.

В конце лета Гоголь вновь собирается на юг – праздновать свадьбу сестры. Выехав 22 сентября, он уже 30 вернулся в Москву: «почувствовал себя очень дурно и, опасаясь расхвораться, приехать на свадьбу больным и всех расстроить, решился воротиться». В тот же день он приехал в Абрамцево, где пробыл несколько дней.

Наступившей зимой очень часто Гоголь проводил вечера у А. О. Смирновой, оставшейся на эти месяцы в Москве. Л. И. Арнольди вспоминает: «...я встретил Гоголя у сестры и объявил ему, что иду в театр, где дают „Ревизора“, и что Шумский в первый раз играет в его комедии роль Хлестакова. Гоголь поехал с нами, и мы поместились, едва достав ложу, в бенуаре. Театр был полон. Гоголь говорил, что Шумский лучше всех других актеров петербургских и московских передавал эту трудную роль... Многие в партере заметили Гоголя... Гоголь, видимо, испугался какой-нибудь демонстрации со стороны публики... вышел из ложи так тихо, что мы и не заметили его отсутствия». Вероятно, это был не первый спектакль «Ревизора» с участием С. В. Шумского в роли Хлестакова, а спектакль, в котором исполнение Хлестакова Шумским было впервые объявлено. Из письма В. С. Аксаковой, написанного в день первого выступления Шумского в этой роли (ранее он играл Добчинского) – 15 октября 1851 года, явствует, что Гоголь был на нем с Аксаковыми, а не со Смирновой и Арнольди, и что публике не было заранее известно участие этого актера в данной роли. «Гоголь... пришел вчера вечером и сказал, что завтра, т.е. сегодня, играет ревизора Шумский и что не поедем ли мы в театр... Ему хотелось в бенуар Верстовского, но в Малом театре у Верстовского нет бенуара, и он прислал бельэтаж... Теперь они уехали все... Гоголь от нас только узнал, что Шумский будет играть Хлестакова, а когда именно – даже не было объявлено в газетах... Щепкин приезжал к Гоголю, кажется, накануне и сказал о том...»

В эти же дни О. М. Бодянский познакомил с Гоголем Г. П. Данилевского, оставившего портрет Николая Васильевича: «Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темно-коричневое длинное пальто и в темно-зеленый бархатный жилет... длинные каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей... Тонкие, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь

даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим... осторожным глазам что-то птичье наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты. Гоголь... был очень похож на свой портрет, писанный... знаменитым Ивановым. Этому портрету он, как известно, отдавал предпочтение перед другими».



Н.В. Гоголь. Рисунок Э.А. Дмитриева-Мамонова. 1852 г.

«Борюсь с судьбой» – эти слова как нельзя точнее определяют его состояние на переломе 1851-1852 годов. В середине декабря Гоголь весело уверяет Г. П. Данилевского, что весной, самое позднее летом, приедет к нему с законченными «Мертвыми, душами». День за днем он хлопочет о делах, занимается вторым, четырехтомным изданием своих сочинений. 9 января присутствует в Большом театре на бенефисе М. С. Щепкина. 31 января правит гранки. 3 февраля договаривается с Аксаковыми о вечере с малороссийскими песнями и только 4-го пожалуется Шевыреву на необычную слабость. Никто не придаст значения его словам...

Последние дни

«4 февраля я сидела в нашей маленькой гостиной с Митея Карташевским (брать Константин, Митя и Любенька только что приехали из деревни, самовар был на столе). Мы говорили очень живо о Карташевых. Передняя комната была темна, портьерка в нее поднята; я услышала чьи-то шаги, но не обратила в первую минуту на то внимания, думая, что это брат. Шаги приблизились, я обернулась: то был Гоголь; я ему обрадовалась чрезвычайно: вовсе его не ожидала. Он спросил, приехал ли брат, и, узнав, что он у Хомякова, сказал, что сам туда зайдет; спросил меня о здоровье, так как накануне я была нездорова. Усевшись в угол дивана, расспрашивал о том, о другом, в лице его видно было какое-то утомление и сонливость. Кошелева прислала звать нас с Наденькой к ней, я ему предложила ехать туда же. „Нет, – сказал он, – я не могу, мне надо бно зайти еще к Хомякову, а там домой, я хочу пораньше лечь. Сегодня ночью я чувствовал озноб, впрочем, он мне особенно спать не мешал“.– „Это, верно, нервный“, – сказала я. – „Да, нервное“, – подтвердил он совершенно спокойным тоном. „Что же вы не пришли к нам с корректурой?“ – спросила я. – „Забыл, а сейчас просидел над ней около часа“.– „Ну, в другой раз приносите“. Но этому другому разу не суждено было повториться. Гоголь просидел недолго, простился, по обыкновению подавши нам руку на прощанье, и ушел. Это было последнее свиданье. Как нарочно, я не пошла его провожать далее, потому что собирались ехать. Ничто не сказали мне, что более его не увижу. Мы все были поражены его ужасной худобой. „Ах, как он худ, как он худ страшно!“ – говорили мы...»

B. C. Аксакова. Дневник

«О последнем своем свидании с Гоголем М. С. Щепкин рассказывал следующее: „Както недавно прихожу к Гоголю. Он сидит, пишет что-то. Кругом на столе разложены книги, все религиозного содержания. „Неужели все это вы прочли?“ – спрашиваю я. – „Все это надо читать“, – отвечал он. – „Зачем же надо? – говорю я. – Так много написано всего для спасения души, а ничего не сказано нового, чего не было бы в евангелии“. Тут Гоголь принужденно отшутился, сказав что-то вроде: какой шутник! А я продолжал: – „Я и заповеди для себя сократил всего на две: люби бога и люби ближнего, как самого себя“. – „Потом, – говорил Щепкин, – я рассказал Гоголю следующий случай. Ехал я из Харькова в то время, как были открыты моши св. Митрофания. Дай, думаю, заеду в Воронеж, хотелось видеть, что может сделать вера человека. Приезжаю в Воронеж. Утро было восхитительное. Я пошел в церковь. На дороге попался мне мужик с ведром; в ведре что-то бьется. Смотрю – стерлядь! Думаю себе: в церковь еще успею. Сторговал, купил рыбу и снес домой. Потом пошел в церковь. Дорогой так восхищался природой, как никогда не запомню. Было чудесное утро. Прихожу в церковь. Народу множество, и такая преданность, такая вера, что я и сам умилился до слез, и сам стал молиться: «Господи боже мой! Весь этот народ пришел тебя молить о своих нуждах, бедах и болезнях. Только я один ничего у тебя не прошу – и молюсь слезно! Неужели тебе нужны, господи, наши лишения? Ты дал нам, господи, прекрасную природу, и я наслаждаюсь ею, и благодарю тебя, господи, от всей души“. Тогда Гоголь вскочил и обнял меня, вскрикнув: «Оставайтесь всегда при этом!“ *М. С. Щепкин по записи его сына А. М. Щепкина*

«Пятого, после лекций моих, я поехал к нему и застал его на отъезде. Он жаловался мне на расстройство желудка и на слишком сильное действие лекарства, которое ему дали. Я говорил ему: „Но как же ты, нездоровый, выезжаешь? Посидел бы три дня дома – и прошло бы. Вот то-то не женат: жена бы не пустила тебя“. Он улыбнулся этому». *С. П. Шевырев*

«В среду (6-го февраля) он опять был у меня. Казалось, ему лучше: лицо было спокойнее, хотя следы усталости какой-то были видны на нем. Я приписывал их посту». *С. П. Шевырев*

«В четверг явился Гоголь в церковь (*Саввы Освященного, на Девичьем Поле*) еще до заутрени и исповедался. Перед принятием св. даров, за обеднею, пал ниц и много плакал. Был уже слаб и почти шатался». *М. П. Погодин*

«Вечером приехал он опять к священнику и просил его отслужить поутру. Из церкви заехал по соседству к одному знакомому (*М. П. Погодину*), который при первом взгляде на него заметил в лице болезненное расстройство и не мог удержаться от вопросов, что с ним случилось. «Ничего, – отвечал он, – я нехорошо себя чувствую». Просидев несколько минут, он встал (в комнате сидело двое посторонних) и сказал, что сходит к домашним, но остался у них еще мене». *М. П. Погодин*

«В субботу на масленице он посетил некоторых своих знакомых. Никакой особенной болезни не было в нем заметно, не только опасности; а в задумчивости его, молчаливости не представлялось ничего необыкновенного». *М. П. Погодин*

«В воскресенье перед постом (10 февраля) он призвал к себе гр. А.П. Толстого и, как бы готовясь к смерти, поручал ему отдать некоторые свои сочинения в распоряжение духовной особы, им уважаемой (*митрополита Филарета*), а другие напечатать. Тот старался ободрить его упавший дух и отклонить от него всякую мысль о смерти». *М. П. Погодин*

«Ночью па вторник (с 11-го на 12 - е февраля) он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо», – ответил тот. – «Дай мне плащ, пойдем, мне нужно там распорядиться». И он пошел, со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришел, велел открыть трубу, как можно тише, чтобы никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед

ним на колени и сказал: «Барин! что это вы? Перестаньте!» – «Не твое дело, – ответил он. – Молись!» Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел па стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал». *М. П. Погодин*

«Долго огонь не мог пробраться сквозь толстые слои бумаги, но наконец вспыхнул, и все погибло. Рассказывают, что Гоголь долго сидел неподвижно и наконец проговорил: „Негарно мы зробили, негарно, недобре дило“. Это было сказано мальчику, бывшему его камердинером». *Графиня Е. В. Сальяс – М. А. Максимовичу*

«Когда почти все сгорело, он долго сидел задумавшись, потом заплакал, велел позвать графа, показал ему догорающие углы бумаг и с горестью сказал: „Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, – вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях… А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало“. Впрочем, в эти же дни он делал некоторые неважные завещания насчет своего крепостного человека и проч. и рассыпал последние карманные деньги бедным и на свечки, так что по смерти у него не осталось ни копейки. (У Шевырева осталось около 2000 руб. от вырученных за сочинения денег, прочие пошли на воспитание сестер, на долги матери и в помощь бедным студентам 3000 руб., розданных втайне. От наследства матери он уже давно отказался прежде). Иногда по вечерам он дремал в креслах, а ночи проводил в бдении на молитве; иногда жаловался на то, что у него голова горит и руки зябнут; один раз имел небольшое кровотечение из носа, мочу имел густую, темно окрашенную, испражнения на низ не было во всю неделю. Прежде сего за год он имел течение из уха будто бы от какой-то вещи, туда запавшей; других болезней в нем не было заметно; сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия; онаний также не был подвержен. Рассказывают, что, когда его раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают напрасно; после того как его положили опять в постель без белья, он проговорил: «Покройте плечо, закройте спину!»; а когда ставили пиявки, он повторял: «Не надо!»; когда они были поставлены, он твердил: «Снимите пиявки, поднимите (ото рта) пиявки!» и стремился их достать рукою. При мне они висели еще долго, его руку держали с силою, чтобы он до них не касался. Приехали в седьмом часу Овер и Клименков; они велели подолее поддерживать кровотечение, ставить горчичники на конечности, потом мушку на затылок, лед на голову и внутрь отвар алтайского корня с лавровишневой водой. Обращение их было неумолимое; они распоряжались, как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Клименков приставал к нему, мял, ворочал, поливал на голову какой-то едкий спирт, и, когда больной от этого стонал, доктор спрашивал, продолжая поливать: «Что болит, Николай Васильевич? А? Говорите же!» Но тот стонал и не отвечал. – Они уехали, я остался во весь вечер до двенадцати часов и внимательно наблюдал за происходящим. Пульс скоро и явственно упал, делался еще чаще и слабее, дыхание, уже затрудненное утром, становилось еще тяжелее; уже больной сам поворачиваться не мог, лежал смирно на одном боку и был покойен, когда ничего не делали с ним; от горчичников стонал; по вставлении нового суппозитория вскрикнул громко; по временам явственно повторял: «Давай пить!» Уже поздно вечером он стал забывать, терять память. «Давай боченок!» – произнес он однажды, показывая, что желает пить. Ему подали прежнюю рюмку с бульоном, но он уже не мог сам приподнять голову и держать рюмку, надобно было придержать то и другое, чтоб он был в состоянии выпить поданное. Еще позже он по временам бормотал что-то невнятно, как бы во сне, или повторял несколько раз: «Давай, давай! Ну, что же!» Часу в одиннадцатом он закричал громко: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!...» Казалось, ему хотелось встать. Его подняли с постели, посадили на кресло. В

это время он уже так ослабел, что голова его не могла держаться на шее и падала машинально, как у новорожденного ребенка. Тут привязали ему мушку на шею, надели рубашку (он лежал после ванны голый); он только стонал. Когда его опять укладывали в постель, он потерял все чувства; пульс у него перестал биться; он захрипел, глаза его раскрылись, но представлялись безжизненными. Казалось, что наступает смерть, но это был обморок, который длился несколько минут. Пульс возвратился вскоре, но сделался едва приметным. После этого обморока Гоголь уже не просил более ни пить, ни поворачиваться; постоянно лежал на спине с закрытыми глазами, не произнося ни слова. В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги. Я положил кувшин с горячей водой, стал почаше давать проглатывать бульон, и это, по-видимому, его оживляло; однако же вскоре дыхание сделалось хриплое и еще более затрудненное; кожа покрылась холодною испариною, под глазами посинело, лицо осунулось, как у мертвеца. В таком положении оставил я страдальца, чтобы опять не столкнуться с медиком-палачом, убежденным в том, что он спасает человека; я хотел дать успокоение графу, который без того не уходил в свою комнату. Рассказали мне, что Клименков приехал вскоре после меня, пробыл с ним ночью несколько часов: давал ему каломель, обкладывал все тело горячим хлебом; при этом опять возобновился стон и пронзительный крик. Все это, вероятно, помогло ему поскорее умереть».

Доктор А. Т. Тарасенков

«Печально сознаться в этом, но одною из причин кончины Гоголя приходится считать неумелые и нерациональные медицинские мероприятия... Гоголь был субъектом с прирожденною невропатическою конституцией. Его жалобы на здоровье в первую половину жизни сводятся к жалобам неврастеника. В течение последних 15-20 лет жизни он страдал тою формою душевной болезни, которая в нашей науке носит название периодического психоза, в форме так наз. периодической меланхолии. По всей вероятности, его общее питание и силы были надорваны перенесенной им в Италии (едва ли не осенью 1845 г.) малярией. Он скончался в течение приступа периодической меланхолии от истощения и острого малокровия мозга, обусловленного как самою формою болезни, -сопровождавшим ее голоданием и связанным с нею быстрым упадком питания и сил, – так и неправильным, ослабляющим лечением, в особенности кровопусканием. Следовало делать как раз обратное тому, что с ним делали, – т. е. прибегнуть к усиленному, даже насильтственному кормлению и вместо кровопускания, может быть, наоборот, к вливанию в подкожную клетчатку соляного раствора. *Доктор Н. Н. Баженов*

«Посещавший Гоголя врач (*Иноземцев*) захворал и уже не мог к нему ездить. Тогда граф настоял на своем желании ввести меня к нему. Гоголь сказал: «Напрасно, но пожалуй». Тут только я в первый раз увидел его в болезни. Это было в субботу первой недели поста. Увидев его, я ужаснулся. Не прошло месяца, как я с ним вместе обедал; он казался мне человеком цветущего здоровья, бодрым, свежим, крепким, а теперь передо мною был человек, как бы изнуренный до крайности чахоткою или доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались тусклыми, впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык трудно шевелился от сухости во рту, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда. Он сидел, протянув ноги, не двигаясь и даже не переменяя прямого положения лица; голова его была несколько опрокинута назад и покоялась на спинке кресел. Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но не долго мог ее удерживать прямо, да и то с заметным усилием. Хотя неохотно, но позволил он мне пощупать пульс и посмотреть язык: пульс был ослабленный (у *Шенрока*: пульс был довольно полон и скор), язык чистый, но сухой; кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита. Тогда еще не были мне сообщены предшествовавшие печальные события: его непреклонная уверенность в близкой смерти и самим им произведенное истребление своих творений. В это время главное внимание заботившихся о нем было обращено на то, чтобы он употреблял

питательную пищу и имел свободное отправление кишечек. Приняв состояние, в котором он теперь находился, за настоящую (соматическую) болезнь, я хотел поселить в больном доверие к врачеванию и склонить его на предложения медиков. Чтоб ободрить его, я показал себя спокойным и равнодушным к его болезни, утверждая с уверенностью, что она неважна и обыкновенная, что она теперь господствует между многими и проходит скоро при пособиях. Я настаивал, чтоб он, если не может принимать плотной пищи, то, по крайней мере, непременно употреблял бы поболее питья, и притом питательного, – молока, бульона и т. д. «Я одну пилюлю проглотил, как последнее средство; она осталась без действия; разве надоено пить, чтоб прогнать ее?» – сказал он. Не обременяя его долгими разговорами, я старался ему объяснить, что питье нужно для смягчения языка и желудка, а питательность питья нужна, чтоб укрепить силы, необходимые для счастливого окончания болезни. Не отвечая, больной опять склонил голову на грудь, как при нашем входе; я перестал говорить и удалился вместе с графом наверх. На следующий день, в середу утром, больной находился почти в таком же положении, как и накануне; но слабость пульса усилилась весьма заметно, так что врачи, видевшие его в это время, полагали, что надоено будет прибегнуть к средствам возбуждающим (мускус). Около полудня собрались для консилиума: Овер, Эвениус, Клименков, Сокологорский и я. Судьбе угодно было, чтобы Ворвинский был задержан и приехал позднее, после того как участь больного уже решена была неумолимым советом трех. В присутствии гр. А. П. Толстого, Ив. В. Капниста, Хомякова и довольно многочисленного собрания Овер рассказал Эвениусу историю болезни. При суждении о болезни взяты в основание: его сидячая жизнь; напряженная головная работа (литературные занятия); они могли причинить прилив крови к мозгу. Усиленное стремление умерщвлять тело совершенным воздержанием от пищи, неприветливость к таким людям, которые стремятся помочь ему в болезни, упорство не лечиться – заставили предположить, что его сознание не находится в натуральном положении. Поэтому Овер предложил вопрос: «Оставить больного без пособий или поступить с ним, как с человеком, не владеющим собою, и не допускать его до умерщвления себя?»

Ответ Эвениуса был: «Да, надоено его кормить насильно». Все врачи вошли к больному, стали его осматривать и расспрашивать. Когда давили ему живот, который был так мягок и пуст, что через него легко можно было ощупать позвонки, то Гоголь застонал, закричал. Прикосновение к другим частям тела, вероятно, также было для него болезненно, потому что также возбуждало стон и крик. На вопросы докторов больной или не отвечал ничего, или отвечал коротко и отрывисто «нет», не раскрывая глаз. Наконец, при продолжительном исследовании, он проговорил с напряжением: «Не тревожьте меня, ради бога!» Кроме исчисленных явлений ускоренный пульс и носовое кровотечение, показавшееся было в продолжение его болезни само собою, послужили показанием к приставлению пиявок в незначительном количестве. Овер препоручил Клименкову поставить больному две пиявки к носу, сделать холодное обливание головы в теплой ванне. Тогда прибыл Ворвинский. Коротко передал ему Овер тот же французский рассказ по-русски. По осмотре больного Ворвинский сказал: «*Gastro-enteritis ex inanitione (желудочно-кишечное воспаление вследствие истощения)*. Пиявок не знаю, как вынесет, а ванну разве бульонную. Впрочем, навряд ли что успеете сделать при таком упорстве больного». Но его суждения никто не хотел и слушать; все разъезжались. Клименков взялся сам устроить все, назначенное Овером. Я отправился, чтоб не быть свидетелем мучений страдальца. Когда я возвратился через три часа после ухода, в шестом часу вечера, уже ванна была сделана, у ноздрей висели шесть крупных пиявок; к голове приложена примочка».

Доктор А. Т. Тарасенков

«Гоголь занимал несколько комнат в нижнем этаже дома графини Толстой. Когда я вошла в комнату, в которой находился больной (помню, комната эта была с камином), он лежал в постели, одетый в синий шелковый ватный халат, на боку, обернувшись лицом к стене. Умирающий был уже без сознания, тяжело дышал, лицо казалось страшно черным. Okolo него никого не было, кроме человека, который за ним ходил. Через несколько часов

Гоголя не стало». *В. А. Нащокина*

«Сего утра в восемь часов наш добрый Николай Васильевич скончался, был все без памяти, немного бредил, повидимому, он не страдал, ночь всю был тих, только дышал тяжело; к утру дыхание сделалось реже и реже, и он как будто уснул, болезнь его обратилась в тифус; я у него провела две ночи, и при мне он скончался. Накануне смерти у Гоголя был консилиум; его сажали в ванну, на голову лили холодную воду, облепили горчичниками, к носу ставили пиявки, па спину мушку, и все было без пользы». *Елиз. Фом. Вагнер (теща Погодина) – М. П. Погодину*

«В десятом часу утра, в четверг 21 февраля 1852 г., я спешу приехать ранее консультантов, которые назначили быть в десять (а Овер – в час), но уже нашел не Гоголя, а труп его: уже около восьми часов утра прекратилось дыхание, исчезли все признаки жизни. Нельзя вообразить, чтобы кто-нибудь мог терпеливее его сносить все врачебные пособия, насиливо ему навязываемые. Умерший лежал уже на столе, одетый в сюртук, в котором он ходил; над ним служили панихиду; с лица его снимали маску. Когда я пришел, уже успели осмотреть его шкафы, где не нашли ни им писанных тетрадей, ни денег. Долго глядел я на умершего: мне казалось, что лицо его выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль, унесенную в гроб». *Доктор А. Т. Тарасенков*

«Погодина не было в Москве во время кончины и погребения Гоголя; Шевырев был болен (он занемог за два дня до смерти Гоголя), а другие друзья его: Хомяков, Аксаковы и Кошелев сделали из дела общего, из скорби общей вопрос партий и не несли покойного, а устранились от погребения». *Графиня Е. П. Сальяс – М. А. Максимовичу*

Графиня де Салиас, сестра Сухово-Кобылина, была права: самое странное началось потом. Раз денег у покойного не осталось, кто-то должен позаботиться о погребении. Граф ставит свои условия, с которыми не соглашаются друзья, забывшие о Гоголе во время последней болезни. С условиями друзей, в свою очередь, не соглашается Москва, вернее – Московский университет: прах великого писателя теперь принадлежит его народу. И вешь, невероятная для людей, исповедующих православие: ни граф, ни друзья не примут участия в похоронах. Это студенты и профессора на плечах отнесут гроб в Татьянинскую церковь университета, а когда придет срок – и на кладбище Данилова монастыря. Ни родных, ни близких у могилы не будет. Кроме дамы в черном.

«Безумное гонение имени...»

Из воспоминаний современника

Университетские профессора никому не уступили скорбного права вынести тело Гоголя из церкви. У дверей стоял великолепный катафалк, разубранный цветами, с эскортом сопровождающих в черных одеждах. Предполагалось, что каждого коня из шестерки будет вести отдельный служащий, не говоря о предваряющих шествие факельщиках. Однако все вышло по-иному. Студенты в полном смысле слова перехватили гроб, и после минутной заминки он как-то торжественно и плавно поплыл над головами несметной толпы, запрудившей все вокруг. Ни на Никитской, ни на Моховой не было ни прохода, ни проезда. Безо всякого участия слишком многочисленных для такого события городовых шествие само образовалось и двинулось за гробом. Совершенно незаметно сменялись несущие, каждому хотелось хоть на самое короткое мгновение принять на свои плечи святую ношу. По обочинам улиц всюду стоял народ. Все скидывали шапки и по многу раз в пояс кланялись покойному.

Так продолжалось все семь верст, отделявших университет от Данилова монастыря. Выбор его показался мне странен, потому что в разговорах покойный упоминал, хотя и безо

всякой связи со своим погребением, Донской, скорее всего, из-за многих нашедших там свой последний покой знакомых. По словам Самарина, все перевесила недавняя смерть госпожи Хомяковой, произведшая на покойного какое-то особое впечатление. Завещал ли он положить себя рядом с ней или нет, говорил ли о своей кончине в таких подробностях, не знаю и, во всяком случае, сомневаюсь: слишком многие одновременно стали разносчиками скорбных новостей и преуспели в оповещении всей Москвы.

Настоящее столпотворение началось уже в монастыре. Каждый хотел пробиться ближе к могиле, хотя бы взглянуть, если не бросить горсти земли. Невозможно было себе представить такого множества людей с глазами, полными слез. «Как бы был он счастлив, видя такую преданность», – сказал Самарин. «Он видит», – возразил я. «Но, согласись, это далеко не одно и то же. Разве он потерял бы тогда интерес к жизни?» Я вынужден был согласиться. Это горькое счастье пришло к нему слишком поздно, и, кажется, это понимали все присутствующие.

На обратном пути, который оказался долгим и утомительным, я понял, что не смогу остаться один в тишине моего дома и решил заехать к Марии Дмитриевне, которую мельком видел в университетской церкви, не успев даже ей поклониться.

Швейцар привычно распахнул двери подъезда и, узнав меня, притищенным голосом сообщил, что барыня только что вернулись, а других гостей пока нет. Гостиная была пуста, но через открытые двери кабинета я увидел хозяйку, стоящую у окна. Услышав шаги, Мария Дмитриевна, не оборачиваясь, пригласила меня войти и без вступления сказала: «Знаете, у меня абонированная ложа на самый трагический спектакль нашего времени». Я опешил. «Подойдите сюда, и сами убедитесь. Не узнаете?» Она показала на двор по другую сторону бульвара: это была усадьба Толстых за плотно закрытыми воротами, с дворником сурового вида у каменной узкой калитки. Все окна в доме были плотно завешены, но по двору сновали какие-то люди из господского дома в службы. Задние ворота в переулок были, напротив, широко распахнуты, и в них разворачивался груженый воз, с которым не могли справиться дворовые.

«Они уже все вывезли, – сказала Мария Дмитриевна. – Это уже остатки». На мой немой вопрос она ответила: «Всю обстановку покойного. Вы знаете, они начали чистить дом, как только тело вынесли в церковь». – «Но разве это не естественно?» – возразил я. «Естественно? Они открыли настежь все окна и двери и мыли все окна и двери. В январскую стужу. Лишь бы не осталось и следа. И обстановка. Это же их обстановка. Впрочем...» Мария Дмитриевна задумалась и отвернулась от окна.

«Я не охотница подходить к окнам, но тут. Вы знаете, чем-то это было похоже на сказки Гофмана. Да, да, именно Гофмана. Когда покойный был жив, в окнах его комнат постоянно горел свет. Для меня стало привычкой, возвращаясь после спектакля, я взглярывала на его окна. Они вон там, совсем над землей... Николай Васильевич допоздна работал. Тень мелькала за занавесками. Он ведь сочинял походя, как говорил Михаил Семенович, потом записывал, потом снова все перечитывал на ходу. Почти как мы учим роли.

Не хозяин... Я часто себе представляла, не хозяин. Свечи горели или в первой комнате, или во второй. Туда, Михаил Семенович рассказывал, он никого не впускал. А свечам должен был вести счет, ведь не свои – хозяйские.

Бот откуда это у нас: раз великий, значит, одиночество. И безденежье. Жесточайшее. На всю жизнь. Вы знаете, как не стало Пушкина? Вы знаете его последнюю квартиру? Четверо детей. Четверо! Мал мала меньше. Прислуга неумелая, суматошная. Жена ни к чему рук не прикладывавшая. Чужая. Да не говорите вы мне о любви! Сначала отказывала. Думать не хотела. Старый. Без состояния. Сплетен о романах не оберешься. Надеялась на иное счастье. Не выпало! Никто не нашелся. Согласилась, скрепя сердце. Что могли с мамашей, всё с жениха получили. Всё!

Любовь! Если бы любила, уехала бы в деревню, тем более с детьми. Тем более амуры пошли. Знала, добром не кончится, только к сердцу ничего не принимала».

Я не мог удержаться от любопытства. Все знали, как хорошо была знакома с поэтом Мария Дмитриевна. И здесь ее неожиданная откровенность позволила узнать какие-то неизвестные подробности. Я почти робел с моим вопросом, была ли она на последней квартире поэта. Мария Дмитриевна ответила утвердительно: хотя и после его кончины, вместе с Жуковским.

«Да, так я о квартире. Неудобная ни для приемов, ни для работы. Надо же было додуматься: рядом с кабинетом детская. В доме сестры жены. Жалованье царское за „Пугачева“ прекращено. Литературные заработки – кот наплакал. С имения все хотели что-нибудь да иметь: отец, братец, сестрица. Он же перед новым годом отцу признавался: не в состоянии всех содержать. Я тогда его увидела: старый, седина пошла, морщины. Это у Александра Сергеевича! Взгляд затравленный. Посторонние сочувствовали. Из деликатности молчали. Не помог никто... Умирал – у дверей толпа стояла, бюллетень о здоровье на бумажке вывешивали, чтобы не беспокоили. А у дивана родных никого. Вы только почувствуйте, жена в соседней комнате конца дожидалась! Не беспокоили, видите ли, ее. Не беспокоили! А вокруг него, как в театре, Василий Андреевич, граф Виельгорский, незадавшийся тестя Гоголя, Даль, княгиня Вяземская, доктор и Александр Иванович Тургенев. При них дух испустил. Кто они ему, кто, если он из-за дурной жены погиб! Господи! Ведь его сразу в прихожую вынесли, чтобы народ прощаться мог и вдовы бы не беспокоили. В прихожую! Там беспокойства для семейства меньше.

А потом – потом перед Конюшенной церковью гроб для прощания выставили. Николай Васильевич прямо счастливец выходит: как-никак университет и вся Москва. Хоть и позднее, все равно душе утешение.

Александра Сергеевича в Святые горы никто из родных провожать не поехал. Понимаете, баба простая и та бы от гроба мужа не оторвалась. Любила – не любила, а ведь четверых детей родила, и чтобы не проводить в последний путь? Посторонний человек, Александр Иванович Тургенев, поехал, а к гробу на дровнях всю дорогу, прижавшись, дядька ехал. Его слезами дорога омыта, его одного.

Тяжело слушать? Да ведь и это еще не все. Все вещи вдова тут же на склад отправила. Чтобы не мешались. Чтобы ничего не напоминали. Один только рабочий стол, спасибо, Вяземский забрал, а диван – его последний, единственный, – на складе то ли потеряли, то ли продали. Жена первый раз на могилу через два года приехала, и то по делам имения – о деньгах позаботиться. Вот видите, а я Толстых обвинять стала. Они-то мне говорили, сочинений гоголевских и вовсе не читали. Не нужен он им был, не нужен! Вот и мыли окна в январский мороз. Не по-людски, не по обычаям. Да и какие у них обычаи – только и заявляли себя православными за границей, дай Бог, чтобы русский язык знали. Не случайно графиня хвасталась Священным писанием на французском языке. Так ей понятней».

Я попытался сказать, что графиня не очень здоровый по натуре человек, боится инфекций, поэтому и судить ее трудно. Мария Дмитриевна досадливо отмахнулась и снова вернулась к окну.

«А потом его окна перестали зажигаться. Кто-то рассказал, что больного перенесли в другую комнату, тоже на первом этаже. Будто бы подальше от любопытствующих. Вернее сказать, сочувствующих. У Пушкина вон бюллетени вывешивались, а здесь все потихоньку, все за закрытыми дверями. То ли болен, то ли не болен. То ли хуже ему, то ли поправляться стал. Студенты толпами по бульвару ходили: может, что-то удастся узнать.

Не знаю, куда перенесли, но только на первом этаже больше по вечерам свет нигде не горел. Наверно, окнами в другую сторону пристроили. Просто сердцем никто за него не болел. Заезжали наверняка, справлялись да и уезжали по своим делам. Ведь он же это чувствовал. Как чувствовал... Одиночество. И безденежье. Ведь даже докторами распорядиться сам не мог: все за хозяйский счет.

А ведь на деле дорог он был многим. Михайла Семенович убивался, что, если бы у него его старый дом в Большом Спасском был, он бы уговорил Гоголя к себе переехать. Домашние бы его выходили, непременно выходили. Только он теперь на съемной квартире.

Теснится кое-как, последние гроши взрослым сыновьям рассыпает. Воля жены, ничего не сделаешь. Больше всего увольнения боится. Начальство все его контрактом пугает: стар будто бы, не нужен становится. Страшно ему как!

Но я не о том. В первую же ночь, когда гроб в университетской церкви поставили, народу для прощания только часам к десяти вечера поубавилось. Остались псаломщики и студентов шестеро, чтобы сменяться у гроба. А тут карета у подъезда остановилась. Вошла женщина вся в черном, под густой вуалью. Подошла к гробу, приложилась ко лбу покойного, руку у него поцеловала, да так и осталась стоять, опервшись о край, до самого утра. Нет-нет вуаль откинет, снова покойного поцелует и снова, как статуя, стоит... Только когда утренняя смена причетников пришла, еще раз с Николаем Васильевичем простились и пошла, словно во сне, шаг за шагом.

Двое студентов кинулись поддержать, помочь по лестнице сойти. Она помощь принял, кивком поблагодарила. А когда дверь подъезда распахнули, перед ней – карета с гербами. Евдокия Ростопчина... Что в душе ее творилось, не нам судить, а выходит одна проводила Николая Васильевича по-человечески. Одна!»

Из литературных воспоминаний И. С. Тургенева «В последних числах февраля месяца следующего 1852 года я находился на одном утреннем заседании вскоре потом погибшего общества посещения бедных в зале Дворянского Собрания, – и вдруг заметил И. И. Панаева, который с судорожной поспешностью перебегал от одного лица к другому, очевидно, сообщая каждому из них неожиданное и невеселое известие, ибо у каждого лица тотчас выражало удивление и печаль. Панаев, наконец, подбежал и ко мне – и с легкой улыбкой, равнодушным тоном промолвил: „А ты знаешь, Гоголь помер в Москве. Как же, как же... Все бумаги сжег – да помер“, – помчался далее. Нет никакого сомнения, что, как литератор, Панаев внутренно скорбел о подобной утрате – притом же, и сердце он имел доброе – но удовольствие быть первым человеком, сообщающим другому о горючающую новость (равнодушный тон употреблялся для большого форсу) – это удовольствие, эта радость заглушали в нем всякое другое чувство. Уже несколько дней в Петербурге ходили темные слухи о болезни Гоголя; но такого исхода никто не ожидал. Под первым впечатлением сообщенного мне известия я написал следующую небольшую статью:

Письмо из Петербурга Гоголь умер! – Какую русскую душу не потрясут эти два слова? – Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, – пришла эта роковая весть! – Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших! – Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников... Его утрата возобновляет скорбь о тех незабвенных уратах, как новая рана возбуждает боль старинных язв. Не время теперь и не место говорить об его заслугах – это дело будущей критики; должно надеяться, что она поймет свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважения и любви судом, которым подобные ему люди судятся перед судом потомства; нам теперь не до того: нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби, которую мы чувствуем разлитою повсюду вокруг нас; не оценять его нам хочется, но плакать; мы не в силах говорить теперь спокойно о Гоголе... самый любимый, самый знакомый образ неясен для глаз, орошенных слезами... В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку – соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное лицо; но мы шлем ему издалека наш прощальный привет – и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и нашей любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось, подобно москвичам, бросить горсть родимой земли! – Мысль, что прах его будет покояться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоятся там, в этом сердце России, которую он так глубоко

знал и так любил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове! Но невыразимо тяжело было бы нам подумать, что последние; самые зрелые плоды его гения погибли для нас невозвратно – и мы с ужасом внимаем жестоким слухам об их истреблении...

Едва ли нужно говорить о тех немногих людях, которым слова наши покажутся преувеличенными, или даже вовсе неуместными... Смерть имеет очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумения – все смолкает перед самою обыкновенною могилой! они не заговорят над могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы уверены, что никто не откажется повторить теперь же вслед за нами: мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!

По поводу этой статьи (о ней тогда же кто-то весьма справедливо сказал, что нет богатого купца, о смерти которого журналы не отзвались бы с большим жаром) – мне вспоминается следующее: одна очень высокопоставленная дама – в Петербурге – находила, что наказание, которому я подвергся за эту статью, было незаслуженно – и, во всяком случае, слишком строго, жестоко... Словом, она горячо заступалась за меня. «Но ведь вы не знаете, – доложил ей кто-то, – он в своей статье называет Гоголя великим человеком!» – «Не может быть!» – «Уверяю вас». – «А! в таком случае, я ничего не говорю: *je regrette, mais je comprends qu'on ait du sevir*».

Я препроводил эту статью в один из петербургских журналов; но именно в то время цензурные строгости стали весьма усиливаться с некоторых пор... Подобные «crescendo» происходили довольно часто и – для постороннего зрителя – так же беспринципно, как напр., увеличение смертности в эпидемиях. Статья моя не появилась ни в одном из последовавших за тем дней. Встретившись на улице с издателем, я спросил его, что бы это значило? – «Видите, какая погода», – отвечал он мне иносказательно речью: «И думать нечего». – «Да ведь статья самая невинная», – заметил я. «Невинная ли, нет ли, – возразил издатель, – дело не в том; вообще, имя Гоголя не велено упоминать. Закревский на похоронах в Андреевской ленте присутствовал: этого здесь переварить не могут». Вскоре потом я получил от одного приятеля из Москвы письмо, наполненное упреками: «Как! – воскликнул он. – Гоголь умер, и хоть бы один журнал у вас в Петербурге отзывался! Это молчание постыдно!» В ответе моем я объяснил – сознаюсь, в довольно резких выражениях – моему приятелю причину этого молчания, и в доказательство, как документ, приложил мою запрещенную статью. Он ее представил немедленно на рассмотрение тогдашнего попечителя московского округа – генерала Назимова – и получил от него разрешение напечатать ее в «Московских ведомостях». Это происходило в половине марта, а 16 апреля я – за ослушание и нарушение цензурных правил – был посажен на месяц под арест в части (первые двадцать четыре часа я провел в сибирке и беседовал с изысканно-вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей прогулке в Летнем Саду и об «аромате птиц»), а потом отправлен на жительство в деревню.

Но только через 27 лет, в 1879 году, Тургенев поделится своими тюремными впечатлениями с Гюставом Флобером: «Вы не любите гулять, но надо принуждать себя. Однажды я целый месяц пробыл в заключении (только храните это в секрете). Комната была маленькая и ужасно душная. Два раза в день я носил 104 карты из одного конца комнаты в другой, туда-сюда, получалось 208 оборотов, четыреста в день, комната имела восемь шагов в длину, значит в общей сложности получалось три тысячи триста, т. е. около двух километров. Ну что, вдохновил вас этот инженерный расчет? В дни, когда я не ходил, у меня кровь приливалась к голове».



Вид Данилова монастыря в XIX в.

В момент кончины Александра Невского младшему из его сыновей было всего два года. Двадцати лет он получил по разделу с братьями в удел Москву. Москва впервые обрела своего князя и превратилась в самостоятельное княжество. Княжение Даниила Александровича Московского продолжалось двадцать лет. В конце XIII века у Кремля за торгом, с напольной стороны, основывается Богоявленский монастырь, который строится у дороги на Владимир через Переславль, превратившийся также в самостоятельное княжество. Тогда же на древнем пути в Коломну, в беспокойные южные края встает старый Данилов монастырь.

Первый Московский князь... О ком бы, казалось, как не о нем, знать москвичам. Вот только многие ли вспомнят, что именно его имя сохраняют такие известные московские названия, как Даниловская площадь и Даниловская набережная, Даниловский Вал и Даниловский тупик, а еще 4-7-й проезды, не говоря уже о существовавшем в прошлом Даниловом мосте. А это – жизнь, обстоятельства княжения, строительства города!

Монастырь, основанный около 1283 года, стал первым звеном в южном оборонительном поясе города. Первая сторожа, вслед за которой появятся остальные, оберегающие от татарских, да и не только татарских нашествий. Достаточно хотя бы в общих чертах представить себе судьбу князя.

Родился в 1261 году и потому принимать участие в борьбе за великокняжеский ярлык не мог. Эта борьба развернулась между его старшими братьями – Дмитрием, князем Переславским, и Андреем, князем Городецким, когда поочередно побывали на великокняжеском столе родные братья отца, младшие – Ярослав и Василий. Первым удалось «покняжить» Дмитрию Александровичу.

Но достаточно было Дмитрию Александровичу отлучиться в Новгород, чтобы утвердиться там на княжении, целый союз русских князей направился в Орду помочь хану Менту-Тимуру воевать непокорных ему кавказцев – алан или ясов, на Северном Кавказе. Пошли туда Борис Василькович Ростовский, его брат Глеб Василькович Белозерский; Федор Ростиславич Черный Ярославский да и Андрей Александрович Городецкий. Расчет у Андрея был хитрый – подружиться с ханом и перехватить великое княжение у брата.

Поход закончился в 1279 году, а двумя годами позже Андрей Александрович принес жалобу на Дмитрия Александровича в Орду. Поддержку он получил и вместе с татарским войском двинулся к Мурому, где собрал некоторых русских князей, и теперь уже с немалыми силами двинулся к Переславлю, вотчине старшего брата.

Переславль безо всякого труда был взят. Дмитрий Александрович бежал на край Новгородских земель, в Копорье. Андрей Александрович не замедлил прийти во Владимир, щедро наградить татарских союзников и воцариться на великом столе. Но вскоре стало

понятно, что распустить войско он поторопился.

Достаточно было Дмитрию Александровичу убедиться, что брата больше нет в Переславле, как он снова появился в своей вотчине и начал собирать дружественных ему людей. Опасность для великого князя стала слишком реальной, и Андрей Александрович опять бросился за помощью в Орду, подтвердил свои права, получил в подкрепление новое татарское войско под командованием ордынца Турай-Темира и пошел походом в родные края.

Оценив неравные возможности, Дмитрий Александрович бежал в приднестровские степи, где действовал отъединившийся от Сарай хан Ногай. Защиту он получил, но все равно в 1283 году ему пришлось возвращаться в свои владения, правда, на условиях примирения. Мысль о мести не оставляла старшего сына Невского, тем более что Андрей каждый раз искал и находил поддержку в Орде.

В 1285 году Дмитрию Александровичу удалось разбить войско брата: отряд татар, приведенный им из Орды, оказался слишком мал. Зато чаша весов тут же склонилась на сторону Андрея Александровича. В 1293 году Городецкий князь, вошел в доверие к очередному хану – Тохте, получил огромное войско под командованием прямого родственника хана и вместе с ним начал «воевать» Сузdalскую землю. Были сожжены Москва, Владимир, Коломна, Дмитров, Переславль, Волок, другие города. Андрей Александрович победителем вошел в Новгород. Дмитрию оставалось только бегство – на этот раз в Псков.

Новые перипетии, новые сражения, очередной мир, подписанный на условиях отказа Дмитрия Александровича от великого княжения и – как великой милости – возвращения его в Переславль. Но, не доехав до отчины, Дмитрий Александрович в городе Волоке Ламском тяжело заболел, принял постриг и преставился. Андрей Александрович второй раз занял великий Владимирский престол на следующие десять лет. Вот тогда-то и настала очередь воевать Даниила.

Против Андрея Александровича выступили его племянники, в том числе сын покойного Дмитрия, князь Иван Дмитриевич Переславский, а вместе с ним и младший брат Даниил Александрович. Состоявшийся в 1296 году съезд князей во Владимире сумели завершить миром только два вмешавшихся в ожесточенные споры епископа. Даниил был тем, кто и слышать не хотел ни о каких уступках.

Андрей Александрович попробовал говорить с родственниками на языке силы и попросту захватить Переславль, но объединенные войска Михаила Ярославича Тверского и Даниила Александровича Московского заставили его отказаться от своей затеи. Верно и то, что мир удалось заключить только в 1301 году. А между тем князю Дмитрию надо было развязать себе руки, чтобы справиться с крестоносцами, уже построившими в устье Невы крепость Ландскрону.

Подвиг отца Андрею Александровичу удалось повторить. Сразу после заключения мира с родственниками он направился с новгородским войском к устью Невы. Ландскрону была взята и разрушена, крестоносцы в очередной раз разбиты.

Между тем не стало Ивана Дмитриевича Переславского, и Даниил Московский немедленно захватил «выморочный» удел. Потомства его племянник не оставил. Но еще до этого Даниилу удалось совершить удачный поход на Рязань и взять в плен рязанского князя Константина Романовича. Другое дело, что отпущен был Даниилу век недолгий. Он скончался в 1303 году, приняв перед смертью постриг.

До последнего времени не было основания сомневаться в словах летописца, что первую каменную московскую церковь возвели в 1530-х годах в Кремле, на месте нынешнего Успенского собора. В ходе реставрационных работ действительно были обнаружены остатки этого сооружения. Но вот под ними оказались части белокаменного фундамента, куда более древнего храма, никаких упоминаний о котором в документах нет. По всей вероятности, именно им первый князь отметил превращение Москвы в самостоятельное государство.

Некоторые исследователи считают, что как раз в Даниловом монастыре первым

Московским князем была заложена в 1272 году и первая каменная церковь. Вокруг храма были возведены укрепления – деревянные стены. В обители погребен и сам Даниил Московский. Московский стол перешел к его старшему сыну Юрию Даниловичу.

И снова историки слишком мало внимания уделяли очередному Московскому князю, хотя его заслуги по возвышению Москвы были немалыми. С первых же своих шагов Юрий Данилович поставил целью занять Владимирский великий стол, по сути, не имея на то никаких преимущественных прав. В этом, как, впрочем и в твердости нрава, он повторил пример предка, – Юрия Долгорукого.

Во время кончины отца Юрий Данилович находился в захваченном им Переславле, по праву принадлежащем великому князю. Горожане поддерживали московских князей, отказывались подчиняться великому князю Андрею Александровичу и даже не захотели отпустить Юрия на похороны отца. В то время как Андрей Александрович отправился в Орду подтверждать свои попранные права, Юрий Данилович вместе с младшими братьями захватил принадлежащий Смоленскому княжеству Можайск и взятого в плен Смоленского князя Святослава Глебовича привез в Москву.

На съезде князей в Переславле Юрий одержал полную победу. Несмотря на привезенный великим князем Андреем Александровичем ханский ярлык, он отказался оставить Переславль.

В следующем году великого князя не стало, а Юрий Данилович в 1306 году захватил входившую в Рязанское княжество Коломну. В руках Москвы оказалось все течение Москвы-реки от Можайска до впадения ее в Оку. «Положив глаз» на всю Рязанскую землю Юрий приказал убить находившегося в Москве в плену еще со времен правления Даниила Александровича Рязанского князя Константина.

В 1311 году не стало городецкого князя, младшего сына великого князя Андрея Александровича. Юрий Данилович немедленно захватил «выморочное» владение и посадил в Городце на княжение своего младшего брата Бориса Даниловича. При новом князе центром этих земель стал Нижний Новгород.

Но главной целью оставался ярлык на великое княжение. Попытка получить его в 1304 году, несмотря на поездку в Орду с богатейшими подарками, результата не принесла. Преимущество было отдано Тверскому князю Михаилу Ярославичу, его двоюродному дяде, который решил сразу же вернуть себе Переславль и предпринял несколько попыток «воевать» Москву. Юрий с братьями, среди которых отличался своей смелостью младший – Иван Данилович, будущий Калита, Москву отстояли, Переславль вынуждены были уступить.

На пару лет междуусобная война утихла, но в 1313 году умер золотоордынский хан Тохта, которому наследовал чингизид Узбек, ставший легендой среди тюркских народов: это при нем произошел расцвет улуса Джучи и утверждение в нем ислама. Имя Узбека стало носить целый народ.

Как только великий князь Михаил Ярославич отправился к новому хану для подтверждения своих прав, Юрий Данилович въехал в Новгород вместе с младшим братом Афанасием Даниловичем и стал Новгородским князем.

Получив это известие, Михаил Ярославич немедленно собрался в обратный путь. Но расправиться со своим взбунтовавшимся племянником ему не удалось. Предвидя неизбежность битвы, Юрий Данилович решил избежать встречи с великим князем, оставил в Новгороде брата Афанасия, а сам окольными путями направился в Сарай, прихватив богатейшие подарки. Его расчет полностью оправдался. Выиграть битву с великим князем Афанасий Данилович не сумел, попал в плен, зато Юрий Данилович не только обо всем договорился с Узбеком, но еще и получил в жены его сестру Кончаку, в крещении Агафью.

Осенью 1317 года Юрий Данилович прибыл в Кострому для встречи с Михаилом Тверским. Михаилу Ярославичу пришлось уступить сыну первого Московского князя великое княжение. Впрочем, уступка эта оказалась недолговременной. С большой ратью Юрий Данилович через Переславль-Залесский и Дмитров вступил в Тверское княжество, чтобы уничтожить соперника. Однако события приняли неблагоприятный для него оборот.

22 декабря 1317 года при селе Бортеневе, близ Твери, Московский князь был наголову разгромлен. Его брат Борис Данилович и жена Агафья взяты в плен.

И новый путь в Орду, где Юрий Данилович сообщает хану Узбеку о смерти его сестры в плenу у Михаила Тверского – насильственной! – который к тому же якобы замышляет измену и переход к неким «немцам». Для Узбека это был на редкость удачный предлог для разжигания междуусобицы на Руси. Михаил Ярославич был немедленно вызван в Орду и после долгих издевательств и пыток убит 22 ноября 1315 года: у него было вырезано сердце.

С разрешения хана Узбека Юрий Данилович забрал труп своего врага и в дальнейшем променял его на тело своей жены. Михаил Ярославич стал первым мучеником Тверской династии. К лику святых была причислена и его супруга – княгиня Анна Кашинская.

Однако вскоре внимание Юрия Даниловича переключается на западные владения. Его просят о помощи ценимые шведами новгородцы. В 1322 году, после смерти Афанасия Даниловича, правившего в Новгороде, Юрий Данилович совершает из Новгорода поход, чтобы захватить шведскую крепость Выборг. Осада ее оказалась бесполезной, зато во время похода Юрий Данилович основал крепость Орешек в истоках Невы (Нотебург – Шлиссельбург – Петрокрепость), первый русский форпост на Балтике и подписал мир со шведами.

Во время следующего похода Московский князь взял город Устюг Великий и присоединил к новгородским землям верховья Северной Двины. Но подобные успехи могли только настороживать Узбека. Достаточно сыну убитого Михаила Ярославича Тверского Дмитрию Михайловичу обвинить перед Узбеком Московского князя в утаивании части дани, взятой с тверичан, как князь Юрий вызывается в Орду для объяснений.

Юрию Даниловичу понадобилось несколько лет, чтобы собрать средства на соответствующий подарок Узбеку. Но в ханской ставке 21 ноября 1325 года оба князя встретились лицом к лицу. В припадке ярости Дмитрий Михайлович убил Московского князя. Тело Юрия Даниловича было привезено в Москву и похоронено митрополитом Петром в одном из кремлевских храмов. На велиkokняжеский стол поднялся младший брат убитого – Иван Данилович, по прозвищу Калита.

Крестник будущего московского митрополита святителя Алексея, Иван Калита был фактическим правителем Москвы начиная с 1322 года, поскольку последние годы своей жизни Юрий Данилович находился в походах, в Новгороде, а затем в Орде. Его главным советником был митрополит Петр, по-настоящему поддержавший нового князя тем, что в 1327 году перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Он подсказывает Калите необходимость превращения Москвы в духовную столицу русских земель. В августе 1326 года в Кремле был заложен Успенский собор. На новый, 1329 год последовало освящение храма Иоанна Лествичника (основа нынешней колокольни Ивана Великого). Тогда же решено было строить придел Успенского собора – поклонение веригам апостола Петра, что обращалось к имени митрополита и напоминало о константинопольском храме Святой Софии, где хранилась одна из вериг.

Калита решает построить по аналогии с придворными монастырями Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо придворный мужской монастырь. Для этого к построенной на велиkokняжеском дворе церкви Преображения были переведены в 1330 году иноки Данилова монастыря. Одновременно закладывается белокаменный Архангельский собор, ставший усыпальницей московских князей. И снова прямой намек на Киев, покровителем которого считался архангел Михаил, изображенный и на гербе города.

Примечательное обстоятельство. В одну из своих поездок в Орду Калита получает в подарок от хана Узбека восточную шапку-тюбетейку, которая со временем отделяется мехом и драгоценными каменьями и получает название шапки Мономаха. Ею начинают венчаться на царство московские князья.

Наконец в ноябре 1339 года начинается строительство мощных кремлевских стен «в едином дубу», окончания которого Калите не довелось увидеть: он умер 31 марта 1340 года, приняв перед кончиной постриг под именем Анания. Согласно духовной великого князя его

земли были разделены между тремя сыновьями: Семеном, Иваном и Андреем.

Обитель на берегу Москвы-реки была забыта, хотя около нее к тому времени уже выросло монастырское поселение Даниловское. Но внимания великих князей она к себе не привлекала вплоть до эпизода с великим князем Иваном III, описанного в «Степенной книге».

Во время поездки великого князя на охоту вблизи Данилова монастыря споткнулся конь под одним из бояр, и перед ним появился светозарный муж со словами: «Не бойся меня, я христианин и господин сего места. Имя мое Даниил, князь Московский. По воле Божьей и положен здесь. Скажи от меня великому князю: „Сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог“.

Переданные Ивану III слова видения возымели относительное действие. Великий князь распорядился петь отныне в старом храме соборные панихиды и раздавать милостыню в память о своем предке. Но свою бурную строительную деятельность – в это время шло в Кремле строительство дошедших до наших дней соборов – на древний монастырь не распространил. Решение о возрождении святыни принял его 17-летний внук Иван Грозный. В 1547 году, одновременно с коронацией на царство.

В январе 1547 года Иван Васильевич объявил боярам и митрополиту Макарию о своем желании принять новый титул – царя. Собственно, и раньше отца и деда Грозного величали иногда царями, но в принципе этот титул применялся к татарскому хану Золотой Орды. Однако уже более полувека, как Орда распалась – в 1480 году. Московское княжество превратилось в единое и независимое государство. Титул царя должен был окончательно подтвердить произошедшие перемены. В свою очередь, закладываемый в Даниловской обители каменный храм в честь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов и образование там монастыря на началах общежития свидетельствовали о древности царского рода. Грозный установил: к месту погребения Даниила Александровича Московского ежегодно совершать крестный ход и служить панихиду.

Первый во Вселенской церкви храм с таким посвящением был освящен митрополитом Макарием в 1561 году. А спустя ровно тридцать лет Данилову монастырю пришлось участвовать в обороне Москвы от крымского хана Казы-Гирея.

Нападение это было актом открытого и никак не ожидаемого московским правительством предательства. Брат и с 1588 года преемник крымского хана Ислама, Казы-Гирей жил в полном мире с Москвой. Более того – обменивался дружескими письмами с царем Федором Иоанновичем, вернее, правившим государством Борисом Годуновым, ограничиваясь набегами на Литву. И в 1591 году внезапно вторгся в пределы Московского государства, перешел Оку, разбил наголову воеводу Бахтеярова и подступил с войском в сто пятьдесят тысяч человек к Москве. И тем не менее здесь его ждал полный разгром, начало которому положило сражение у стен Данилова монастыря. Казы-Гирей вскоре обратился в бегство, оставив значительную часть обоза. Недалеко от Тулы русским удалось взять в плен около тысячи крымчаков.

Все это не помешало Казы-Гирею снова завести переписку с московским царем, просить Федора Иоанновича о возобновлении дружбы, ради которой крымский хан якобы готов был «отложитьсь» от Порты. Через три года крымчаку удалось добиться примирения с московским царем, получить от него десять тысяч рублей и множество ценных подарков. Денежные дары продолжали удерживать его дружбу вплоть до начала правления «боярского царя» Василия Шуйского.

Уже не против крымчаков, а против мятежных отрядов Ивана Болотникова собирает в 1606 году у стен Данилова монастыря свои дружины народный любимец полководец Михаил Скопин-Шуйский.

Очередные бои развертываются у Данилова монастыря в сентябре 1610 года, когда монастырские стены были сильно повреждены ядрами «Тушинского вора» – Лжедмитрия II. И каждый раз победу одерживают правительственные войска – «под благословленной сенью обители первого нашего князя», как напишут историки XIX столетия.

При первом царе из рода Романовых монастырь полностью восстанавливается и отстраивается. Алексей Михайлович и патриарх Никон приказывают перенести останки князя Даниила Александровича в храм Святых Отцов Семи Вселенских Соборов и положить в серебряную раку. Одновременно князь Даниил был причислен к лику святых Русской православной церкви.

Особенно большие потери несет монастырь во время наполеоновского нашествия. Обитель была полностью разорена и заново восстановлена после победы над Наполеоном. С начала XX века здесь существовала богадельня для служителей церкви и вдов из духовного звания, отличавшаяся, по замечанию современников, особо трогательной заботой о своих подопечных.

Все это время не прекращалась и застройка монастыря. В конце XVII века обитель была обнесена кирпичной стеной с семью башнями и надвратной церковью над северными воротами. В XVIII веке приобретает свой окончательный вид собор Семи Вселенских Соборов с церковью Даниила Столпника. В 1838 году заканчивается строительство церкви Троицы по проекту известного московского архитектора Е. Д. Тюрина. От XVII столетия остался Братский корпус.

Особое значение для Москвы приобретает монастырское кладбище. Не отличавшееся богатством, оно было знаменоито именами. Здесь покоились поэты А. С. Хомяков и М. И. Языков, основатель Московской консерватории Н. Г. Рубинштейн, художник В. Г. Перов. Здесь был похоронен Н. В. Гоголь и положено начало бесконечным и одинаково далеким от истины легендам о смерти великого писателя.



М.С. Щепкин у могилы Гоголя в Даниловском монастыре. Художник Голованов. 1852 г.

В 1931 году Данилов монастырь был отдан под колонию для несовершеннолетних преступников. По указанию правительства некоторые могилы были перенесены на другие кладбища, в том числе и гоголевская, которой предстояло поместиться на кладбище Новодевичьего монастыря. Данилов монастырь был возвращен церкви в 1983 году. В настоящее время в обители около сорока монахов и послушников, получающих образование в духовных учебных заведениях. В 1986 году митрополитом Америки и Канады Феодосием в нее возвращены частицы мощей князя Даниила Александровича, хранящиеся в храме Святых Отцов Семи Вселенских Соборов, в раке, на их историческом месте. Частица мощей находится в ковчеге, помещенном в Троицком соборе. На месте разрушенного кладбища возведена поминальная часовня.

Неудобный «Гоголь»

В свое время руководителей официальной идеологии как нельзя больше устроил отъезд из России автора «Ревизора». Его возвращение, к тому же без новых произведений, подобных «Мертвым душам», не представлялось опасным. Этому способствовали и толки о возросшей религиозности писателя, его интереса к проблемам философии христианства, хотя существовал он в стремлении к установлению высоких нравственных критериев, которые считал особенностью русской ментальности. Нравственность подлинная и мнимая – граница, о которой все время думает писатель.

С убежденностью Гоголь выступает против любых форм фанатизма. В одном из писем он пишет: «Односторонние люди и притом фанатики – язва для общества: беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смирения христианского и сомнения...»

Завещание Гоголя было опубликовано за семь лет до его кончины, в 1845 году. Писатель завещал предать его тело земле, «не разбирая места, где лежать ему; ничего не связывать с оставшимся прахом». Вторым условием было «не ставить надо мною памятника и не помышлять о таком пустяке...». Тем не менее не участвовавшие в похоронах Аксаковы привезли из южных степей и поместили на могиле большой валун. Этот же валун вместе с останками был перенесен на Новодевичье кладбище. Но в 1952 году был заменен портретным бюстом.

Завещание содержало и еще один раздел: «Объявляю также во всеуслышание, что, кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений: все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим именем, прошу считать это презренным подлогом».

Из воспоминаний современника На девятый день, после поздней обедни, в университетской церкви собралось достаточно много народа. Среди студентов было немало профессоров, театральной публики, вероятно, и простых москвичей. Экипажи подъезжали один за другим. На улице стал образовываться затор. Прошел слух, что получено разрешение на служение литии по Николаю Васильевичу.

Так и вышло. Настоятель вышел со служащими. Собрался консерваторский хор (университетский особенностями достоинствами не отличался). Служба шла долго и очень торжественно, по полному чину, несмотря на присутствие жандармов, не преминувших посетить ожидаемое, но недозволенное начальством сборище.

С последними словами песнопения в церкви воцарилась некоторая неловкость. Самарин один сказал о ней вслух: «Как же это, господа, у покойного и дома нет, где бы его помянуть». Это было горькое и острое чувство: бездомности великого человека. Высказанная кем-то мысль о ресторане была тут же отвергнута. Знакомые писателя медленно расходились, подавленные и обескураженные. У меня мелькнула мысль о Марии Дмитриевне: ее дом всегда стоял отвором для друзей, но в этом случае непонятно, насколько неожиданный визит мог обременить любезную хозяйку. Однако Самарин и подошедший Садовский присоединились ко мне, и мы втроем решились на посещение госпожи Синецкой, экипаж которой одним из первых отъехал от подъезда.

Оказалось, мы не ошиблись и не были первыми. Двери Соловьиного дома раз за разом распахивались. Швейцар едва успевал принимать одежду. Из залы доносился запах блинов. Хозяйка в строгом платье, подчеркивавшем сюровую красоту нашей Марии Стюарт, поздоровалась с нами как с приглашенными и молча показала рукой на двери зала, где раздавался звон стекла, приборов и бесшумно сновала прислуга. За столом оказалось более тридцати человек. Я спросил компаньонку Марии Дмитриевны, не стеснили ли мы Марии

Дмитриевны. Пухленькая старушка, столько лет убиравшая Марию Дмитриевну перед спектаклями, одними губами прошептала, что нисколько, что с трактирщиком все договорено и его прислуга обо всем позаботится. «Ведь такого человека поминаем», — и ее глаза наполнились слезами.

Разговор нет-нет да возвращался к неожиданности кончины Николая Васильевича. По-настоящему разговоров о каком-то серьезном недуге в Москве не было. Многие видели Гоголя на чтении «Банкрота» Островским у Погодина, где писателю ничего не стоило простоять все время, опершись о косяк двери. Никому не пришло в голову озабочиться сиденьем для него, народу же собралось слишком много. Все знали, что Гоголь читал корректуры — об этом толковали Аксаковы. Кто-то получил приглашение на малороссийские песни на масляную, которые Гоголь собирался устроить в своей квартире.

Одни винили во всем модного Овера, который не справился с лечением, другие сетовали на болезнь доктора Иноземцева, который не смог принять участия в больном, третьи видели корень зла в слишком большом столпотворении медиков, когда не могла быть соблюдена единая метода лечения. Все пытались вызвать на откровенность профессора Армфельда, искренно любившего покойного и дружившего с ним. Профессор отговаривался отсутствием практики и незнанием состояния Николая Васильевича и явно не хотел высказываться против какого бы то ни было из своих коллег. Единственный прямой ответ последовал на вопрос Самарина: «Но если бы вы полагали, что болезнь серьезна, разве вы бы сами не приехали к Николаю Васильевичу». Армфельд вынужден был признаться, что среди московских медиков существовало убеждение в единственном недуге писателя — ипохондрии, в которой обычно темные полосы самочувствия сами собой сменялись более светлыми. И неожиданно эти слова вывели словно из глубокого забытья все время молчавшую Марию Дмитриевну.

— Ипохондрия! Я слышала, что Овер, столкнувшись с Николаем Васильевичем у Аксаковых, назвал его несчастным. Несчастным, потому что он типичный ипохондрик и потому что ипохондриков почти невозможно лечить. Именно этот несчастливый билет и выпал Оверу. Он заранее признавался, что бессилен перед таким недугом, как, впрочем, и большинство докторов, и вместе с другими коллегами лишь подтвердил свою беспомощность. Профессор, мы только актеры. Нам далеко до ваших познаний, но нам приходится представлять людей во всех состояниях, удачней или совсем неудачно. Мы пытаемся это делать. Нам не нужен диагноз, нам нужно понять душевное состояние, а его всегда, понимаете, всегда можно изменить: улучшить или ухудшить.

Кто-то заметил, что Николаю Васильевичу не следовало селиться у Толстых, что вся обстановка дома могла только способствовать ухудшению его душевного состояния. В Москве Толстых не любили за их «французское православие» и показную набожность, выражавшуюся как раз на французском языке. Графиня говорила на русском не слишком чисто и с большим затруднением. «Ерёма» — напротив, бахвалился простонародными выражениями, которые также смешивались с салонными оборотами.

Разница между любым домом литературных знакомцев покойного и полным безразличием к литературной славе великого Гоголя была и в самом деле разительной. Садовский припомнил случай, когда они с Михаилом Семеновичем заехали к Гоголю и оказались в сенях в момент, когда по лестнице спускалась графиня. Михаил Семенович, всегда отличавшийся редкой учтивостью, низко поклонился, но графиня, пролорнировав его, отвернулась и, не задерживаясь, прошла к дверям, распахнутым швейцаром. Михайла Семенович мучительно покраснел. А появившийся на пороге своих комнат Гоголь поспешно стал извиняться, что она не ходит в театр и потому просто не знает великого Щепкина. Тем не менее, когда мы уходили, добавил Садовский, Михайла Семенович посетовал, что не обратил внимания на стоявший у дома графский экипаж и что следовало бы переждать выезда хозяев. Гости за столом промолчали.

Профессор Армфельд добавил, что графская чета, а главным образом графиня, почитали своим долгом отвлекать Гоголя от литературы, тем более от театра. С годами это

стало им удаваться все больше и больше... Пров Михайлович с известной его грубоватостью заметил, что причиною тому стали творческие трудности писателя. Вся Россия ждала, да что там ждала! – требовала, буквально требовала от Гоголя новых произведений, а новые сочинения ему не давались. «Не следовало ему столько времени на Европу тратить», – заключил Садовский. «Но ведь он же привез из Европы „Мертвых душ“, – возразили ему. „Да материал-то для них он накопил в России, а там уж только его обделял. А тут материала уже не стало, не стало и возможности писать. Он же столько раз говорил, что только Русью одной дышит и живет. Разве не говорил?“

Актера неожиданно поддержал профессор Армфельд: «Он ведь и в Москву возвращался набраться впечатлений, языка вдоволь наслушаться. Жалел, что за границей музыка языковая пропадает, а для него она едва ли не самой главной была».

Чай был накрыт в гостиной. Гости разбились на группы, и у меня появилась возможность спросить у Марии Дмитриевны, нет ли у нее какого огорчения, кроме нашей общей скорби. «Огорчения?» – Мария Дмитриевна подняла на меня глаза. «Мне просто было трудно воздержаться и не раскрыть главной, как мне кажется, причины смерти Николая Васильевича. Она слишком личная, а народу много и слишком словоохотливого. Вы, я убедилась, умеете молчать». Я поклонился.

«Главная причина, тем более при начатках ипохондрии, – отсутствие близкого человека». Я спросил, неужто она думает, что присутствие семьи облегчило его положение. «Разве дело в семье, как ее все понимают! Ведь он так хотел обрести жену как единственного, подлинно близкого друга. В такой жене он не просто нуждался, он ее вымечтал. И когда надежда рухнула, сломался».

«Вы имеете в виду...» – «Нет, нет, только без имен. И если вы и в самом деле уважаете Николая Васильевича, не называйте имени никогда. Ведь все это наши предположения, которых покойный так боялся в жизни. Вы сами знаете, едва доехав до Москвы, он почти сразу помчался в Петербург». – «Но, Марья Дмитриевна, просто все знакомые еще не вернулись на зимние квартиры, а покойный был полон нетерпения!» – «Оказаться в дружеской среде, не правда ли? Только какая же дружеская среда, по-московски дружеская, могла ждать его в Петербурге? Он боялся этого города, видел в нем неодолимую враждебную силу и вдруг такая поспешность. А потом такое же поспешное возвращение. Вы не задумывались над таким ходом событий?» – «Гоголь всегда был нетерпелив – это утверждали все его друзья». – «Но ведь в Москве можно было сходу поехать в Абрамцево, на любую дачу, где его приезд был бы воспринят с восторгом. Он так долго не видел горячо любивших его друзей. Положим, не все было просто с Погодиным, но Аксаковы? Неужто в их восторге можно было сомневаться?» – «И вы полагаете...» – «Что же тут полагать. Я знаю от Веневитинова о его попытке, всего лишь робкой попытке узнать, будет ли принято его предложение. Он не посмел и приблизиться к той, кого в мечтах видел своей невестой. Но отказ родителей превзошел все допустимые формы. Он же их знал множество лет. На его руках болел и умер их любимый сын. Он так долго обменивался с ними письмами, самыми, казалось бы, откровенными и сокровенными. И вдруг – отказ от дома! Это по-человечески? Это по-людски? Можно было сослаться на тысячу причин – разве жизнь не знает сотен форм отказов, но отказ от дома. Ему! Знаменитому писателю! Гордости России! Да, он был беден. Да, он мог существовать только на свои сомнительные литературные заработки. Да, его происхождение не могло сравниться с происхождением отца семейства. Но чем могла гордиться мать – внучка любовника самой страшной императрицы, фаворита, случайного, как было принято говорить, человека? Ее богатства, на которые ей купили графский титул, и муж – они же были приобретены в спальне! Вы скажете, таких аристократов у нас множество, но ее род занимает особое положение, вы не можете со мной не согласиться.

Каким он должен был вернуться после такого отказа в Москву? Надеяться, что никто не узнает о полученном афронте? Да кто и когда умел у нас молчать, тем более такой конфуз со знаменитостью! А тут сразу конфликт с Погодиным!»

Я попытался сказать то, о чем думали многие: Погодин мог бы проявить больше

терпимости, понимания. «Бог ты мой, зачем же винить Погодина? У него на шее целая семья, у него далеко не блестящие издательские дела. В последний наш разговор – он заезжал ко мне осенью – Михайла Петрович жаловался, что журналы идут плохо и он едва сводит концы с концами. Ему не следовало просить у Гоголя ничего нового для печати? Но в его просьбе не было ничего противоестественного. Он и так снабжал Николая Васильевича как мог средствами. И, поверьте, многое происходило от того, что, привыкнув к заграницам, Николай Васильевич просто не знал, не догадывался, что наше московское житье в просторных городских усадьбах, со множеством дворни на деле плохо прикрыта бедность. Для кого же секрет, что Аксаковы мечутся с квартиры на квартиру по всему городу в поисках самого дешевого жилья, а в результате проживают уйму денег и имеют множество неудобств. Скорее всего, Николаю Васильевичу казалось, что ему отказывают в поддержке от богатой скучности, тогда как ему отказывали в поддержке из-за бедности. Не мне судить отношения старых друзей, но верно и то, что покойный отвык от местных условий и рассчитывал на былые преференции. Но ведь он никогда в Москве и не жил. Все проездом, все на считанные дни, дай Бог, неделю-другую. Он всегда оставался гостем, а это, согласитесь, совсем другое дело. Ведь ему мало было крыши над головой. Он нуждался еще и в столе: не будешь же изо дня в день разъезжать по друзьям и знакомым, чтобы утолить голод. Такое тяжело каждому человеку, а человеку с настоящей славой, подлинным талантом?

А одежда? О ней вы не подумали? Михайла Семенович проговорился, что всегда видит Николая Васильевича в одном и том же сюртуке и всегда добавлял, по доброте сердечной, «вот беда-то какая!». Среди студентов – не беда, среди литераторов – тоже, а вот среди тех, куда он попал в этом доме? А для прислуги? Уж она-то всегда умела показать, кто хозяин, а кто нахлебник. Положим, ему можно было целое состояние, как мне, на туалеты не тратить, но в люди выходить-то надо! По одежке встречают, а по уму провожают – это не для Толстых, поверьте. А после отказа петербургского – уж до них-то он дошел! – тем более. Он даже книг имел самую малость. Михайла Семенович говорил, не мог себе позволить по книжным лавкам вволю походить. И вот когда все это разом на ум придет, – а со стороны ничего не видно, – тогда не то что ипохондрию приобретешь – смысл жизни потеряешь».

Только тут Мария Дмитриевна, кажется, заметила, что ее гости собрались у дверей в кабинет и стали слушателями ее слов. Но как только голос хозяйки умолк, портьеры тихонько стали опускаться. Послышались притищенные голоса. «Пора прощаться, господа, – сказала хозяйка. – Думаю, мы не обидели его памяти. Он слишком велик для всех нас. Прощайте».

Палаты на Мамстрюковой улице

Мамстрюк – народное имя первого начальника опричнины, брата второй жены Ивана Грозного, «из черкас девицы» Мары Темрюковны.

Один из старейших московских боярских дворов, сохранившийся до наших дней в первоначальных параметрах и основных постройках, составлял в XVII веке собственность семьи Салтыковых. По существу двор был загородным, поскольку располагался за проходившими по нынешнему Бульварному кольцу стенами Белого города, в непосредственной близости от Арбатских ворот. Ориентировался он на Мамстрюкову улицу (иначе – Мамстрюков переулок), сохранившую в своем названии недобрую память о владевшем местными землями начальнике опричнины Мамстрюке-Кастрюке, как его называли народные песни (ныне – Мерзляковский переулок). Брат второй жены Ивана Грозного царицы Мары Темрюковны Черкасской, он своей жестокостью превосходил царя

Ивана, но и сам не избежал царского гнева – сложил голову на плахе.

Та часть Мамстрюковой улицы, в которой располагался салтыковский двор, с незапамятных времен входила в приход церкви Симеона Столпника, что на Поварской (ныне – угол Нового Арбата). Храм (правильное название – Введенский) был сооружен в 1676 году по указу царя Федора Алексеевича «за Арбатскими вороты, на Дегтяреве огороде». Здесь впоследствии венчался С. Т. Аксаков со своей женой, нередко бывал Гоголь. Друзья писателя из аксаковского окружения настаивали, чтобы именно у Симеона Столпника состоялось его отпевание.

Основные салтыковские палаты – каменные, на сводчатых подвалах – располагались торцом к переулку. Многочисленное деревянное жилье, хозяйствственные постройки вплоть до коровника и конюшень стояли по границам участка. Около въездных ворот со стороны Мамстрюковой улицы, на месте нынешнего памятника Гоголю работы Н. А. Андреева, находился обязательный для всех московских дворов колодец с журавлем, сохранившийся и при жизни здесь писателя. Часть земли между строениями, тоже по старой московской традиции, занимали огород и плодовые деревья.

В годы правления императрицы Анны Иоанновны владельцем двора был дальний ее родственник по матери Василий Федорович Салтыков, ставший сторонником цесаревны Елизаветы Петровны. В свои шестьдесят шесть лет, переодевшись в простое крестьянское платье, он на облучке ее кареты принял участие в аресте правительницы Анны Леопольдовны и дворцовом перевороте в пользу дочери Петра I.

С двором связаны имена его детей – Марии, жены статс-секретаря Екатерины II А. В. Олсуфьева, помогавшей вместе с мужем императрице в сочинении ее литературных опусов; Анны Гагариной, поплатившейся за «дерзость» отрезанной по царскому повелению косой; Екатерины Измайловой, жены генерал-лейтенанта П. И. Измайлова, любимца Павла I; Сергея, ставшего предметом увлечения Екатерины II в бытность ее великой княгиней. Удаленный из Петербурга на дипломатическую службу, С. В. Салтыков был затем русским посланником в Швеции, Гамбурге, Париже и Дрездене.

После смерти отца двор наследовал его сын Петр Васильевич, камергер, женатый на дальней родственнице А. С. Пушкина, княжне М. Ф. Солнцевой-Засекиной (ее матерью была М. Ф. Пушкина). Именно она оказывается в дальнейшем владелицей усадьбы. К этому времени окружение бывого «Дегтярева огорода» становится одним из самых аристократических кварталов старой столицы. Среди соседей «камергерши» дочь фельдмаршала А. А. Хитрова, князья Несвицкие, К. Г. Разумовский, Урусовы, Хилковы, Мельгуновы, Толстые.

Со смертью пережившей мужа М. Ф. Салтыковой родовое гнездо переходит к родственнику известного историка, специалиста по Москве XVII века Болтина – Д. С. Болтину, который деятельно принимается за его перестройку. Он повторяет в общих чертах изменения, возникавшие во всех выходивших на распланированный в 1796 году Никитский бульвар усадьбах. Поныне существующие ограда и ворота устанавливаются со стороны бульвара. Вместо многочисленных разбросанных служб строится одно объединившее их здание напротив главного дома. Главный же дом достраивается до красной черты бульвара, то есть увеличивается как на размер будущей гоголевской половины. В этом варианте он не имел со стороны двора аркады и покоящегося на ней балкона, тогда как хозяйственный корпус сразу строится с порталом. Все работы были осуществлены в 1807-1812 годах.

Пожар 1812 года захватил весь район Никитского бульвара. Третьего сентября он начался на Арбате и на следующий день выжег все салтыковские владения. Как и во многих других городских усадьбах, восстановление оказалось не по средствам старому владельцу. Ее хозяином стал А. И. Талызин.

Адмирал И. Л. Талызин, пользовавшийся особой благосклонностью императрицы Елизаветы Петровны, после ее смерти принимает сторону будущей Екатерины II. В момент переворота Екатерина доверяет И. Л. Талызину захват Кронштадта, где мог найти себе надежное убежище Петр III. И. Л. Талызин является в крепость с собственноручной запиской

Екатерины: «Господин адмирал Талызин от нас уполномочен в Кронштадте, а что он прикажет, то исполнять». Появившийся здесь с некоторым опозданием Петр III был встречен знаменитой талызинской фразой: «Поскольку у вас не хватило решительности задержать меня именем императора, я вас беру под стражу именем императрицы».

Вместе с дядей в перевороте участвовали три племянника адмирала. В свою очередь, один из них – Петр, дослужившийся до чина генерал-поручика, стал участником заговора против Павла I, но в последний момент изменил плану заговорщиков и поддержал Александра I в деле сохранения самодержавия. Его последовавшую через два месяца смерть современники объяснили местью былых товарищей по заговору. Вместе с дядей в заговоре принимал участие его племянник капитан лейб-гвардии Измайловского полка А. И. Талызин, который и приобрел в 1716 году салтыковский дом.

А. И. Талызин восстанавливает и здание служб, и главный дом, которые получают одинаковые балконы на грузных каменных арках, что придает усадьбе вид единого архитектурного ансамбля.

У Толстых сразу по приезде в Москву не было ни времени, ни возможности заниматься меблировкой и устройством дома. Все было сохранено с талызинских времен. Гоголю достались две комнаты нижнего этажа с самостоятельным входом из сеней. Хозяева заняли верх: графиня – часть, находившаяся над гоголевской половиной и сообщавшаяся внутренней лестницей с комнатой горничной, граф – часть, обращенную к бывшей Мамстрюковой улице, также с внутренней лестницей, которая вела к дверям нижней гостиной. Вместо общей столовой использовалась зала с выходом на балкон, где Гоголю доводилось в погожие дни читать вслух хозяйке дома.

У гоголевской половины были свои удобства. Прежде всего изолированность от всего остального дома. Но и свои достаточно существенные недостатки. Это низкие окна, выходившие на тротуар Никитского бульвара и к парадному подъезду, где прямо около них разворачивались экипажи. И главное – сырость, которая давала о себе знать во все времена года. Состояла половина из приемной с двумя большими диванами (здесь же, за одним из диванов, ночью спал «человек» Гоголя) и часто топившимся камином (печью?) и кабинета, служившего писателю и спальней. Здесь, стоя у окна, он писал на конторке и перебеливал рукописи за столом у дивана.

Первые четыре года после смерти Гоголя чета Толстых не предпринимает в доме никаких перемен, и только неожиданное возвращение графа Александра Петровича на действительную службу рождает планы обновления усадьбы. 1856 год приносит графу назначение обер-прокурором Синода.

Но проекты остаются проектами. Сначала переезд в Петербург, а затем жизнь за границей делают невозможной их реализацию. В 1873 году А. Е. Толстая возвращается в Москву, чтобы похоронить скончавшегося в Женеве мужа и немедленно расстаться с талызинским домом. Владелицей усадьбы становится вдова брата бабушки М. Ю. Лермонтова – А. А. Столыпина, бывшего предводителя дворянства Саратовской губернии. М. А. Столыпиной наследует одна из ее дочерей – двоюродная тетка Лермонтова, Н. А. Шереметева. Именно она и осуществляет в 1888 году часть задуманных Толстыми перестроек.

Надстраивается в камне гоголевская половина (до того времени второй этаж был деревянным). Перегородки в бывших комнатах писателя делаются капитальными, образуя четыре помещения для швейцара и прислуги. Сводчатые перекрытия подвала заменяются асфальтированным бетоном с выводными каналами. Но главное – переделываются на обоих этажах голландские печи с трубами, причем при верхних печах устраиваются вентиляционные камины. Иными словами, сохранившиеся до наших дней печи не имеют ничего общего с гоголевскими и не позволяют решить вопроса о камине, в котором погибла вторая часть «Мертвых душ» и многие другие рукописи. С пристройкой в 1901 году трехэтажного доходного дома по Никитскому бульвару (ныне встроен в дом Главсевморпути, 9-11) кабинет Гоголя превращается в его швейцарскую.

Никакого интереса к памяти писателя не проявляют и последние перед Октябрем владельцы талызинского дома – камергер Двора, Подольский уездный предводитель дворянства А. М. Катков и его жена, выполнявшая функции товарища председателя Комитета «Христианская помощь» Российского общества Красного Креста.

При Катковых в усадьбе располагаются принадлежавший им магазин «Русские вина», молочная лавка и частная лечебница внутренних и детских болезней С. И. Шварца.

В 1909 году, одновременно с установлением на переименованном в Гоголевский (вместо Пречистенского) бульваре памятника писателю, М. Н. Каткова возводит на месте дворовых построек еще один доходный корпус (ныне № 7).

* * *

Немолодая хрупкая женщина уютно устроилась в углу тахты и смотрела – на люстру. Ампирный шлем черненого металла, в золоченых накладках фигур мифологических существ, юношей, богинь, лебедей, в широком венце свечей. Но Мария Александровна Богуславская-Сумбатова, удочеренная племянница знаменитого актера Малого театра и драматурга князя Александра Ивановича Сумбатова-Южина, была в нашем доме на Никитском бульваре не первый раз. А главное – кругом шумели возбужденные голоса: Елена Николаевна Гоголева, Александра Александровна Щепкина, Пров Провыч Садовский-младший, Георгий Куликов, музыканты и певцы труппы нашего Малого театра. Все только что вернулись с премьеры сценического рассказа Нины Молевой «Загадка „Невского проспекта“», в котором участвовали и которым – все надеялись – обретал жизнь никогда ранее не существовавший гоголевский мемориал. Сыграть в стенах, где прожил последние отпущеные ему жизнью годы писатель, где сжег „Мертвые души“, где умер и не нашел покоя, – актеры были по-настоящему взволнованы.

Но Мария Александровна не отрывала глаз от потолка: люстра покачивалась. Сначала чуть-чуть. Потом все сильнее. Тихонько зазвенела посуда. Вздрогнула тахта. Качнулись кресла. «Леля, ты помнишь, – Мария Александровна обращалась к своей гимназической подруге Е. Н. Гоголевой, – совсем как в Тифлисе, тогда...»

Елена Николаевна королевским движением повернула голову. Очень внимательно посмотрела почему-то только на люстру и своим низким бархатным голосом добавила: «Муся, ты права – землетрясение». И тут же искренне удивилась: «В Москве?»

Уже звонил телефон. Кто-то спрашивал, как там на бульваре. На Новом Арбате люди выбегают на улицу из высотных домов. И вообще, что надо делать? Подойдя к окну, Елена Николаевна бросила: «Ну, эти картонные коробки и должны рассыпаться, а наш – никогда. При таких-то кирпичных стенах!»

Все стали дружно вспоминать, что ведь именно в этот, бывший дворцовый гостиный, дом попала в первую же бомбажку Москвы в июле 42-го бомба и сумела пробить воронку только в двух верхних этажах. Выбоину тем же военным летом заделали, да кстати и надстроили здание еще одним этажом; в том, что оно и после разрушения такую нагрузку выдержит, не сомневался никто. Выдерживает!

«А вообще мне довелось видеть, как настоящий архитектор – Анатолий Оттонович Гунст осматривал и разрешал или не разрешал любые переделки». Это говорила третья гимназическая подруга Муси и Лели Елена Александровна Хрущева, директор 2-й Городской библиотеки, в стенах которой и состоялась премьера «Загадки».

Имя архитектора вызвало явное оживление среди старшего поколения. Его знали все и, чувствовалось, не знать просто не могли. «Гунст» и «театр» были понятиями неразделимыми.

Со слов дяди А. И. Сумбатова-Южина Мария Александровна рассказывала, как в канун 100-летнего юбилея со дня рождения Гоголя, когда готовился к открытию знаменитый андреевский памятник писателю, встал вопрос о мемориальных комнатах. Выкупить их у владельцев всей городской, в прошлом талызинской, усадьбы – об этом говорить не приходилось; но существовал же пример, когда владелец суворовского дома у соседних Никитских ворот, торговец канцелярскими товарами некий Гагман на свои средства установил памятную доску и привел в порядок суворовскую анфиладу, куда пускал, хотя и с разбором, посетителей.

С Гоголем положение было тем хуже, что сначала графиня А. Е. Толстая, бывшая гостеприимная хозяйка, принимавшая у себя Гоголя, а вслед за ней ставшая хозяйствкой родственница Лермонтова по линии Столыпиных полностью переделали писательскую приемную и кабинет. Их превратили в клетушки для прислуги. Последние же перед Октябрьем владельцы – супруги Катковы и вовсе пристроили к гоголевскому дому новый доходный дом и в бывшем кабинете устроили швейцарскую. В комнате же, куда поместили Николая Васильевича перед самым его концом, вообще был чулан.

А. И. Сумбатов-Южин обратился за советом к единственному и действительно ему близкому архитектору – Анатолию Оттоновичу Гунсту. Гунст находился на службе в системе Городской управы в качестве участкового архитектора и должен был знать все существующие предписания, хотя ведал он иными территориями – 1-м Пречистенским, 2-м и 1-м Хамовническими и 1-м Сущевским участками.

Гунст очень живо откликнулся на просьбу князя, направился под каким-то светским предлогом к Катковым и получил категорический отказ в осмотре. Человек очень настойчивый, Анатолий Оттонович обратился за помощью к своему коллеге, курировавшему территорию Никитского бульвара, – Николаю Александровичу Квашнину, которому владельцы воспрепятствовать в осмотре дома не могли по закону.

Действующий в Москве закон требовал, чтобы любая переделка частного дома как снаружи, так и внутри согласовывалась с участковым архитектором. Это касалось и переноса стен, и пробивки новых дверей и окон, и уничтожения становившихся ненужными при центральном отоплении голландских печей в комнатах. И тем более лестниц. Каждый капитальный ремонт использовался участковыми архитекторами как предлог для введения в старые постройки технических новшеств. Это касалось, прежде всего, введения железобетона в перекрытия, в своды подвалов, устранения, по возможности, пожарной опасности.

Формально все переделки в мемориальном доме были в свое время согласованы, воздействовать же на чувства и отношение к литературе Катковых не удалось, хотя Гунст и прибег к испытанному средству – приглашению хозяйствской четы в действовавший в его доме знаменитый «Московский драматический салон». Архитектор бессменно занимал должность председателя, как назывался салон, общества.



Открытие памятника Н.В. Гоголю на Арбатской площади. Май 1909 г.

Впрочем, именно Гунст добился от Катковых еще одной уступки. Участникам

открытия памятника писателю на Арбатской площади разрешили в этот день возложить цветы у окон гоголевской половины со стороны двора. Единственным условием было, чтобы цветов не оказалось слишком много, потому что принести хотя бы по одному цветку пытались все московские студенты и гимназисты. Впрочем, сам князь Сумбатов, хотя не находивший для себя настоящих ролей в гоголевском репертуаре, вложил немалые деньги в то, чтобы уж и вовсе нищие студенты могли принять участие в подобном торжестве.

Кстати, превращение кабинета в швейцарскую происходило в год открытия на Арбатской плошали памятника писателю работы Н. А. Андреева, одного из трех в Москве, сооруженных на народные деньги. Народ оплатил памятники Минину и Пожарскому, Пушкину и Гоголю. Но это относилось к народной памяти.

В 1880 году, во время торжеств по случаю открытия в Москве памятника Пушкину, драматург А. А. Потехин предложил начать сбор средств на памятник Гоголю – от всего народа России. Ни правительство, ни официальные институты не приняли участия в новом движении. Но необходимые средства были собраны.

Право сооружения памятника получил в результате открытого для всех конкурса выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества Н. А. Андреев.

В мае 1909 года состоялось торжественное открытие памятника. Снова стихийные, снова без участия властей торжества: на Арбате собралась московская молодежь – все гимназии, училища возлагали венки. Детский хор из 2500 голосов под руководством М. М. Ипполитова-Иванова и в сопровождении военных оркестров исполнил специально написанную канту памяти великого писателя. Вскоре в Москву приехал из Ясной Поляны Лев Толстой, чтобы познакомиться с памятником, и остался очень доволен его значительностью. Но...

Октябрь 1917 превратил старый особняк в коммунальное жилье. Имя Гоголя официально не забывалось. Только вместо создания музея дело ограничивалось упоминанием о том, что в бывшем кабинете писателя живет семья рабочего, которой знакомо имя Гоголя, не больше. Так отмечается на страницах «Огонька» в 1939 году очередной гоголевский юбилей. Впрочем, не только так.

Столетие со дня смерти ознаменовывается началом наступления на писателя. Еще в 1932 году прах Гоголя был перенесен из Данилова монастыря в Новодевичий: оставлять гоголевскую могилу в организованной здесь колонии для малолетних преступников представлялось не слишком удобным. Но в протоколе государственной комиссии, осуществлявшей перезахоронение, по свидетельству заместителя ее председателя профессора А. А. Федорова-Давыдова, пришлось указать, что состоял прах из нескольких костей, бархатной погребальной туфли и обрывков истлевшей ткани сюртука. Черепа в могиле не оказалось.

В состав комиссии, кроме двух представителей Наркомпроса, входили только чины НКВД. Присутствие иных лиц при вскрытии могилы исключалось.

Вместе с остатками праха был перенесен и надгробный памятник – огромный валун с водруженным на нем каменным крестом. Оставившие Гоголя во время погребения Аксаковы, по-видимому, ощутили свою вину и доставили в Москву валун, отысканный в южных степях. В 1952 году решением советского правительства аксаковское надгробие было заменено плохим портретным бюстом. Одновременно решилась судьба андреевского памятника – на его месте, на старом постаменте и в окружении андреевских фонарей появился монумент работы Н. В. Томского с знаменательной надписью: «Гоголю от Советского правительства».



Могила Н.В. Гоголя на Новодевичьем кладбище

А творение Н. А. Андреева, так понравившееся Льву Толстому, – понадобилось наступление хрущевской «оттепели», чтобы ему отыскалось место: в тесном заулке талызинского сада, против окон гоголевских комнат. Так, чтобы никто не мог его толком рассмотреть, побывать рядом. Ссыльный памятник – кто знает, соберется ли Москва с силами и совестью, чтобы открыть музей писателя и, конечно же, вернуть на его законное место памятник. Кто знает...



Открытие памятника Н.В. Гоголю в Москве 2 марта 1952 г.

Еще хуже обстоит дело с мемориальной квартирой Н. В. Гоголя. Сегодня это – отдел городской библиотеки № 2 имени Гоголя. Без музеиного статуса. Без перспектив развития. И главное – на пороге катастрофы. Гоголевский дом подмывается грунтовыми водами. Здание, перестроенное из палат XVII века, не обрело необходимого режима консервации. Остается только удивляться стойкости и преданности своему делу коллектива библиотекарей. И той стойкости, с которой комитет по культуре города и Министерство культуры России противостоят попыткам создать, кстати сказать, единственный в стране музей Гоголя! Остается снова обратиться к гоголевским строкам: «Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее... Но как достигнуть этого будущего, никто не знает. Позабыли, что пути и дорога к этому светлому будущему скрыты именно в этом темном и закутанном настоящем... Введите же меня в познание настоящего...»

Вопрос о музее – он не стоял ни во время празднования столетия со дня рождения писателя, когда устанавливался на Арбатской площади памятник работы Н. А. Андреева, ни полвека спустя, когда Советом министров РСФСР были намечены для первоочередного открытия шесть мемориалов в Москве. Печально знаменитое это постановление 1966 года – своего рода наш культурный долгострой – до сих пор не претворено в жизнь. В который раз приходится повторять, что по-прежнему нет мемориалов Телешова, Щепкина, по существу уничтожен усилиями арендаторов Худфонда РСФСР дом Танеева, не существует музея-мастерской Левитана. С огромными сложностями создан только дом А. Н. Островского в Замоскворечье. Что же касается гоголевского дома, его судьбу предрешило отношение

Литературного музея, отказавшегося принять под свою эгиду отселенный в год издания постановления особняк. Доводы администрации сводились к отсутствию необходимого количества экспонатов, но в действительности решающую роль сыграло отсутствие в музейном коллективе сотрудников, занимающихся специально Гоголем.

В результате срочных поисков иного арендатора для здания всплыла кандидатура библиотеки, находившейся в катастрофических условиях на соседней улице Герцена. Фонд, созданный по инициативе Н. К. Крупской при обществе «Долой неграмотность!», не имел из-за помещения ни перспектив развития, ни возможностей дальнейшего существования. Формально вопрос решался ко всеобщему удовольствию.

Именно формально – потому что уже первые действия, связанные с размещением библиотеки, свидетельствовали о трудной ее совместимости с мемориалом. Без малого десять лет реставрировавшееся здание (надо иметь в виду, что его основу составляют салтыковские палаты XVII века) было сдано библиотечным работникам без учета существования мемориальных комнат: в них строители и новые хозяева разместили книгохранилище. Если бы не активнейшее вмешательство общественных инспекторов ВООПИК, мы, по всей вероятности, не имели бы и того скромного уголка, который по статусу является всего лишь отделом библиотеки. Причем отделом ненужным, поскольку никакие показатели его работы не входят в типовую и единственную учитываемую библиотечными управлениями систему отчетности.

Что же касается доводов Литературного музея, то, если бы с ними согласились на Украине, там и поныне не существовало бы гоголевской Васильевки, отстроенной заново на пустом месте, укомплектованной экспонатами гоголевского времени и выполненными по образцам первой половины XIX века новоделами. Вопрос спорный, с научной точки зрения, и безусловный, если говорить о воссоздании для широкого читателя и посетителя образа гоголевской родины, которой писатель так дорожил. К тому же вопрос комплектования мемориального музея в силу специфики коллекций подобного рода никогда не может считаться окончательно разрешенным, особенно если он ведется профессиональными научными работниками. Нужно знать, в каком направлении следует обращать поиски и что можно рассчитывать найти. Коллектив Васильевки продолжает искать, с Литературным музеем все складывается иначе.

Связанные жесткими сроками открытия мемориальных комнат к тому же в подчинении не имевшей к ним отношения городской библиотеки, сотрудники Литературного музея ограничились подбором минимума необходимых для типовой обстановки гостиной сороковых годов прошлого века современных писателю вещей. Так в помещении гоголевского кабинета оказались диван Александра Николаевича Островского и стол Михаила Петровича Погодина – последний из собрания Государственного Исторического музея, где хранится погодинское наследство. Из двух комнат гоголевской половины приемная и вовсе осталась необставленной – в ней разместились грубые, наспех покрашенные белой краской стенды с никак не связанной с мемориалом экспозицией по обзору творчества Гоголя.

При подобном отношении музеев на том раннем этапе существование мемориала в составе библиотеки было даже благом. Директор библиотеки Е. А. Хрущева изыскивает средства для пополнения обстановки мемориала мебелью и предметами быта 30-40-х годов прошлого века. В кабинете появляется за ширмами кровать красного дерева, книжные шкафы, в приемной – столы и стулья, на кровати – превосходная русская шаль из собрания известного искусствоведа А. Н. Лужецкой. Каждый новый предмет проходит научную экспертизу в Государственном Историческом музее, в книжных шкафах появляются современные Гоголю книги, в основном из фондов Ленинской библиотеки. Копия посмертной маски писателя, множество бытовых мелочей, начиная с ковра перед диваном, кончая щипцами для снятия нагара, шандалами, настольными часами, приносят в дар москвичи. Наиболее ценное пополнение составляют предметы из поместья Кибинцы Д. П. Трощинского вблизи Васильевки, где подолгу жили родители Гоголя и он сам в детстве и

где существовал так называемый флигель Гоголем. Именно оттуда происходят подаренные мемориалу московским художником Э. М. Белютиным чернильница XVIII века, личная игольница писателя, нотный альбом, книги. Популярности мемориала и притоку в него даров несомненно способствовали вечера с участием артистов Малого театра – «Гоголевские среды», продолжавшиеся ежемесячно в течение шести сезонов. Свои имена связали с мемориалом народные артисты СССР Е. Н. Гоголева и М. И. Царев, М.И. Жаров и Н.А. Анненков, народные артисты РСФСР Борис Телегин и Эдуард Марцевич, заслуженные артисты Георгий Куликов, Пров Садовский, Николай Верещенко, Владимир Сафонов, Аркадий Смирнов, Борис Клюев, Роман Филиппов.

Этого было немало для того, чтобы заявить о рождении мемориала, но совершенно недостаточно для его перспективного развития. Последнее стало совершенно очевидным после смерти Е. А. Хрущевой. К великому сожалению, не была выполнена и последняя воля бывшего директора, предназначавшая ряд предметов собственной обстановки для пополнения экспозиции гоголевских комнат. Как ни парадоксально, окончательная точка была поставлена постановлением министра культуры РСФСР от 1984 года о создании музея Гоголя. Новое руководство библиотеки, поддержанное министром, могло со спокойной душой перестать заботиться о дальнейшем формировании мемориала, в то время как само по себе решение осталось нереализованным.

Вместо устройства подлинного мемориала все силы Литературного музея были направлены на создание юбилейной гоголевской экспозиции в так называемом аксаковском доме на Сивцевом Вражке (№ 30). Так называемом, потому что аксаковское семейство провело в нем всего несколько месяцев, а Гоголь побывал считанное число раз. Какое может быть сравнение с последней квартирой писателя, где он прожил много дольше, чем по любому иному адресу. О юбилейной экспозиции, конечно, много и восторженно писали, но почему-то никто из писавших не испытал неловкости за брошенный на произвол судьбы дом на Никитском бульваре. И в таком определении ситуации нет ни капли преувеличения.

Прежде всего это большие и постоянные механические перегрузки старого строения. Обслуживание 20 тысяч читателей означает сплошной людской поток, на который перестраивавшиеся и постепенно приобретавшие наслаждения достроек палаты XVII века не рассчитаны. Во-вторых, это техническое содержание особняка, в подвале которого почти постоянно стоит вода, разрушая и весь дом, и особенно гоголевскую половину. Решение проблемы гидроизоляции не может быть отнесено к простым и, что греха таить, напрямую связано с определением ценности сооружения: отношение к музеино-мемориальному комплексу всегда иное, чем к обыкновенному культурному учреждению. Быстрому ветшанию здания способствует и то, что в библиотеке не поддерживается постоянный температурный и влажностный режим, без которого невозможно хранение и музейных экспонатов.

Что же касается состава экспонатов, он остался на том уровне, который был достигнут перед смертью Е. А. Хрущевой. Никаких существенных пополнений с тех пор не произошло. То, что министр культуры РСФСР в канун 175-летия со дня рождения Гоголя выразил пожелание ничего больше не менять в экспозиции мемориальных комнат, послужило поводом для очередного директора библиотеки М. П. Стацевич отказать от предлагавшихся в дар мемориалу подлинных предметов из обстановки гоголевской семьи в Кибincах. Дар был не просто отвергнут, но в такой форме, которая исключала всякую возможность дальнейшего контакта дарителей с мемориалом. В результате рабочий столик матери писателя, который она использовала также для гримирования, когда участвовала в любительских спектаклях (как о том подробно писала газета «Известия»), оказался в Музее-усадьбе Васильевка на Украине. Кстати сказать, судьба вещей из Кибinceз заслуживает особого внимания и скорейшего вмешательства музейных работников.

Д. П. Трощинский – знаменитый екатерининский вельможа и дальний родственник матери Гоголя. Былой семинарист, сумевший обратить на себя внимание императрицы и стать ей полезным. Он не страдал избытком даже простой грамотности, но как никто другой

умел приспосабливаться к новым обстоятельствам. Полагалось среди окружения Екатерины располагать хорошей библиотекой – собирал книги. Полагалось иметь собрание произведений искусства – вез в дом мрамор, бронзу, модную мебель, картины. С уходом в отставку перевез накопленное в родные Кибинцы и, не давая себе труда перестраивать старый деревянный дом, расположил в нем свои сокровища. Все по петербургскому образцу, все как в самых модных домах. Жил широко. Принимал всю округу. Одни приезжали с визитами, другие заживались по многу недель. Жилых флигелей хватало, прислуги тоже. Единственной обязанностью было присутствовать при обеденных выходах хозяина на образец царского двора. Выходил в парадной одежде. При всех орденах. Говорил скучно. Сидящих за столом не замечал. Зато на угощенья не скучился. На развлечения тоже. Родители Гоголя месяцами жили в отведенном им флигеле вместе со всеми детьми, родившимися и тут же рождавшимися. Молодые супруги были заняты в местном любительском театре. Без пьес, постановок, актерской игры Василия Афанасьевича столичная забава стала бы невозможной.

Со смертью Трощинского Кибинцы какое-то время продержались у его наследника-племянника, а в 1870-х годах пошли с молотка. Мебель давно вышла из моды. Книги разрознились. Вышивки выцвели и прохудились. Распродажей не заинтересовались родственники Гоголя, тем более не волновало его имя местных помещиков. Единственным претендентом на обстановку гоголевского флигеля оказался Никита Иванович Курбатов, начальник ближайшей к поместью станции Ромодань только что построенной железной дороги. До разорения он жил в Харькове. Теперь же, в новых материальных условиях, обремененный большой семьей, – для него участие в распродаже потребовало немалых усилий. Тем не менее ему удалось приобрести небольшой шкаф красного дерева с вставленной в дверцу большой ручной вышивкой, две шитых картины, которые предание связывало с рукodelльными опытами самой Марии Ивановны Гоголь, – «Турчанка, играющая на лютне» и «Девушки, выбирающие невесте венок», дамский рабочий столик, овальный столик из тех, что ставились перед диванами, работы местного умельца и подделанный под красное дерево, стул. Из большого барского дома ему достался позолоченный гостиный гарнитур, кабинетный диван, стулья карельской березы, женский бюст работы французского скульптора Гудона, группа из двух бронзовых фигур французского мастера Томира и подписной мраморный бюст Екатерины II Ф. И. Шубина.

Вся эта обстановка оставалась в доме начальника станции сравнительно недолго. Две старших дочери Н. И. Курбатова, получив образование, ушли «в народ». Окончивший Московский университет сын Владимир также выбрал судьбу земского врача. Младшая дочь Маша сначала учительствовала в московском Рукавишниковском приюте, позже вышла замуж за московского художника, связанного с Московской конторой императорских театров, И. Е. Гринева. Его увлеченность стариной и определила, что доставшиеся Маше отцовские вещи перешли в их дом во 2-м Верхнекрасносельском переулке. В 1920-х годах в этой обстановке бывали многие из членов литературного общества «Перевал», с которым был связан зять М. Н. Гриневой-Курбатовой М. С. Белютин. Напечатанные в «Литературной России» воспоминания Лидии Ивановны Белютиной-Гриневой рассказывают и о том, как читал в Верхнекрасносельском переулке своего «Черного человека» Сергей Есенин. Отсюда вещи из Кибинец перешли к сыну Л. И. Белютиной художнику Э. М. Белюти-ну, и это он решает их судьбу.

Давно подарен в Музей-усадьбу «Кусково» золоченый гарнитур гостиной Д. П. Трощинского. В собрании Алма-атинского художественного музея можно увидеть скульптуру Гудона, Томира и превосходную портретную работу нашего Ф. И. Шубина. Передан в дар в Васильевку столик Марии Ивановны, мелкие предметы хранятся в витринах московских мемориальных комнат. Но владелец готов передать в дар Гоголевскому музею и все остальные вещи, именно в музей, которого у нас по-прежнему нет.

Второе рождение «гоголевских сред»

Сегодня даже среди москвичей о существовании этого дома в вишневом затишье

старого сада, рядом с Арбатской площадью, думаю, знают далеко не все почитатели литературы. Последняя квартира Н. В. Гоголя в Москве не приобрела еще известности пушкинской квартиры на Мойке, лермонтовского домика в Пятигорске, чеховского в Ялте. Гоголевский мемориал (кстати, единственный в Российской Федерации) пока слишком молод. Но его первые шаги – это и ответ на вопрос об отношении наших современников к писателю, и новые формы работы с читателями, зрителями, и несколько необычайная для музеиного дела перспектива «живого мемориала».



Последняя московская квартира Н.В. Гоголя

Литературные пенаты бывают разные. Усадьба, дом, квартира, подчас единственная комната. Иногда с сохранившейся обстановкой, вещами личного обихода, иногда с предметами, воспроизводящими некогда существовавший интерьер «по подобию» – изображениям, литературным описаниям, воспоминаниям. Степень и характер их подлинности неодинаковы. Но если соблюдено главное – точная соотнесенность с жизнью данного человека, – для нас они входят в категорию совершенно особого вида познания истории – познания «для себя», личностного. Практика восстановления отдельных памятников, целых городов после Великой Отечественной войны многое изменила в оценках и представлениях даже историков. Спор о том, есть ли смысл в новых камнях, возводящих исчезнувшую стену, отошел в прошлое, как и спор о том, чем становятся выведенные по остаткам фундаментов стены построек средневекового Довмонтова города в Пскове – иллюстрацией к истории или возрожденным в какой-то мере ее существом. Несомненно, гораздо больше, чем иллюстрация. В них то ощущение образной подлинности, потребность в которой, усиленно развивающая общением с кино– и телевидением, все острее дает о себе знать.

Растущий интерес к родной истории – в данном случае его можно определить как стремление к сопричастности. И где, как не в литературном мемориале образ писателя, выводимый каждым из нас по-своему из прочитанных произведений, фактов биографии, переписки, материализуется в общепонятных предметах повседневности, как бы зримо очеловечивается. Это всегда своего рода попытка разгадать чудо творчества в «шуме будней», внутри одинакового для всех (но в чем-то, значит, и неповторимого!) быта.

Литературный музей и литературный мемориал – формально близкие, а по существу принципиально разные формы и характеры контакта со зрителем, читателем, с человеком. Я узнал о Пушкине (в Пушкинском музее), я пережил минуты с Пушкиным (в квартире на Мойке или в Михайловском). Материалы о жизни и творчестве писателя – вопрос лишь в их полноте – составят его музей в любом городе или поселке. Экспонаты мемориала, даже если они очень скучны, его условия «работают» на единственный образ, неразрывно связанный с данными стенами, улицей, окружением.

Рабочий стол и кожаное кресло Л. Н. Толстого в доме в Хамовниках. Низкие потолки

кабинета. Подслеповатые проемы окон. Сапоги, словно только что оставленные за дверью. Велосипед в тесном коридоре... Или квартира детских лет Ф. М. Достоевского на бывшей Божедомке с тремя перегороженными дощатыми переборками – не до потолка – комнатами, где от прихожей отделялась никогда не видевшая солнца детская, от гостиной – похожая на щель родительская спальня, а за стенами мир ограничивался дорожками сада у приемного покоя старой Екатерининской больницы.

Разве нет в этих впечатлениях ключа и к страницам произведений, и к писателю-человеку, ключа, который каждый из нас определяет для себя сам, по-своему хранит и использует в жизни? Россыпь бытовых мелочей – именно она удовлетворяет здесь стремление зрителя к сопричастности, такой характерной для наших дней жажде достоверности. Но вместе с тем это и есть та настроенность на неповторимость ситуации, зрительных и эмоциональных впечатлений, которая всегда обращена к душевному миру человека, его морально-нравственным представлениям и идеалам. Московский мемориал Гоголя – один из удивительно наглядных тому примеров.

«Вот за этой самой конторкой он писал?», «На этом самом диване болел?», «За этой самой ширмой стояла его кровать?» – вопросов у посетителей множество. Настойчивых, повторяющихся, очень человечных. В них стремление убедиться – действительно ли они находятся у Гоголя – не в театре, не на выставке, но у него самого, оставшегося до наших дней во всех подробностях своей жизни.

Как отвечать? Нет, это не те вещи. Другие. Безусловно, тех самых лет, некоторые к тому же, без, сомнения, видевшие Гоголя. Диван – собственность А. Н. Островского, овальный красного дерева стол перед ним принадлежал М. П. Погодину. Вся в ярких цветах фаянсовая чернильница, недавний дар художника Э. М. Белютина, – она из Кибинец, где постоянно бывал молодой Гоголь и жила его мать. Но именно в этом мемориале важны не столько принадлежность вещи, сколько образ тех лет, последних в жизни и творчестве писателя. Их напряженность и трагизм и надо ощутить... Идея возрождения «гоголевских сред», которые по содержанию и впечатлению отвечали бы неповторимости этого дома, видевшего Гоголя, – такая форма появилась впервые: рассказ историка об одном из своих исследований, где в ткань собственно научного изложения входят читаемые актерами фрагменты произведений и писем современников. Именно читаемые, как о том когда-то мечтал Гоголь, – когда актер не играет текст, а размышляет над каждой строкой, делится с партнерами-собеседниками рождающимися мыслями и чувствами. Эта эмоциональная канва «подсказывает» историку внутренний ход поиска, включает слушателя в мир связанных с исследованием переживаний, позволяет ощутить, в какой неразрывной связи существуют в исследовательской работе мысль и чувство. Актер не иллюстрирует мысль историка, а точно и эмоционально, напряженно как бы подталкивает ее, направляет к новым выводам и поворотам. После прочтения должен стать очевидным и необходимым следующий шаг в исследовании. Все вместе – логический ключ исследователя и эмоциональный ключ актеров – работает и на определенный фактический вывод, и на образ произведения, писателя, эпохи.

Успех подобного рода сценической повести об одном исследовании (Ираклий Андронников, горячо поддерживавший этот новый жанр, назвал его «театром мысли») зависит не только от точного подбора передаваемых актерами текстов, но прежде всего от глубокого понимания исполнителями внутреннего смысла динамики исследования, который становится сюжетным стержнем действия.

Здесь не может быть фиксированного текста у ведущего рассказ исследователя – обязательность импровизационного момента обуславливает состав аудитории, различие интересов и степени подготовленности зрителей и слушателей. Тот же творческий подход необходим и актерам, чтобы сценическая повесть не теряла своей цельности, органичности и целенаправленности. И когда в результате рассказа открывается новая черта творчества или жизни писателя, для зрителя она становится не очередной, пусть даже очень любопытной информацией, но логическим завершением внутреннего процесса, через который он прошел сам, который вместе с исследователем и актерами осмыслил и пережил.

Так решена первая сценическая повесть «Загадка „Невского проспекта“». После гоголевского мемориала она была показана в Центральном Доме литераторов, Доме актера, Центральном Доме работников искусств Ленинграда, прошла в сокращенном варианте на радио и телевидении. Страница в гоголевском тексте, посвященная петербургским художникам, послужила поводом для многолетних архивных и музеиных розысков, которые позволили установить, что Гоголь готовился стать профессиональным живописцем и прошел выучку в Академии художеств. Выяснились связи писателя с Обществом поощрения художников, сохранявшим еще в те годы декабристские настроения, с его пенсионерами и, в частности, с братьями Чернецовыми, выяснилась также и остававшаяся неизвестной грань отношения к писателю царского двора.

После появления «Ревизора» Гоголь был доведен до необходимости уехать в Италию – слишком беспощадным было оскорбление, нанесенное ему Николаем I. К резкой критике пьесы, осложнениям с цензурой присоединилось решение императора убрать изображение Гоголя из группового портрета, объединившего до трехсот деятелей русской культуры 1830-х годов на картине художника Г. Г. Чернецова «Парад на Марсовом поле». Этот тяжело пережитый Гоголем отъезд состоялся всего за полгода до гибели Пушкина – самодержец всероссийский наводил «порядок» в русской литературе.

«Совершенно новая, сложная и очень перспективная театральная форма», – отзывалась о постановке народная артистка СССР Е. Гоголева. Не случайно творческую группу помимо ведущего рассказ историка составили актеры Государственного Академического Малого театра, в котором столько поколений живут сценические идеи великого писателя. Об этом ярком выявлении индивидуальности актера при общем «симфонизме» исполнения говорит и народный артист СССР Ю. Толубеев, заметивший, что рожденная впечатлениями мемориала «Загадка „Невского проспекта“» представляет живое созвучие голосов прошлого и современности.

«Гоголевские среды» не только привлекли в талызинский дом многочисленных слушателей. Установилась новая традиция – дары этому мемориалу. Прижизненные издания и гравюры из коллекции московского врача В. В. Величко; редкое по полноте собрание публикаций о Гоголе за последние тридцать лет, составленное варшавянином А. Флитсаком; цикл гравюр, представляющих гоголевские места, гравера А. Мищенко; предметы быта и обстановки первой половины прошлого века. Витрины новых поступлений, занявшие почетные места в старых сенях, все время пополняются.

...Ряды стульев тесно заполняют комнату, когда-то служившую Гоголю приемной, где он встречался со своими собратьями по перу, актерами Малого театра, близкими друзьями. В проеме распахнутых дверей на высокой конторке, где набрасывались черновики, зажигается свеча в низком медном шандале. Звучит любимая писателем мелодия Рамо. И у камина, с которым связана гибель «Мертвых душ», начинается рассказ о Гоголе. Год 1975-й – год 1988-й. Все тот же автор и постановщик сценических рассказов – архивист, историк и искусствовед, профессор и доктор наук Н. М. Молева.

* * *

Конец «средам» положил 1988 год. Не стало директора 2-й Городской библиотеки Елены Александровны Хрущевой. Не была выполнена воля покойной, завещавшей фамильную мебель 40-х годов XIX века, которую хранила в своей квартире на Мосфильмовской улице, мемориалу. Вместе мы определяли места для ее расстановки (Елена Александровна знала о своей неизлечимой болезни), договаривались, где и как разместить таблички с именем дарительницы. Все ее наследство было оптом продано душеприказчицей

«на Кавказ». Новый директор закрыла двери перед Малым театром, при том что все выступления были бесплатными. Ее мнение полностью совпадало с мнением политического дозорщика, присутствовавшего на каждом сценическом рассказе, – инструктора то ли райкома, то ли горкома партии А. И. Лазарева, в наши дни ставшего первым заместителем председателя Комитета по культуре Москвы, и тогдашнего министра культуры РСФСР, который счел «собрания у Гоголя» по меньшей мере беспокойными для чиновников. Главными стали чтения, конференции, симпозиумы «гоголеведов» и литературоведов. Мемориал не получил развития, как и не завоевал известности среди москвичей.

Перспектива 200-летнего юбилея не сулит Гоголю создания его личного, мемориального музея. Идея совмещения музея и библиотеки сохраняется неизменной. А начатые строительные работы по дому пока привели только к нарушению его исторического облика. Ни с того ни с сего была поднята кровля, чтобы за счет образовавшегося объема устроить... помещения для дирекции. Будущего музея. И это в центре Москвы. На глазах всех проверяющих и бдящих организаций. Ведь разрешили же навесить над гоголевским особняком огромную террасу с выронками и цветочками, уже изуродовавшую силуэт дома. И все ради таинственной квартиры, где все ночи горит яркий свет, а огромный транспарант у входа на первом этаже сообщает, что «мы открыты круглые сутки» и номер телефона.

Но сейчас, как никогда, надо вспомнить Москву около дома на Никитском бульваре. Запруженные народом улицы и бульвары, семь верст пути гроба к Данилову монастырю на плечах москвичей – Москва утверждала: справедливость Гоголя была справедливостью для каждого человека. «Нравственность, нравственность страждет – вот что главное...» – бессмертные слова писателя о своем народе, своей стране.

Вместо эпилога

Жара на него [М. С. Щепкина] действовала убийственно; доехав до Крыма, он совершенно изнемог и вскоре скончался в Ялте 11 августа 1863 года. Умер он как-то исключительно. От последних слов его веет глубоким уважением, любовью, поклонением перед высоким талантом одного из величайших русских писателей. Он любил его, он им бредил. Почти сутки он лежал в забытии и вдруг неожиданно вскочил с постели... «Скорей, скорей одеваться», – закричал он своему человеку, который за последнее время почти не отходил от его кровати. «Куда вы, Михаил Семенович? Что вы, бог с вами, лягте, лягте», – удерживал его слуга. «Как куда? Скорее к Гоголю». – «К какому Гоголю?» – «Как к какому? К Гоголю, Николаю Васильевичу!» – «Да что вы, родной мой, господь с вами, успокойтесь, лягте, Гоголь давно умер». – «Умер? – спросил Михаил Семенович. – Умер?... да, вот что...» – низко опустил он голову, покачал ею, глубоко вздохнул, а затем тихо лег, отвернувшись лицом к стене, чтобы больше не вставать.

Эти подробности передал его слуга Александр, который с ним ездил в Крым и который его прах привез в Москву.

Паломничество к Николаю Васильевичу сразу стало традицией, особенно у московской молодежи – студентов, гимназистов. Может быть, этому способствовала еще и весенняя пора, на которую приходился и его день рождения, и тем более именины. Трудно себе вообразить что-нибудь красивее лугов в пойме Москвы-реки на Николу Весеннего. Но и на день кончины в Данилов монастырь приезжали более близкие знакомцы писателя. И как тут было не заметить, что на могиле всегда лежали одни и те же, но непременно свежие цветы: в холода – иммортели, в теплую пору – великолепные белые розы. Смотритель кладбища охотно рассказывал, что цветы эти постоянно привозил и по мере надобности обновлял старенький ливрейный лакей, которого у ворот ждала небогатая карета. Эта особенность

дошла через друзей Николая Васильевича до его матери, и она в письмах просила Шевырева и особенно Аксаковых от всего материнского сердца благодарить за заботу о сыне «добрую душу».

Так продолжалось до конца 1858 года. Графиня Евдокия Петровна Ростопчина скончалась от неизлечимой болезни 14 декабря того же года. Но, возможно, это простое совпадение.

Примечания

1

Мы рабы... да; но рабы, вечно негодующие.

**This file was created
with BookDesigner program
bookdesigner@the-ebook.org
08.09.2008**